

РУФЬ ЗЕРНОВА ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ

# РУФЬ ЗЕРНОВА ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ

СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ





Новое  
Литературное  
Обозрение



# РУФЬ ЗЕРНОВА— ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ

СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА

2011

УДК 821.161.1.09Зернова Р.А.  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Зернова Р.А.  
Р91

Составители  
*М. Серман, Н. Ставиская*

**Р 91 Руфь Зернова — четыре жизни:** Сборник воспоминаний. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 240 с.: ил.

Судьба Р.А. Зерновой — замечательной писательницы, переводчицы, участницы Испанской и Отечественной войн — похожа на путевой роман: Одесса, Ленинград, затем Бильбао, Мадрид, Барселона, Париж, Рига, Москва, Одесса, Ташкент, снова Ленинград, затем Амурская Средне-Белая и Бокситогорск (за колючей проволокой) и опять Ленинград, где она руководила секцией молодых писателей. А еще через двадцать лет — Иерусалим, потом жизнь между Нью-Йорком, Римом, Парижем и Лондоном... В этом «путевом романе» отсутствует последняя глава, символическое место которой и занимает предлагаемая читателю книга — воспоминания о Руфи Зерновой представителей двух поколений питерской интеллигенции (А. и В. Жирмунские, Л. и А. Лотман, Л. Найдич, И. и М. Серман, Н. Королева и другие). Яркая личность героини вдохновила участников сборника на размышления о времени и человеке в нем.

УДК 821.161.1.09Зернова Р.А.  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Зернова Р.А.

**ISBN 978-5-86793-856-7**

При оформлении обложки использована иллюстрация Gothvald на тему фотографии М. Сермана ©

© Авторы, 2011

© Переводчики, 2011

© Художественное оформление. «Новое литературное обозрение», 2011

## Предисловие

Читатель не может не удивиться одному общему впечатлению, которое производят воспоминания столь разных по характеру и мировосприятию участников сборника.

Сквозь разнообразие повествований, припоминаний и восторгов пробивается некое единое чувство — чувство удивления неординарностью личности центрального персонажа. Когда встречаешься с современником или тем более с современницей, которая поражает своей необычностью, в этом иногда трудно признаться самому себе. Но именно так выглядит на страницах этого сборника Руфь Александровна.

Мемуаристов, которые одновременно и читатели рассказов и повестей Руфи зерновой, удивляет полное отсутствие «советизмов», то есть тех штампов, которые въелись в сознание каждого советского гражданина, даже помимо его воли или убеждений.

Что ее сформировало, что позволило не отдать себя во власть гнетущего идеологического режима? Может быть, влияние отца, человека ума свободного и независимого, — да и вообще детство и ранняя юность в Одессе, сохранявшей в какой-то степени независимость от официозных идеологических штампов? Может быть, участие в гражданской войне в Испании в 1938—1939 годах? Оно расширило кругозор, позволило через испанские и французские газеты того времени увидеть мир другим. В отличие от своих товарок Руфь, прочитав во французской газете сообщение о смерти папы римского (*Le pape est mort*), не могла бы спросить, как спросила одна из советских переводчиц: «Чей это папа умер?»

Руфь Александровна обладала необыкновенной широтой взгляда на современный ей мир, на ту историю, в которой жила и участницей которой была. Не случайно она, узнав о пакте Молотова — Риббентропа 1939 года, сразу сказала: «Теперь будет четвертый раздел Польши». Не случайно, сидя в тюрьме в 1949 году, когда казалось, что Сталин бессмертен, она думала о «войне диадочов» — борьбе, разгоревшейся после смерти Александра Македонского между его наследниками. И не случайно она первая назвала молодых людей, родившихся в 1940-х годах, «шестидесятниками». Именно так — «Шестидесятники» — назывался один из ее первых очерков в журнале «Юность», опубликованный в конце 50-х годов. Героиня очерка, семнадцатилетняя школьница, говорит своему ровеснику: «Ведь

нам в 60-м году будет двадцать лет! Мы — люди шестидесятых годов двадцатого века».

Название редакция не пропустила — скорее всего, из-за «нежелательных исторических ассоциаций». Но термин остался в коллективной памяти — и «пошел».

Масштабность кругозора — и географического, на двух континентах, и проникновенно исторического — делала общение с Р.А. удивительным, порождала восхищение ее умом и пронизательностью, пронизывающее весь сборник. Собранные в нем воспоминания отражают широту охвата современной жизни между двух берегов Тихого океана, которой не обладал ни один из ее современников-литераторов.

И если сборник даст хотя бы частичное представление об этой уникальной личности, то он сделает свое дело.

Книга открывается найденным после смерти отрывком из незаконченного рассказа Р. Зерновой, за которым следует литературно-биографический очерк В. Брио, названный, как и весь сборник, словами самой писательницы. Все последующее представляет собой колоритную и, возможно, эклектичную мозаику из воспоминаний, литературных суждений, прозы и поэзии, объединенных общим для всех участников сборника сожалением о невозвратимой потере.

## От составителей

24 апреля 2005 года в Нью-Йорке в Клубе поэзии на Бауери состоялась встреча, посвященная памяти Руфи Зерновой (Зевиной). Определяющим результатом встречи стало изначальное объединение материала и контингента авторов, наметившее направление работы по созданию сборника мемуаров.

Программу вечера открыл Марк Серман, прочитавший отрывок из своего эссе «Свидание».

Неоценимо важную работу с присланными материалами проделали Елена и Екатерина Довлатовы, Юлия Морозова, Наталья Новохацкая, Матвей и Татьяна Янкелевич. Ими были подготовлены, переведены на английский язык и прочтены написанные к этому дню мемуарные произведения Лины Глебовой, Нины Королевой, Лидии Лотман, Евгении Марголиной и И. Сермана.

Были также оглашены письма Вячеслава Домбровского и переводчиц Р. Зерновой — Маргарет Китчен и Хелен Рив.

Выдержки из произведений писательницы прочли ее внучки: Елизавета Серман по-английски и Александра Серман по-русски.

С чтением своих мемуаров выступили авторы: Василий Агафонов и Виктория Беломлинская.

На вечер пришло более ста человек, в том числе живой герой «Рассказов про Антона» — Антон Лотман, представленный собравшимся во время чтений.

Закончился вечер прослушиванием записи песни «Магадан» в исполнении Р. Зерновой.

Встреча была организована Марком Серманом — сыном Р. Зерновой, его семьей и друзьями в сотрудничестве с Клубом поэзии и при поддержке Регины Хидекель, главы Русско-американского культурного центра.

Редакция приносит глубокую благодарность как авторам выступлений и эссе, так и всем друзьям и знакомым, принявшим участие в организации и проведении встречи — исходного этапа создания этого тома воспоминаний.

Составители сборника приносят искреннюю благодарность за участие в работе над ним Петране Ралевой и Ираиде Казовской.

*Иерусалим/Нью-Йорк  
Израиль — США*



## Кредо \*

Люди всегда хотели стать равными богам. Точнее, человек всегда этого хотел. И всегда в конце концов оказывался посрамленным. Но в своем богоборчестве (или, в современных категориях, в своем соревновании) он, всегда наступавший (в современных категориях — покорявший природу), делал гигантские шаги, проходил некий путь. Вперед — или вбок — или по кругу — или назад. Во всяком случае, редко (говоря осторожно) выходя за пределы трех измерений.

С XIX века начались просто уж олимпийские соревнования с богами: за годы, очки, секунды. За скорость, за высоту и, конечно, за огневую силу молний. Сто лет человек одерживал только победы: еще один, еще десять, еще сто километров в секунду. И, хоть многим кажется — дальше хода нет, тупик — или яма, — он набавляет, набавляет... Вот он начнет шагать с планеты на планету, богоравный, — ведь этого-то еще никогда не было — значит, не тупик, значит, прогресс ... Значит, есть прогресс, не выдумка... И человеку нет предела, а если так, то чем же он не равен богам? Или Богу?

И если он со скоростью света — почти со скоростью света — перенесется из Рио-де-Жанейро в Кострому, то ведь этого никогда прежде не было и под Луной все-таки появилось кое-что новое, да и на самой Луне — на самой Луне он побывал. Значит, есть прогресс и нет предела исполнению желаний, и в скорости, и в высоте, и чем же не равен человек богам?

И если он в несколько секунд может уничтожить...

Стоп-стоп-стоп! Вот тебе и предел твоих олимпийских соревнований, твоего стадионного богоборчества. Придержи мысль, не давай шпор ускорению, посмотри вокруг, задумайся, наклонись над цветком, разгляди его тычинки, помедли, еще взглядишь, попробуй объяснить этот цветок — попробуй объяснить мир — накопи параметры, сколько сможешь...

Стоп-стоп-стоп! Их всегда оказывается недостаточно, параметров. Потому что, объясняя, ты не можешь предсказать, то есть можешь предсказать — с допуском, с большей или меньшей мерой приближения — а

---

\* Этот отрывок был найден после смерти Руфи Александровны в ее бумагах.

может, самое главное, завтрашнее, живое и уютится в этом небольшом, казалось бы, карманчике допуска... И так как тут нет шумных успехов и аплодисментов стадионных болельщиков, то ты видишь предел раньше.

— Да я и не хотел, откуда вы взяли... Я просто...

Ну да, просто!

И только те немногие, что выходили за пределы трех измерений, знали. И учили:

— Смирись, гордый человек.

Но — как? Делать все то же и смириться? Или бросить все и смириться? Или возглавить смиряющихся? Или заставлять смиряться тех, что не понимают собственной пользы, и не хотят? И как же это: ты один смиришься, а твои братья? Или: ты смиришься, а твои ближние как раз сядут тебе и твоим на шею?

Могут ли те, что знали, ответить на это? Или ответ все тот же: неисповедимость?

Неисповедимость — непознаваемость.

Никто не шагнул дальше.

Валентина Брио

## Четыре жизни Руфи Зерновой

Наша жизнь, личная судьба подарила нам такие перипетии, что романисту, рассказчику может их хватить не на одну жизнь. Я живу. Не уклоняюсь от жизненного процесса, не прячусь.

*Из интервью Зерновой  
«Вечерней Одессе». 1974 г.*

Почему четыре жизни?

Так сказано ею самой.

«...В этой моей четвертой жизни... мы с мужем, став израильтянами, стали ездить по свету», — написала Руфь Зернова после переезда в Израиль («*На море и обратно*»).

«Много лет назад, начиная свою третью жизнь, уже после лагеря, я решила, что теперь начну писать и печататься. Раз уж настала оттепель...» («*На море и обратно*»).

Значит, вторая жизнь — это Ленинград и лагерь. Ну а первая, конечно же, Одесса, детство и юность. Там начало всего.

Биография Руфи Зерновой рассказана в ее произведениях. И отдельными фрагментами, и мелкими деталями, небольшими сюжетами или происшествиями она разбросана по всем повестям и рассказам.

Прежде чем обратиться к ним, приведем основные биографические факты.

Руфь Александровна Зевина (Зернова — псевдоним) родилась 15 февраля 1919 года в г. Калараш в Бессарабии и нескольких месяцев от роду была перевезена в Одессу, где жили ее родители.

Детство и школьные годы ее прошли в Одессе. Сразу после окончания средней школы, в 1936 году, Зернова переехала в Ленинград, где поступила учиться на романское отделение филологического факультета университета.

В 1937 году в группе переводчиков она была направлена в Испанию; к этому времени относится псевдоним *Зернова*, которым она позднее ста-

ла пользоваться и в своем литературном творчестве. В Испании она служила переводчицей при военном советнике, была ранена. После возвращения работала в наркомате Военно-морского флота в Москве (также переводчицей). В начале войны была эвакуирована в Ташкент, где работала в ТАСС. Там же в 1943 году вышла замуж за Илью Захаровича Сермана (известный филолог, историк литературы), лечившегося в госпитале после ранения на фронте.

В 1945 году Зернова вернулась в Ленинград, где завершила учебу в университете (в 1947 г.). В 1949 году они с мужем были арестованы и осуждены по статье 58.10 УК «за распространение антисоветских клеветнических измышлений» — Зернова на 10 лет, Серман на 25 лет лагерей. Освобождены по амнистии и реабилитированы в 1954 году. После освобождения началась писательская, журналистская, переводческая деятельность Зерновой.

В 1976 году Зернова и Серман репатриировались в Израиль и поселились в Иерусалиме, где продолжилась их писательская и научная работа. И.З. Серман — профессор Еврейского университета в Иерусалиме. Руфь Александровна после долгой болезни скончалась 15 ноября 2004 года.

Руфь Александровна Зернова — автор 13 книг. Ее рассказы переводились на английский, французский, испанский, итальянский, польский, чешский языки, а также на иврит.

### Одесская мера вещей

Обратимся же к началу, к истокам творчества писательницы. Хронология здесь отсчитывается не по времени выхода книг, а тематически: по тому, как передавались черты и сущность времени и как они соединялись с жизненной последовательностью в разные периоды. Ее уникальный человеческий и писательский опыт складывался в сюжет, осмыслялся ею на протяжении всего творческого пути.

«...Изначальную жизнь, из которой мы затем черпаем и черпаем, я провела в Одессе. Выросла на углу Кузнечной и Спиридоновской, теперь Челюскинцев и Горького. Окончила школу № 37 на Короленко. Почему так далеко от дома? Я искала, где мне будет по душе. Переменила... 6 школ, пока успокоилась. Но какой у нас был класс! Все сорвиголовы. И хотя отличников среди нас почти не было, из нашего класса вышли генералы и разведчики, писатели и ученые, высококлассные рабочие. Потому что был в нашем классе живой дух творчества. Уехала из Одессы. По сути, навсегда. Но она осталась в моих книгах» (из интервью «Вечерней Одессе» 1974 г.).



**Р.А. с отцом А.Б. Зевиным — слева вверху, внизу слева — мать, Т.М. Зевина, с младшей сестрой Лялей (Н.А. Зевиной)**

Возвращением в атмосферу Одессы детства, погружением в предметную и духовную сущность времени и города стала вышедшая в 1998 году книга, которой суждено было стать последней в творчестве Зерновой, — «На море и обратно». Название книги — трудно переводимая «с одесского» (ибо все зависит от интонации, мимики и еще многого) поговорка. Она и сохраняет для нас некоторую смысловую загадочность, ибо вполне по-

нятна лишь одесситам — тут уж ничего не поделаешь. О, одесситы!.. Независимые, смелые и насмешливые. И так щедро талантливые! Немного недоступные, пожалуй, перед ними робеешь — перед их блеском и яркостью. Это явно особенный характер — одессит. И как интересно его узнать, понять!

Книга открывается семейной фотографией: красивые молодые родители — благородные черты, приветливость и покой; и дочки — очаровательная Лялочка в пышном чепчике, серьезная и сосредоточенная Руфочка. Фотография запечатлела внутреннее состояние семьи, ее климат, дух, тепло и цельность. Нет ни напряжения, ни чинности — словно и не позируют фотографу, а так себе уютно устроились. Вот она, одесская особость.

В определенном смысле семья вполне «типична» — это круг еврейской интеллигенции, «одесских аристократов». «Моя еврейская новоодесская семья, только что выбившаяся из гетто в российскую — нет, русскую! — культуру. И семьи наших знакомых, наших друзей, не уступавшие ни пяди из завоеванного уже их родителями плацдарма: образование! Книги! Языки и музыка для детей.

Те десятирублевки, которые платили мадемуазель Жанн, — они сэкономились от расходов на чайную колбасу... Копейки, на которые мама покупала для меня на базаре потрепанные книги Чарской и Диккенса (да-да, этих авторов она приносила с базара), сэкономились на курице для семьи: покупалась четверть курицы на четверых».

В книге много удивительного, порою полуфантастического быта, будничности, в нехитром течении которой так много мужества, что осмысление этого из нашего времени вызывает одические эмоции. И рождается парадоксальная ода «мещанину» и «Обывателю», столь однозначно и навеки заклеяемому литературой.

«Ошельмованные и оплеванные... презренные и подозрительные», «эти мещане-обыватели приспособленцы» «учили детей никому не нужному французскому языку, или Закону Божию, или древнееврейскому; учили двоимирию — в школе одно, дома другое! — отстаивали свою частную жизнь в коммунальных квартирах от всесильного, бесконтрольного государства, спасая, сберегая то, что еще можно было спасти, осуществляя разорванную связь времен. Героические и всеми презираемые обыватели» («*Мадмазель*»). А ведь этим столь презируемым словам — «обыватель», «мещанин» — здесь возвращается их первоначальный, подлинный смысл. Вслед за Пушкиным: «Я, братцы, мелкий мещанин!»

Такой она была в 1920—1930-х годах — «это все моя Одесса, моя годная франтиха в перелицованном ситце». Эта Одесса пела частушки — например, такие:

Еська Сталин — спекулянт паспорт получает,  
А я бедненький кустарь — меня выселяют! («*Женские рассказы*»)

Пела «песенки» — знаменитые одесские песенки; танцевала — родители со своими друзьями-сверстниками разучивают фокстрот; а вот и Руня-школьница обучает этому танцу Жоржа: «В этой ликующей обстановке не танцевать было просто невозможно» — это юность с ее верой в жизнь. И множество «мелких» черточек быта, уже незнакомых и непонятных сейчас (что ели, как одевались, а главное, как и в том и в другом ухищрялись — как подворачивались папины носки, которые дочка-школьница носила зимой в морозы (в 1930—1931 гг.); и — «на одесском пляже бикини вошли в моду на двадцать лет раньше, чем на Западе, ибо голь на выдумки хитра» («Лена»).

В неустойчивой жизни довоенной Одессы тем прочным и важным, что помогало не только выжить, но и остаться верным себе, куда не проникало чуждое, где был милый круг близких и друзей, была — семья. Это пространство настоящей жизни, настоящих ценностей среди «противной современности», где все сравнивается с «мирным», то есть дореволюционным и довоенным (до Первой мировой) временем.

Поэтому в книге часто и подробно описывается, вспоминается квартира. Она не просто необходимое «жизненное пространство»: это пространство переживалось, осваивалось эмоционально — все его предметы, обстановка — подобно тому, как и мир вокруг, — маленькой девочкой «от трех до пяти». В этой прекрасной квартире семью будут бесконечно уплотнять, пока вообще не отберут, и вернувшимся из эвакуации родителям придется ютиться в двенадцатиметровой комнатке над цирком, где слышится рычание львов. Центром домашнего мира девочки была «чудесная наша угловая гостиная с пятью окнами, с пианино, с диванчиками, креслами, коврами и книгами», где так интересно было, тихо играя «в уголку», слушать веселые, шумные беседы, наблюдать за уроками фокстрота. А гости — они и есть одесские характеры: благородная, часто непредсказуемая Сильва Борисовна; красавица и насмешница Берта Лазаревна, не меняющаяся с годами — может быть, из-за своей «готовности к веселью»; Полина Львовна, которая наиболее полно воплощает национальный характер — автору это открылось через прустовскую герцогиню Германтскую, «с ее колкостями и шуточками».

С любовью выписаны все детали, все предметы — весь тот уют, который окружал детство. Это ушедший быт, мы хорошо знаем, что он был разрушен, уничтожен. И в конце так грустно говорится о ветшании вещей, их разрушении, старении.

«Мебель ветшала, ломалась, ее не чинили. ...Квартира, которая казалась мне в детстве самой красивой на свете, умирала, отживала» («На море и обратно»). В окружающих нас вещах тоже частица души нашей, эти вещи не только согреты нашим теплом, но и рассказывают о нас своим особым языком. Потому так болезненно порой расставаться с любимыми, давно сопутствующими нам вещами.

«Одесса старилась и тихо разрушалась, как наша квартира, здания ветшали и не ремонтировались, магазины давно уже не мыли своих витрин... В этом старении, прямо скажем, не было прелести увядания...»

Умерший, уничтоженный быт сохранился только в памяти, в воспоминаниях. Здесь же и ода книжному шкафу — «И все-таки — там было два шкафа с книгами, которых стало даже больше: прибавились Тургенев и Гончаров (их купила я сама...). Но главные были те, что покупал папа, — раньше, когда я еще не умела читать, я помню, как их приносили: броггаузовский Пушкин, броггаузовская энциклопедия, Толстой, Чехов...»

По словам О. Мандельштама, «книжный шкаф раннего детства спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы» («Шум времени»).

Помимо дома, другим центром Одессы, и вообще мира в представлении ребенка, была Соборная площадь, это смысловой центр повести (и ее первоначальное название, которое сохранилось в четвертой главе). Здесь происходили особенно важные события и встречи, которые становились этапами жизни, здесь происходило много такого, что позднее стало Историей. Перекресток судеб. В этом зачарованном месте — хотя уже и Собора нет, и у площади имя другое — оживают тени прошлого, и прошлое само приходит сюда на свидание.

Но прежде — это счастливое пространство детства: здесь дети гуляют с фребеличками и нянями, здесь удивительные игры и песни. И такая длинная, интересная дорога с домами, населенными необыкновенными и загадочными людьми. Все это глазами ребенка — когда все вокруг по-своему называется, по-своему понимается и связывается в причудливые сюжеты детским сознанием, которое не подозревает того, что творит миф, свой миф окружающего мира. Прелесть, удивление и первозданность этого взгляда сохранились и воспроизведены Зерновой через много лет. Вот прекрасный образчик такой детской мифологии: «...вдруг увидела маминьы сердитые догоняющие ноги в высоких шнурованных сапожках...»

Пространство собственно города описывается немного: детально — только Соборная площадь, все ее уголки и путь до нее от дома; просто и как бы бегло упомянуты море, которое «было нашим бытом, нашей одесской данностью» и потому не замечалось, почти как воздух, да и порою к нему можно сбегать на школьной переменке; бульвар, где интереснейшие разговоры, интеллектуальные и не очень, встречи, друзья и дружбы — «тепло, темнее, фонари, шорох камушков под ногами, уже невидимое в темноте море, но все равно оно есть, пары, группы, компании...»; знаменитая Лестница, та самая, потемкинская, эйзенштейновская (впрочем, на ней, как на сцене, разворачивалось немало и других историй — они тоже есть в книге); знаменитый же Оперный театр («второй в мире»); не-





**Р.А. с младшей сестрой Лялей и няней Наташей**

которые улицы; Чумка — в войну там было гетто... Душа города оживает под пером Зерновой и воплощается ею в слове во всей полноте, красках и звуках. Так, что мы, никогда там не бывавшие, эту Одессу — узнаем! И ощущаем, и слышим, и принимаем в свое сердце. «Одесса, город моего детства. Дивный южный город, такой своеобразный, такой живой, такой...» Такой.

Все будет оживать и гомонить Одесса в новых и новых рассказах.

«Разные другие Одессы шевелились, дышали, иногда — таились рядом с нами. На Соборной площади, когда Собор был взорван, торговала книгами крошечная неопрятная большеглазая старуха: раз я услышала, что она разговаривала с покупательницей по-французски. Я тоже заговорила с ней по-французски — очень заманчива была эта неизвестная, тайная,

прошлая Одесса, и она к ней принадлежала. Ее фамилия была Ренненкампф, она показывала маленькие фотографии: она, Ида Рубинштейн и Д'Аннунцио — Венеция, гондолы и огромные шляпы» («Элизабет Арден»). Вот так происходило в Одессе приобщение к культуре. И приобщение к миру — он вдруг, ярко вспыхивая в подобных рассказах, манил и заявлял о своей реальности в пику устоявшемуся у одесситов, да и вообще у людей того времени, убеждению, что «заграница — это миф о загробной жизни». А сюжеты этой «маленькой фотографии» поистине огромно являются собой культуру: в них театр, литература, музыка, архитектура, живопись, балет, Италия, Россия, Франция... Черты этого ушедшего довоспоминательного мира уничтожаются (Собор), но память о нем сохраняется и передается.

Ощущение разных лиц этого многоликого, многонационального, космополитического города, интерес и умение вслушаться и взглянуться в каждый такой лик, найти его правду и красоту утверждало взгляд на мир вообще — взгляд, признающий многообразие мира прекрасной и счастливой данностью, достойной интереса, внимания, наблюдения, может быть, анализа и, главное, уважения — к «своим» и «чужим».

Одесса — «обнищавшая, но не унывающая, которая даже над собой умеет смеяться, над своим золотым, ришельевским, французским, старо-портофранковским прошлым...

— Ничего святого!

Наверное, святое у нее было. У ее детей — было. Она сама. Одесса. Бывала я на семейных праздниках, где провозглашался тост: «За Одессу!» И все вставали — вставали! — пили, без одесских шуточек, почти что молча. ...Ничего святого? Что-нибудь да было, у всех и у каждого. Но над всем «святым» можно было смеяться, не вынося его вон, потому что самое святое и была эта усмешечка, шуточка, возвращавшая одесскую меру вещей одуревшему, осатаневшему от серьезности миру» («Элизабет Арден»). И мы понимаем, что ценностью — драгоценностью — для детей этого города и стала одесская мера вещей.

Писательницу Зернову сформировали морской простор, свобода и разноязыкая, разнообразная, яркая, порой непредсказуемая, порой тяжелая, но во всех случаях особенная жизнь большого южного города-порта, лежащего на перекрестке путей и на перекрестке судеб. Отсюда ее открытость людям и миру.

А к этому и еврейские корни — то самое местечко, из которого уходили, от которого отрекались, смотрели свысока на полуграмотных русских его обитателей. Но и оттуда взято очень важное — особенный взгляд на мир, сформированный веками и странствиями целого народа. Местечко кажется молодой девушке из ассимилированной семьи не совсем понятным. Но при этом она чувствует и гордость принадлежности и к семье, и к народу; задумывается о еврейском участии в культуре.

О друге-одессите рассказано как о воплощении одесского характера: «Он родился и вырос в Одессе и остался на всю жизнь одесситом, как Жаботинский, не стесняясь, не изменяя, не предавая, веруя, что Одесский городской театр второй в мире (о первом одесситы до сих пор спорят), а уж одесские девочки!.. Жена у него была одесситка, конечно» («*Элизабет Арден*»). И не случайно (хотя и как бы случайно, «в скобках») появляется здесь Жаботинский. Вот и имя названо. Как написала Зернова в другом рассказе: «Называешь имя, и словно камень отваливаешь». Имя Жаботинского для Зерновой особенное — знак и литературный пароль. Это имя вошло в ее жизнь в Одессе таинственным псевдонимом Альталена. Позднее она напишет об этом великом одессите и замечательном писателе и назовет его предтечей юго-западного направления в русской литературе.

В Одессе утверждалась основополагающая, можно сказать, черта — желание остаться собой и смелость это «свое» отстаивать. В этом городе понимали и учили понимать настоящий смысл всего, и слова, и события. Здесь за словом признавался его подлинный, не замутненный ничем наносным смысл. Это свойство Зернова, человек и писатель, сохраняла всю жизнь.

С одесской прямоотой рассказывала Руфь Зернова о начале творчества; оно началось еще в дописьменную эпоху жизни. «Писать я начала рано — раньше, чем научилась писать. Я умела только по-печатному» («*Секрет*»).

Во всех интервью ее, конечно, спрашивали о пути в литературу. Рассказывала Зернова охотно: «Знаю с детства, что люблю литературу, что хочу ею заниматься. Но реализовала свою мечту лишь в конце шестидесятых» (из интервью «*Вечерней Одессе*» 2 ноября 1974 г.); «...я еще в школе мечтала стать писателем. Ведь мои сочинения всегда хвалила учительница. Начинала с рецензий, переводов для “Юности”, статей на моральные темы (такие тогда были рубрики)» (из интервью 1996 г. Хаиму Венгеру).

К этой теме она возвращается вновь и вновь, вспоминая обо всем с юмором и отдавая те детские свои переживания героям своих рассказов. Как в рассказе «Секрет», например (из ее первого сборника): «страшно важный секрет» доверяет восьмилетняя Женя старшему (десятилетнему) двоюродному брату:

«— Жорка! — начинает Женя шепотом. — Я... написала роман! И... его, кажется, печатают.

— Ну да? — говорит Жорка. Он не смеется.

— Понимаешь, — торопливо говорит Женя, — я написала его давно, еще летом на даче, — помнишь, когда были дожди? Книжек не было, делать было нечего — вот я и написала. И Ира Бродовская мне сказала:

“А давай пошлем в журнал!” Ее папа всегда посылает статьи в журнал. И мы послали. ...Большой роман получился, целая тетрадка...”

А вот и ответ из редакции:

«— Уважаемый товарищ! — читает вслух Жорка. — Ваш материал нами использован быть не может. Ждем от вас материалов для журнала “Октябрьские всходы”. Ну, и чего ты не понимаешь?

— Это, наверное, не мне письмо? — Женя глядит на него с недоумением. — Почему про материалы? Я же им никакой не материал послала, а роман.

— Дура ты все-таки! — с сожалением говорит Жорка. — Материал — это в газете так называется все, что писатели присылают. ...Сразу видно, что ты не читаешь газет. Они с тобой как с писателем разговаривают, а ты... Дура!

Жене не до обид, не до споров.

— Жорка, — говорит она, и голос ее как-то странно звенит, — “использован быть не может”. Значит, они не напечатают?..»

И уже серьезно, устами героини «*Немых звонков*», тоже писательницы: «В детстве, когда я писала сочинения, мне больше всего нравились сами слова — как они нижутся, играют, начинают звенеть. Фразы мне нравились мелодичные, певучие, в которых почему-то появлялось что-то вроде ритма...» И далее: «Мне было интересно писать, и казалось, что я вправе давать советы: все-таки возраст, и начитанность, и дети у меня...»

Феликс Кандель сказал как-то, что у него сложилось ощущение некоей дверцы в памяти Руфи Зерновой, куда никому нет доступа и на которой написано: «Одесса». И когда он, побывав в Одессе, где жили, погибли его родные, пройдя по всем связанным с ними местам, рассказал ей обо всем этом и о том, какие сейчас улицы и дома Одессы, — он почувствовал, по его словам, что заветная дверца открылась и для него.

## После Одессы

Ленинград 30-х годов входит в жизнь, а позднее и в творчество Зерновой как «...битый-перебитый, вечно крамольный, вечно унижаемый, сумрачный и невеселый... Одесситов в ЛГУ было раз-два и обчелся, они устремлялись в Москву, которая лучше их понимала. Одесские шуточки в Ленинградском университете порождали недоумения, доносы и персональные дела» («*Элизабет Арден*»). Действительно, «в Ленинграде не зароешь». Этот неласковый прием — словно намек на будущие испытания в жизни.

«В тридцать шестом году, когда я приехала держать экзамен... он, Ленинград, опять затаился, как с ним уже не раз бывало. ...Я сдавала экза-



**Р.А. в момент поступления в ЛГУ**

мены. ...И все-таки не понимала, что люди, которых я встречала в университетских коридорах, думают одну думу: минует — не минует?»; «И длился этот самый тридцать седьмой до самого сорокового...» («Элизабет Арден»).

Тревожный колорит, несмотря на то что город оборачивался и другими своими ликами, кажется, основной, ведь здесь произошли самые драматические, поворотные события в человеческой и писательской судьбе Зерновой. «...Наша лестница со двора, пахнет щами. Мы пройдем мимо фонтана, который ни разу на моей памяти не бил — три унылые каменные жабы высохли и почернели. Двор-колодец, шестиэтажные стены смотрят друг на друга большими печальными окнами; двор — асфальтовая пустыня — ни травинки; двор, где гуляют интеллигентные ленинградские кошки. Потом арка, длинная, как водопроводная труба, — и улица. Проспект. ...это воздух, влажный, мокрый, дрожащий от капель,.. он пахнет географической и литературной Невой... Дышите, читатель... дышите вместе со мной блаженной городской сыростью, гнилым и теплым западным ветром,.. тут дома, забравшиеся на вечный постой между желтыми лапами Адмиралтейства, а там длинный фасад Зимнего, а там, где летом густые зеленые купы, сейчас один шпиль, игла без ушка...» («Элизабет Арден»).

Но это удивительный город. В нем есть, он сам может существовать в «иной реальности», где он дарит чудеса, где хранится прекрасное и праздничное. Об этом самый ленинградский, то есть дающий ощущение этой потрясающей двойственности Ленинграда-Петербурга, рассказ Зерновой

«*Иная реальность*» (в сб. «*На море и обратно*»), о встречах с Ахматовой. Бесстрашная одесситка взяла в Ленгорсправке (!) адрес и пошла, представляя себе, что «в маленькой комнатке, совершенно одинокая, тихая и всеми забытая, живет старушка Ахматова...». И произошла нездешняя встреча (встреча во времени? или за его пределами?), возможная для «счастливых избранных»: «Как-то вдруг Ахматова, и все, в чем она жила, перестало принадлежать к поколению родителей. Она стала такая же живая, как мои подруги... Словно вышла из портретной рамы — зашевелилась, потеплела, а потом и вовсе соскочила в нашу трехмерность из своего четвертого измерения. Потому что живет она там — в весне шестнадцатого года. А сюда соскочила на часок — ко мне.

...Боже, сколько я узнала, сколько услышала, увидела, поняла наконец. И обогрелась — у какого-то неожиданного, чуждого, странного, как бы иностранного, а может, инопланетного тепла...» И мы обогреваемся — там же рассказано о многих иных «ахматовских» встречах: с людьми и городами, в Италии, в Англии, причастными к ее судьбе.

Интересно в этих воспоминаниях и то, что в сознании людей 30-х годов Серебряный век, 1910-е годы русской истории и литературы, принадлежали к какому-то весьма отдаленному прошлому, словно это «задвинуто» туда, отдано «поколению родителей», — печальное свидетельство разрыва цепи преемственности, литературной, исторической, да и человеческой. Этот разрыв передан в рассказе и чисто художественными средствами: удивлением, потрясением, отстраненным описанием этой встречи и самой Ахматовой.

Видится он писательнице и в том, что Ахматова чувствовала единомышленниками и собратьями молодых поэтов — из поколения «внуков», а не из поколения детей.

Есть у Руфи Зерновой — человека и писателя — уникальный опыт, отраженный и в творчестве: гражданская война в Испании. Со второго курса она вместе с другими студентками была послана в Испанию переводчицей при военном советнике.

«Что я поняла в Испании? Прежде всего, как люди одних убеждений могут делать одно большое общее дело. И еще — как ужасна, бесчеловечна война. Даже если она идет не у тебя на родине» (из интервью 1974 г.).

Ее рассказы о пережитом в Испании в 1937 году составляют единый цикл, хотя и написаны в разное время: два из них — «*Бакалао*» и «*Два дня в Восточных Пиренеях*» — вошли в первую книгу, а через 34 года была написана «*Скользкая тропа*». Их объединяют и переживание прошлого, и желание осмыслить этот необычный опыт, которое не покидает автора всю жизнь, а порою сама жизнь дает толчок этим воспоминаниям. Рассказы написаны от первого лица, и с помощью автобиографической героини

автор передает свежесть восприятия юного существа — городской умненькой, но во многом наивной студентки Риты, волею судеб оказавшейся на оживленном и опасном историческом перекрестке мира в одну из его «минут роковых» (Рита — «испанский псевдоним», так же как и фамилия Зернова, ставшая псевдонимом литературным). Там и тогда начала «завязываться биография» (как напишет она позже). Но в той молодой героине не только наивность, а очень точное чувство нравственного равновесия, способность понимать, сопоставляя и соразмеряя, необыкновенная чуткость к окружающему. Все это вынесено из родительского одесского дома. От широты того мира детства, от его открытости и независимости — нравственное чувство и сопряжение простых вещей и то совершенно естественное достоинство, которое помогало не поддаваться нивелировке, насаждавшемуся повсюду «единомыслию» и всепроникающему страху.

Бакалао — так называют героя одноименного рассказа, это слово значит «треска», а также «скелет», и так дразнят молодого бакалавра (по звучанию) Карлоса. В шуточных или серьезных диалогах, в репликах героев, в кратких описаниях автор любит свои героями-испанцами.

Воссоздает атмосферу военных будней, в которых есть и героическое, и вера в победу, но все это прячется за шуткой или за каждодневными заботами, и от этого рассказы приобретают достоверность свидетельства. Свое восхищение Испанией Зернова выражает опосредованно: в портретах персонажей, в кратких пейзажных зарисовках, в которых выделены яркие краски, солнечный свет. В этих рассказах запоминающиеся образы, например: «Когда он пел “фламенко” — старинные андалузские мелодии, изукрашенные мавританскими руладами, рвущиеся вверх, как готический собор, — он запрокидывал голову, закрывал глаза, и видно было, как рулады перекатываются у него в горле».

### «Где филологи сучкорубами работают...»

К своему лагерному опыту Зернова возвращалась вновь и вновь. На ее долю выпало пять лет лагерей, точнее, пять лет и три месяца. Ее опыт свидетельствует: лагерь — это и есть «советский образ жизни», где представлены все слои общества. Отсюда, думается, обыденная интонация всех лагерных ее рассказов.

«Так и жили. Кто крепче — на лесоповале, и даже я в конце концов научилась не зажимать пилу. Слабосилка — в пошивочной. А по вечерам все вместе — бытовики и пятьдесят восьмая — и на танцы ходили, и хором пели под баян про партию, которая наш рулевой» («Ах, Самара-городок»).

Обыкновенное течение жизни было и в лагере. И было то, что называют «роскошью общения», и радости случались: «Оказывается, каждый



**В ГУЛАГе. Топчиха Барнаульской обл., 1951 г.**

день хоть что-нибудь хорошее да происходило: письмо пришло, или кто-то сказал доброе слово, или на работу не выгнали...» И даже рабский труд — невероятно — может в какой-то момент стать радостью: вот Наля, молодая женщина из деревни, ловко и красиво вяжет снопы — очень любила эту работу на воле. Да и автор «с удовольствием разбирает» библиотеку на лагпункте.



Первый рассказ — «Тонечка» — был написан в лагере, карандашом в записной книжке, и даже попал (конечно, после редакторской чистки, когда «все лагерные концы были упрятаны в сюжетную воду») в первую книгу «Свет и тень» (1963).

В некоторых из этих рассказов присущий писательнице психологический анализ выступает как самоанализ. О состоянии страха, владевшем всеми, писали многие. В рассказах Зерновой это состояние в подробностях воссоздается со всеми его составляющими — на собственном опыте.

«И вот этого-то я и боялась больше всего. ...Жизни среди людей, которых пока “не коснулось”. Жизни и ее ни с кем не разделенных забот. Очередей у окошечка тюрьмы. Очередей у следователя. Страх сказать где-нибудь не то. Страх не сказать то. Страх слова, молчания, действия... Я уже не могла и не хотела делать выбор, не способна была на выбор, который и есть жизнь. Я не способна была на жизнь. Я была готова для тюрьмы» («*Элизабет Арден*»).

К некоторым вещам готовым быть невозможно (как бы ни убеждала народная мудрость: от сумы да от тюрьмы не зарекайся).

«Когда прозвенел звонок, которого я ждала столько месяцев, я его не узнала. И когда коротенький человек в штатском показал мне красную книжку гэбэшника — тоже не узнала» («*Элизабет Арден*»).

Путь из уютного дома в суд — тюрьму — лагерь — описан как индивидуальный опыт, но он, как выясняется, накопил в себе типическое и дает потрясающе точную, масштабную и яркую картину общества, его социологию и психологию. И это все почти исключительно через женские судьбы. К большим, глубоким обобщениям писательница идет не от количества накопленных фактов, а от индивидуальной психологии.

«Бессонный, в пот вгоняющий, смертный страх. Страх человека сорок девятого года, нашего ровесника, — это страх в квадрате, в кубе. Это смутный детский страх первых революционных лет, помноженный на ретроспективный страх тридцать седьмого и возведенный в новую зную степень. К концу сороковых годов нам уже было что терять. И не на время, а навсегда. Появился к концу сороковых годов некий коллективный, внелично добытый опыт: *оттуда* не возвращаются» («*Элизабет Арден*»).

И здесь же, рядом с трагическими этими строками, почти невероятное: «...было уже совсем в несознанке — любопытство. А — как там?» Речь не только о естественном человеческом (и женском) любопытстве, но и о любопытстве особом — писательском, о неистребимом духе творчества (а может, о безжалостной требовательности дара?).

«Раз уж ты здесь, по дороге в преисподнюю, то смотри по сторонам и старайся увидеть побольше. Для чего? Кто знает».

Ответ на этот вопрос есть, и, пожалуй, не один, в разных рассказах: «...я когда-нибудь — когда-нибудь — это опишу» («*Это было при нас*»). Не

случайны ассоциации с театром, с пьесой, они возникают неоднократно и в разных рассказах, даже очередности сказано в театральных терминах: «Все равно ее объявят шпионкой, этого не миновать, даже я вижу безысходность ее положения... Это как в театре, когда смотришь знакомую пьесу, только актеры новые — в этом и весь интерес» («*Элизабет Арден*»). «На суде я чувствовала себя и актером, и зрителем, и будущим летописцем» («*Длинные тени*»). В этом рассказе процедура суда предстает как явление, настолько характерное для той жизни, что тут же вызывает в памяти школьные суды — за «отрыв от коллектива», например, со всеми «взрослыми» атрибутами. По тому же сценарию затем «играли в суд» и в лагере — бытовики и уголовники, конечно («и никогда — 58-я», то есть политические). О «своем» суде (их было даже два) рассказывается как о заранее срежиссированном жутком спектакле, где только подсудимые «не знали ролей». Потому-то на извечный вопрос «А судьи кто?» «подсудимая» отвечает ярко и хлестко, создавая лишь с помощью нескольких деталей глубокие психологические портреты, за которыми и вся биография, и вся человеческая суть. О прокуроре, например: «Он в обвинительной речи сказал, между прочим, что подсудимые все время “чинили суду и следствию прерогативы”, имея в виду то ли препятствия, то ли препоны; слово “прерогативы”, видно, приглянулось ему своим весом и ученым видом. Он шурился, ухмылялся, ненавидел нас всех от всего сердца, а заодно и наших адвокатов, из которых двое были евреи и умели красиво говорить» («*Длинные тени*»).

Приведем еще эпизод из этого рассказа: последнее слово подсудимого.

«И тут одно слово — одно его слово — меня прострелило. Он сказал так:

— К себе я прошу снисхождения, а к моей жене — милосердия.

Слово “милосердие” я услышала в первый раз в жизни. Нет, конечно же, я его знала. Из книжек, вприглядку <...>. Но слово “милосердие” как существительное в звучащем словесном мире не существовало: его даже не разоблачали, не оплевывали, не компрометировали, не высмеивали, не низводили — его не было. Оно существовало только как беззвучный иероглиф. Несколько месяцев назад — только несколько месяцев назад! — Даниил Гранин произнес это слово на всю страну — в письменном, в напечатанном виде. И все теперь, от Чопа до военного городка на Курилах, произносят его <...>. И еще через несколько месяцев поверхность этого слова загрубеет от бесчисленных повторений, а потом задеревенеет, зароговеет и перестанет быть живой и перестанет задевать заживо, как случилось с другими, открытыми в 56-м году словами: доброта, сострадание... Только сердцевина останется живой для того, кто до нее догрызается <...>. И было оно не только иероглифом. Оно стало, наверное, чем-

то вроде “табу” или, может, еще запретнее, святее... В общем, оно меня тогда на суде навывлет поразило...» («Длинные тени», с. 93—94).

Такие эпизоды, написанные просто, фактологично, говорят сильнее гневных филиппик.

Новаторство Зерновой ярко высвечивается в истории с публикацией рассказа «Кузькина мать».

«В пятьдесят шестом году — когда грянула оттепель — я написала рассказ “Кузькина мать”. Виктор Некрасов, который тогда снимал фильм “Солдаты”, читал его своим актерам — Соловьеву, Смоктуновскому и признавался, что их всех прошибла слеза. В журналах он тоже вызывал чувства, но при первых же заморозках мне его возвращали. Надо сказать, что, когда я через двадцать лет принесла его в “Континент”, в редакции он вызвал снисходительный смех; нашла, дескать, о чем писать. И в Советском Союзе, и за его пределами котировался бескомпромиссный героизм, ненависть к угнетателям и всевозможные острые приправы, — но ни в коем случае не тихая покорность судьбе. Фрида Вигдорова передала мне отзыв Оттена: “Да, хорошо написано, но почему она пишет так, как будто все это нормально?”

Я не очень знала, что на это отвечать. Нормально? Ненормально? Миллионы женщин — точных цифр у меня нет, но — миллионы! — живут именно так, год за годом, лето за летом, зима за зимой — это нормально? Это привычно, это их жизнь. Вам не нравится, что автор не гремит обличениями и проклятиями? А автор сам внутри этой жизни и — навсегда... Нет, я никогда не стыдилась и не боялась своих лагерных воспоминаний. И не терзалась ими» («На море и обратно»).

Ответ оппонентам дан в форме продолжения спора и оттого звучит еще убедительнее. Но главное здесь — собственная позиция. В рассказе нет страшных сцен или ужасающих подробностей, эта жизнь, как видно, и страшна своей обыденностью. И Зернова через быт показывает, как и чем сохраняются в таких условиях исконные человеческие чувства и простые истины: неистребимое в женщине стремление любить и заботиться, материнское начало, естественного проявления которых на долгие годы лишили их тюрьма и лагерь.

Рассказ Зерновой «Элизабет Арден» Бет Холмгрин назвала «маленьким шедевром» (*A History of Women's writing in Russia*, p. 236). В нем атмосфера 1940-х годов и, пожалуй, особого, удивительного «предлагерного состояния». Две женщины: советская и «западная косметичка». Вот эта вторая и есть *нормальная* женщина, и именно потому в той действительности обречена: «...прибыла сюда из Прибалтики и думает, наверное, что здесь все как у людей, раз есть женщины. Да. А ведь ей все равно несдобровать, уж слыхом она выделяется, все равно ее объявят шпионкой, это-го не миновать, даже я вижу безысходность ее положения...»

Воспоминания о лагерных годах складывались в летопись. Будни, ежедневный распорядок и нерядовые события. Не «один день», а много дней, похожих и непохожих один на другой. Рассказывается больше всего о людях: и целые биографии, и короткие яркие встречи. И столь же ярко проявляется здесь писательское свойство Зерновой: живой, неиссякающий интерес к человеку — и к высокообразованной столичной интеллигентке, и к деревенской женщине. Умение их постичь, увидеть скрытое в глубине души. Писательница видит хорошее в каждом человеке, докапывается до него, ловит и запоминает ситуации, когда это хорошее, человеческое наиболее проявляется. А также творческое начало, тоже неисстребимое в человеке.

Об этом светлые и грустные рассказы об актерах в лагере, о спектаклях, поставленных там совместными силами профессионалов и самодельных артистов. Искусство, даже недолгая к нему причастность, дарило заключенным счастливое ощущение свободы, собственной значимости, человеческого достоинства.

И самое удивительное, что о времени, проведенном в лагере, писательница сказала: «Я не считаю эти годы потерянными — они здорово отмыли мне душу и научили некоему смирению и умению слушать» (*«Израиль и окрестности»*).

## На воле

«А мы воли — боялись. Мечтали, звали, ждали — и боялись... В лагере — без забот. Накормлен, как говорили у нас, по норме, одет по сезону, на работу ведут, с работы провожают... А “на воле” — как жить? Куда трудоустроят? Гроши получать, дрова доставать да раз в месяц, а то и чаще — ходи отмечайся в милицию. И всем ты чужая, и всем подозрительная, и все на тебя стучат... Странная воля» (*«Израиль и окрестности»*).

Возвращение к жизни после лагеря, соединение двух разорванных ключей проволокой отрезков жизни «до» и «после», также не было простым (как можно догадываться). И об этом есть в рассказах Зерновой, не всегда прямо, но вполне определенно. К примеру, вот сюжет: в 1959 году журналистка «Огонька» (за которой угадывается автор) приезжает «на затерянный в российской чащобе лесопункт», где поселились две ее лагерные «коллеги». К ним в гости. А еще — «за жизнью», какой она стала после XX съезда, когда «дышать стало легче». Но оказывается, что нет здесь «жизни настоящей»: «У нас тут, понимаете, совсем другая жизнь. В лагере люди воли ждут — а тут уже воля, вот такая она, воля... Чего же тут ждать? — рассуждает одна из героинь. — Если бы не кино, то мы бы уже и на людей не были похожи» (*«Длинные тени»*). И даже так: «...куда нам

деться отсюда? Тут хоть снабжение хорошее». Снабжение хорошее — жизнь бедная, непереносимо бедная, не живая. Здесь, в глубинке, оттепель только в природе: в жизни все по-прежнему сковано льдом прежней эпохи, как в местной газетке с трескучими фразами. Свежий весенний ветер словно не достигает этих мест, где царит мутная духота. Это ощущение от впечатлений быта, где всерьез рассказывают о приворотях (которые, оказывается, практикуют) и пересказывают гостье заговор по всей тайной «науке». И героиня переживает возвращение не в свое недавнее прошлое, как ей думалось, а в «длящийся, живой шестнадцатый век». Разговоры о колдовстве здесь совсем не то светлое игровое поле, что в давнем рассказе автора о колдуньях «Ведьмы», — здесь ощущение, что «темный хаос шевелится». Духота — основной мотив этого рассказа, названного на иврите «*Бэ эмца а-мидбар*», — словами известной песни, что означает «Посреди пустыни». В песне мальчик поет о том, что еще не нашел воду в пустыне, но все впереди. Здесь же, в действительности, представленной читателю, ассоциация с пустыней усиливает ощущение духоты. Она воспринимается почти физически, когда и приятельница Зина, и сама автобиографическая героиня, невольно сравнивая, вспоминают лагерь.

«Да что ж это за духота? Чужой быт? Чужие интонации? Может, страх? Чего мне бояться? Кто меня обидит? Задыхаюсь! Пять лет прожила в лагере, не задыхалась, а теперь вот задыхаюсь? Да, но там была Ира Кнорринг и Валичка Ким, и даже Андогская. Нас одно и то же смешило — вот в чем дело. Плакать вместе можно с кем угодно, но смеяться только с себе подобными. Неужели правда? Я тут ни разу не смеялась, кажется. Так что, я, как Зина, — по лагерю соскучилась? Господи, что за чушь лезет в голову. ...Но — разговора на лестнице, разговора».

Смеха, юмора, когда одно смешило, немало на страницах книг Зерновой, где он переливается солнечными бликами, растекается веселыми ручейками. Смех помогал сохранить себя в окружающем безумии:

«Но смех над сегодняшним, в сегодняшнем, в настоящем, которое превращается в карикатуру на себя, — это был смех — опасный смех! — над собственным страхом, и мы были благодарны тем, кто нам его дарил... Смех возвращал людям чувство человеческого достоинства, и они переставали ощущать себя стадом, которое гонят на убой» («*Длинные тени*»).

Одесская независимость присутствовала в творчестве Зерновой с первых рассказов: ее проза не походила на то, что тогда было в литературе общепринятым. Поэтому и ее «старые» рассказы по-прежнему интересны.

Что значит «не походила»? «Трудно было пробиться с вафельным полентенцем», — писала она о Лене, подруге детства («*Лена*»), и ее стихах («*Утро вафельное*»), камерных, наверное, неумелых, но настоящих, точно



**Встреча Нового 1955 г. на свободе: слева направо: Е.Г. Эткинд, Н. Жирмунская, Р.А. Зернова, М. Барская, И. Серман, Е. Зворыкина**

выражавших главное для тех одесских «интеллектуальных», как они не без иронии себя называли, девочек-подростков: их чувства, еще не вполне ясные им самим, их переживание распахнувшегося перед ними мира.

А про «утро вафельное» — это и о себе. Потому что опять в том же родном городе умный и проницательный одессит, услышав о ее желании стать писательницей, спросил: «— А о чем она будет писать? О кандидатах филологических наук?»

(В скобках заметим, что действительно — парадоксально — ведь писала о кандидатах филологических наук! И даже о профессорах филологии... Но писала о них в другое время и уже не в России.)

Первый напечатанный (в 1960 г. в «Огоньке») рассказ — *«Скорпионо-вы ягоды»*, по впечатлениям о слышанной в детстве истории. Он многое открывает в будущем творчестве, ретроспективно это очень хорошо видно. Сложный, разветвленный, острый сюжет. В рассказ вместились жизнь и любовь молодых родителей героини в предвоенные и военные годы, и их гибель, и неутешное горе матери, потерявшей дочь по вине родной сестры-предательницы, живущей по соседству на сельской улице (это ее прозвали Скорпионом). Зло, принесенное ею в семью (и в мир), так велико, что сестра не хочет простить ее и на смертном одре, отказывается переступить ее порог. Но главная героиня — Галя, дочь той молодой пары,

погибшей в войну. Она предстает в нелегкую и прекрасную пору взросления — девичества. Галя, полная предощущения юности, жизни, любви, остро чувствует красоту мира, полна удивления перед прекрасным, доверия, желанья добра. Именно она несет доброту и человечность в жестокий мир взрослых, хотя и ее, приезжающую сюда лишь на каникулы, успела страшно обидеть Скорпиониха. И баба Настя по настоянию внучки все же идет проститься со своей умершей сестрой, «которая жила только ненавистью».

Внешняя занимательность фабулы этого и последующих рассказов держится на точной и тонкой психологической подоснове, что и делает все истории достоверными. Зернова позднее скажет о своем предпочтении сюжетной литературы:

«Я люблю сюжетную литературу. Даже остросюжетную. Ее весело писать. И думаю — весело читать. Что же касается психологии, то я вовсе не отказываюсь от нее. Наоборот, пользуясь возможностью жанра, пытаюсь строить все на деталях, быте, психологии. Ведь иначе это была бы не проза, а схема. Я же пытаюсь, не теряя качества прозы, напитать ее динамизмом» (из интервью 1974 г.).

Первый рассказ сразу принес и читательское признание. «Читатели завалили меня потоком писем, — рассказывает автор в интервью уже в Израиле (1996). — Но на этом “жизненный путь” этого рассказа не закончился. Вскоре в Союзе стали издавать Библиотеку советского рассказа. Первым в этой библиотеке был опубликован рассказ Шолохова “Судьба человека”, вторым — мой рассказ “Скорпионовы ягоды”. В 1963 году вышел мой первый сборник рассказов “Свет и тень”. И в него вошли “Скорпионовы ягоды”. А в 1964 году по этой книжке меня приняли в Союз писателей. Так началась моя литературная биография».

Рассказы сборника «Свет и тень» (1963) во многом определили круг тем ее будущих книг — многие из них связаны с личным опытом, воплотили наблюдения над самыми будничными на первый взгляд явлениями и ситуациями, за которыми автору виделись проблемы и чувства общечеловеческого масштаба, поэзия. В своих героинях, женщинах разных возрастов — сельских жительницах, парикмахершах, библиотекаре, таксистке, — Зернова раскрывала человеческую личность, используя для этого монолог-исповедь («Тонечка», «Городской романс», «Письмо»), общий разговор персонажей с кратким авторским комментарием («Дамский зал»), авторское повествование («Сильва»). Жизнь, о которой она рассказывала, — нелегкая, порою безрадостная. Зернова достоверно и тонко воплотила частную жизнь и личные проблемы самых разных людей — этим ее рассказы были близки разному читателю: так жили все. Повести и рассказы из другой книги — «Немые звонки» — объединяются в цикл, где название становится многозначным (может быть, независимо от воли

автора). Сама ситуация значима: раздается телефонный звонок, но позвонивший молчит в трубку. Это молчание — и крик, и мольба, и укор, и вопрос. Но главное — невысказанность, и отсюда — отсутствие понимания. Перед нами разворачивается драма невозможности контакта, разрушенной коммуникации: «И оттого, что люди не понимают друг друга, они друг другу не верят». А «Ленинград — город большой, здесь можно не встречаться годами». Эта повесть, как и рассказы в книге, — о женских судьбах, в которых за каждодневностью порою скрыты настоящие драмы. Женщины из рассказов и сами иногда вносят в свою жизнь разрушение: героиня «*Немых звонков*», например, пытается зачеркнуть прежнюю свою жизнь с любимым человеком. Но и свое понимание, продиктованное обидой и болью, оказывается неверным и может привести к новой, еще более глубокой драме. В рассказе «*Бронзовый бык*» отозвалась испанская тема: молодая продавщица Люба — дочь испанки, привезенной в 1936 году в числе испанских детей в Ленинград. Это рассказ об обретении, укреплении человеческих связей, о доброте и сострадании. Писательница рассказывает об интереснейшей, сложной жизни детей разных возрастов, о разочарованиях и победах, о постепенном открывании и освоении мира: «Смотреть на них никогда не надоедает. И писать о них тоже» («*Израиль и окрестности*»). Она демонстрирует умение переселяться в разные возрасты, осознавать и ощущать мир глазами детей. Зернова видит в каждом прежде всего человеческую личность, и в детях также. Четырехлетняя Женя по-своему, по-детски, осознает и отстаивает свое человеческое достоинство («*Помидора*»), а Женя-школьница из рассказа «*Секрет*» не понимает, почему, узнав, что она написала роман, взрослые над ней смеются. Автор передает большую внутреннюю работу, происходящую в маленьком человеке при виде злобы и несправедливости во взрослом мире, рассказывает о чувствах, которые двенадцатилетний мальчик еще не в силах облечь в слова («*Сильва*»). Детям посвящен рассказ «*Длинное, длинное лето*», давший название небольшой книге в 1967 году. Наблюдая день за днем группу детсада на даче, автор постепенно, из скупых деталей воссоздает и раскрывает характеры детей, рассказывает об отношениях с ними взрослых. Дети ждали от взрослых выполнения обещаний, но «...мы не были добрыми великанами. Мы были обыкновенными великанами, могущественными, но равнодушными. Они-то [дети] много для нас сделали, сами того не зная...» («*Длинное, длинное лето*»).

«*Рассказы про Антона*» (1968), написанные для детей и взрослых, тоже появились в результате живых наблюдений.

Дети, молодые люди интересны писательнице тем, что они в процессе формирования; тем, как складывается характер, личность, как жизнь вносит свои «коррективы».

Есть у Зерновой и детективные сюжеты: «*Дело о телефонных звонках*», «*Солнечная сторона*», «*Исцеление*». Детектив психологичен. В повести



«Исцеление» детективная линия входит постепенно и строится не только как некая житейская история, но имеет и явную литературную подоплеку — «Преступление и наказание» Достоевского: мучимый совестью преступник (как выясняется, мнимый), женщина, которой он доверился, умный следователь вызывают явные ассоциации с Раскольниковым, Соней, Порфирием Петровичем, и даже маляры появляются в нужное время и в нужном месте. Автор этот эффект не скрывает. Роман Достоевского обсуждают сами персонажи и находят в нем ответы на свои нелегкие вопросы, роман даже подсказывает им верное решение (сделать признание). Аллюзии с романом Достоевского отчасти ироничны, как литературная игра.

В 70-х годах критики называли Зернову мастером психологического рассказа. Ее персонажи, как в вечно продолжающемся спектакле — под названием жизнь, если угодно, — меняются местами, переходят из одной плоскости в другую, из главных становятся эпизодическими, — словно проигрываются разные роли, прикидываются разные варианты сюжета.. И в этом, конечно, многообразие жизни, которая словно поворачивается разными гранями — не нужно искать яркое и необычайное, оно вот тут же. Будто рассказывается об одной большой семье.

В 1960—1970-х годах Зернова сотрудничала в журнале «Юность», ее произведения публиковались в «Новом мире», «Звезде», «Огоньке»; она руководила семинаром молодых авторов при Союзе писателей.

## Свобода!

«Женские рассказы» — так назван первый бесцензурный сборник Руфи Зерновой, вышедший в 1981 году в издательстве «Эрмитаж» (США). Писательница объяснила, что «женской» она считает «литературу, создаваемую женщинами о женщинах». Для нее суть этого понятия в словах Б.М. Эйхенбаума, сказанных на вечере Ахматовой в 1946 году: «Женщине дано сохранить и донести память, осуществить связь поколений». Подтверждение тому обнаружилось в спонтанном, продиктованном внутренней потребностью явлении, о котором Зернова писала так: «В середине пятидесятых годов множество немолодых женщин взялось за перо. Они исполняли свою задачу — не дать умереть, воскресить, сохранить, передать. Писали воспоминания о лагерях — их было больше всего. Писали и просто воспоминания. <...> Но в большинстве случаев эти воспоминания писались без всякой надежды, без всякого расчета на печать — для детей, для друзей, для сочувствующих. <...> В этих воспоминаниях и рассказах был быт — казалось, что в них это главное. Но сквозь быт проступало другое: женский душевный опыт. И, на основании этого опыта, попытка

найти истинную, может быть, религиозную меру вещей; опять-таки — сохранить и передать.

И свою неоспоримую роль это, как говорится, сыграло. Наше время показало, что, несмотря на равноправие (кто более, кто менее равен — вопрос другой), женский душевный опыт своеобразен. И потому женская литература тоже имеет своеобразие, которого не стоит стыдиться» («*Женские рассказы*»).

Большая часть произведений Зерновой посвящена женским судьбам и прекрасно демонстрирует всю уникальность такого женского дискурса. Но критики порой с писательницей не соглашались и называют ее произведения «не женской прозой». Так назвал свою статью Михаил Копелевич, который пишет, что женский душевный опыт у Зерновой «претворен в жесткое, скупое, бесслезное мужское слово» (*Вести*, 18.05.1998, с. 10). Совершенно справедливо высказывание о ее творчестве Барбары Хелд: «Зернова, кажется, осознает тот факт, что, когда она пишет о себе как о женщине, она пишет о России» (Barbara Held. *Terrible Perfection. Women and Russian Literature*, p. 152). Позднее качества прозы Руфи Зерновой проявились как бы в иной модификации — в распахнувшемся «нормальном» мире необыкновенными предстали человеку с опытом советской жизни самые простые и естественные вещи — парк в Орегоне, например, в котором сажали рододендроны, устраивали его для красоты, — в то время как в Советском Союзе «сажали» людей. Такая одновременность событий в разных уголках мира занимает писательницу.

«Мне всегда ужасно хотелось знать, что делала моя ровесница, моя единоплеменница, похожая чем-то на меня, в тот январский день сорок девятого года (то есть в день ее ареста. — В.Б.) в городе Нью-Йорке» («*Элизабет Арден*»).

В Израиле вышли книги «*Это было при нас*» (1988, включает в основном публицистику и эссеистику); «*Израиль и окрестности*» (1990, сборник прозы); «*Длинные тени*» (1995) — книга во многом о самосознании интеллигенции, его становлении и истоках, — и уже упоминавшаяся «*На море и обратно*» (1998). В 1991 году в США вышла вторая книга рассказов Зерновой в английских переводах.

В рассказах, созданных в Израиле, Америке, Европе, — широта открывшегося (и открываемого) мира, его многоголосие, многообразие, интересные персонажи. С одесскими воспоминаниями связан рассказ «*Шелковые чулки*», а также «*Все обеты*» — об уникальном голосе, о канторском пении. В эссе «*Наши дороги домой*» писательница обращается к воспоминаниям о борьбе с «космополитизмом» в СССР, делится раздумьями о евреях в русской (и не только) культуре. С переездом в Израиль, естественно, появляются новые темы, новые герои. В Израиле, как кажется, все мы постигаем не только новую жизнь, новый поворот судьбы, но

и — себя. Некоторые израильские рассказы Зерновой как бы подносят зеркало — посмотри на себя! При всей камерности ее проза незаметно, подспудно обобщает.

Попадая в Иерусалим, прежде всего выходишь на простор. Нет, сначала поднимаешься, и вот тут, с высоты — ибо это горы и небо над ними — и открывается простор:

«...Я рассказываю про холмы, про нестерпимый свет, про некий оптический феномен. Когда смотришь на эти холмы, то все приближается — в пространстве, во времени, в реальности» («Попутчики»).

Воспоминания об одесской семье соединяются у писательницы с раздумьями о своей еврейской судьбе и о предназначении своего народа, об извечной еврейской причастности к судьбам мира. Это один из лейтмотивов всего ее творчества, живой продолжающийся разговор, в котором звучат разные голоса, мнения, реплики — как в рассказах «Попутчики», «Наши дороги домой».

В воспоминаниях об одесском — рассказ о новоеврейской семье, уходящей от местечкового прошлого в русскую культуру. С прошлым связывали только дед и бабка, казавшиеся немного странноватыми «эмансипированной» девочке, которая тем не менее бережно сохранила и увековечила их мудрый и красивый облик, с душевной теплотой описав их внешность, дом, разговоры. Раздумья о своих корнях обостряются в послевоенные годы.

«Как бы то ни было, мы в ту пору от унижительного сознания национальной неполноценности были свободны. И совершенно не задумывались об ассимиляции — нужна она, не нужна... Ее приняли наши родители, а мы... для нас и вопрос этот не стоял. Язык наших мыслей и чувств был русский.

Теперь я понимаю, что, говоря “мы”, я говорю о сравнительно небольшой части юной ассимилированной интеллигенции. К 36-му году исход из черты оседлости практически закончился...» («Наши дороги домой»).

А далее о местечках:

«И там выростали люди, не знавшие русского языка. Говорившие только на идише... Я узнала об этом недавно, и меня это поразило... В ту, предвоенную пору мы о таких еврейских заповедниках не слышали. Если бы услышали — у нас бы не возникло никакого восхищения. Мы были... А, собственно говоря, кем мы были? Евреями, воспитанными на Пушкине? Евреями по названию — без религии, без обрядов, без языка? Евреями, принявшими культуру за религию? Усвоившими культуру вместо религии? Словом, как у поэта Пригова: “Пушкин, Пушкин, помоги!”»

И еще несколько выдержек:

«Растворялись, сливались, готовились служить верно и нелицеприятно — при чем тут еврейство, мы воспитаны на Пушкине, мы прошли такие годы вместе, мы вместе дрожали в наших коммунальных квартирах, мы вместе валили лес в тайге, мы вместе... <...>



**Р.А. в Союзе писателей. 50-е гг.**

А в пятидесятые годы — о, какой был разгул понимания. Теперь, когда они сами сказали, что больше это повториться не может! Теперь, когда все началось-то с дела врачей — весь откат! Теперь, когда Никита во всеуслышание произнес...

Нас ведь позвали, позвали обратно! В университеты, в научно-исследовательские институты, в литературу! И мы пошли, не помня зла, воздавать за благо, не пошли — кинулись, и не только за твердой зарплатой, но и потому, что можно стало — отдавать! Мы как все!»

Вот история духовного становления части российского еврейства — анализ его, краткий и точный, объясняющий очень многое и в прошлом, и в будущем. А дети этого поколения «в отличие от родителей,.. с самого детства знали, что евреем быть нехорошо. Знали евреи, знали и не-евреи».

Одна из центральных мыслей в этом продолжающемся разговоре — в том, что строгое следование традиционному укладу представляется автору неким замыканием в своем, узком, а стремление выйти из него в широкий мир иных культур — закономерным.

«Евреи тысячи лет вкладывали все, что могли, в цивилизацию и культуру тех, кто давал им приют. Кончалось это всегда одинаково: их изгоняли. В лучшем случае, конечно. И все-таки что-то они всегда уносили с собой. Не материальные сокровища. Память. Добрую и недобрую. Они никогда ничего не забывали. Среди других народов они были и учителями, и учениками — иначе не бывает.

Расставаться необходимо, чего там. Наш срок там кончился — одни почувствовали это раньше, другие позже» (*«Наши дороги домой»*).

В произведениях Зерновой 1990-х годов часто трудно выделить главную тему — для их композиции характерен переход («перетекание») от одного предмета к другому, говорится обо всем, что волнует, это голос современницы. При всех различиях произведения эти объединяет общая структурно-стилевая линия: это беседа с читателем, сближающаяся с непринужденной разговорной речью, и — как следствие — характерная для такого повествования искренность и исповедальность, интонация раздумья, желание осмыслить глубинное значение событий и встреч, необычных переплетений судеб и истории — словом, философичность. Это и создает некий контрапункт ее прозы, естественно организующий все книги в нескончаемый разговор с читателем.

## Заманчивая судьба

Как и многие ее сверстницы, Рунечка Зевина еще в детстве мечтала быть писательницей и в десять лет даже сочинила продолжение «Героя нашего времени», которому приделала благополучный конец: Печорин не стрелялся, а женился на княжне Мэри.

Чем старше становилась девочка, тем острее чувствовала она разрыв между официально-школьной идеологией и тем духовным богатством, каким веяло на нее из русской литературы ее классической поры. Два кумира остались на всю жизнь в ее сознании — Лермонтов и Толстой; Пушкина она не любила, к Достоевскому относилась с осторожностью, а к Чехову была равнодушна.

Я так подробно перечисляю учителей жизни будущей писательницы, чтобы стало яснее ее дальнейшее духовное развитие, под каким флагом оно совершалось. Ее подруги и единомышленницы по школе жили своей особой жизнью. Первое ее знакомство с Ниной Сигал (Жирмунской) состоялось в одной из одесских школ, шестой по счету, которые меняла Руня в восьмом классе, переходя из одной в другую, подыскивая для себя подходящую... Как когда-то масоны понимали друг друга с полуслова, так будущие подруги обменялись цитатами из Толстого и поняли друг друга. После школы обе они поступили на филологический факультет Ленинградского университета, который тогда, в 1930-х годах, как пишет Я.С. Лурье, по своему научному богатству был Афинами посреди всеобщего апокалипсиса арестов и репрессий.

Из университетских воспоминаний ей особенно нравилось рассказывать о занятиях у Владимира Яковлевича Проппа. Тогда еще Владимира Яковлевича не допускали на кафедру фольклористики, и он преподавал немецкий язык, при этом приводя многочисленные примеры из мировой литературы, в том числе и из любимого Руней Лермонтова. Пропп учил не только языку, прежде всего он учил мыслить и видеть за внешностью внутреннюю суть вещей. Руня с восторгом вспоминала, как он спрашивал у своих слушателей: «Почему Алена Дмитриевна позволяет Кирибеевичу ее целовать? Почему она не сразу убегает? Может быть, ей нравятся его поцелуи?»



**Р.А. Зернова и И. Серман после возвращения из лагерей. 1954 г.**

На втором курсе у Руни появилась возможность поехать в Испанию, где шла гражданская война, за ходом которой мы все, молодые, с огромным интересом следили. Год провела Руфь переводчицей у русских военных советников. Что значило в ее жизни это годичное пребывание вне границ Советского Союза? Много позже, когда началась наша совместная жизнь, она мне рассказывала о том, что для нее открылся новый, неизвестный мир — и через знакомства, и особенно через французские газеты, тогда к ним свободно поступавшие. Рассказывала она об одном дне в Париже, на обратном пути в Советский Союз, дне, который оказался днем ее рождения, а покровительствовавший ей в этот день самый страшный, как она говорила, человек — Этингон, организатор убийства Троцкого (о чем она узнала много позже). Много лет хранила Руня в себе испанские впечатления, а когда их пересказывала, то должна была о многом умалчивать.

Уже в Ленинграде, в 1947 или 1948 году, у нее появился замысел повести о ее однокласснике — Додике Когане, умнице, красавце, прозванном Байроном за свою хромоту и погибшем в одесском гетто. Он ходил с палочкой, поэтому сторож в гетто сказал его девушке, русской, которая хотела его спасти: «Ищите палку». Казалось бы, есть сюжет, сюжет трагический, судьба молодого человека, еврея, любовь, — все, что нужно для повести, но что-то не получалось, чего-то еще не хватало для писательства — и этот сюжет был заброшен.

### Встреча Нового 1955 года

Подтолкнула Руню к литературе Фрида Вигдорова. В 1956 году появился новый журнал «Юность» с преобладанием молодежной тематики. Фри-

да, к тому времени уже признанная писательница, привела Руфь в редакцию «Юности» и сказала: «Вот будет автор!» — хотя у будущего автора не было еще никакого опыта. Есть французская поговорка: «Кую, делаешься кузнецом». И Руфь стала писать очерки для этого журнала. Она быстро освоилась с техникой писательства и когда услышала от приятельницы, режиссера Наташи Трощенко, поразивший ее рассказ-быль, то с разрешения Н. Трощенко написала свою первую вещь «Скорпионовы ягоды». Фрида отнесла его в «Новый мир», но там что-то застопорилось, и она передала рукопись в «Огонек». Поясняя: «Огонек» тогда редактировал Софронов, один из самых лютых идеологических громил. Печатал этот журнал бездарную прозу, но идеологически выдержанную. Софронову Рунин рассказ до такой степени понравился, что он не только его напечатал, но и вызвал телеграммой автора в Москву (за казенный счет), для того чтобы с ней лично познакомиться. Так на несколько лет Руня стала любимым автором «Огонька». Все, что она посылала, — печаталось, более того, она получила премию «Огонька» за лучший рассказ... Для современного читателя XXI века нет ничего удивительного в доброжелательном отношении «Огонька» к Руниным рассказам, но если вспомнить эпоху и позицию журнала, всеми силами стремившегося убить «Новый мир» Твардовского, то возникает парадоксальная ситуация: «Огонек» печатает рассказы, в которых спокойно действует общечеловеческая мораль, не прокламируемая автором, не проповедуемая персонажами, а чувствуемая мало-мальски неказакостеневшим критиком и тем более читателем.

Две большие темы требовали от автора отклика — лагерный опыт и еврейство. Руфь сделала очень робкую попытку в «Тонечке» намекнуть на лагерную жизнь и вызвала удивление и ненависть тогдашнего писательского босса в Ленинграде — Прокофьева. Еврейства осторожно коснулась в повести «Солнечная сторона», куда вошли отголоски ее одесской юности.

К середине 1970-х годов Руфь переживала пик своего литературного успеха. Об этом свидетельствовал рассказ знакомого работника Книготорга: когда обсуждались в издательстве «Советский писатель» планы на 1976 год, то Книготорг потребовал для сборника повестей и рассказов Руфи Зерновой тиража 300 000 экземпляров, исходя из заявок, полученных от региональных торгов. Утвердили тираж 30 000...

1975 год стал переломным в нашей жизни. Наша дочь Нина уехала формально в Израиль, а фактически — в Америку. Меня выгнали из Пушкинского Дома. Не буду входить в подробности. Пришлось принимать решение — уезжать или оставаться и терпеть возможную неприятность. Мы решили уезжать, хотя для Руфи Александровны это означало потерю читателя, самую тяжелую для писателя с уже сложившейся репутацией.

Жизнь в Израиле наладилась довольно быстро для меня и с некоторым замедлением для Руфи. Надо было менять тематику, и то, что было невоз-



можно в Советском Союзе, стало здесь самой актуальной темой — лагерь, все, с ним связанное, и все, что ему предшествовало. Ее первая новая книга — «Женские рассказы» — вышла в Америке, в издательстве Игоря Ефимова «Эрмитаж».

После 1980 года меня стали приглашать в качестве профессора-гостя в европейские и американские университеты. Руфь Александровна всегда ездила со мной, английский язык она знала уже хорошо, не говоря о приобретенных еще в детстве французском и немецком, а позднее и итальянском. Шутя она любила говорить, что знает семь языков — французский, испанский, немецкий, английский, итальянский, — и для семерки прибавляла русский и украинский...

В свободном мире ее талант получил такой конгломерат впечатлений, что можно было тревожиться только из-за их избытка. Помогли два неравноценных, но существенных обстоятельства. В 1968 году, еще до нашего отъезда, Руне повезло — она попала в писательскую группу, получившую путевку во Францию, в Париж. Никто в группе, кроме Рунечки, французского не знал, и потому она могла почти свободно общаться со своими французскими друзьями, убегая от казенного гида. А поговорить им было о чем — во Франции только что закончились известные майские студенческие беспорядки, о которых советская печать хранила глухое молчание... Другое обстоятельство стало сказываться уже в Израиле, с его сложным переплетением религиозных и национальных идей. Руфь Александровна начала упорно учить иврит и добилась некоторых в нем успехов. Но сознание того, что Израиль — это наш дом, пришло к ней не сразу. Слишком многое в себе надо было преодолеть, и прежде всего свою неприязнь к местечковости, к идишу, на котором говорила ее бабушка, неприязнь, вернее, непонимание той части Израиля, которая диктует правила жизни и запрещает общественный транспорт по субботам... Надо было порвать со всем, что связывало нас с Россией, с тем, что было так дорого, — с ее природой, ее людьми, а главное — ее языком, русским языком, тем главным сокровищем, которое наряду с норковой шубкой и гэдэеровской мебелью было вывезено нами из России. Зато появилась почти безграничная возможность видеть мир от океана до океана, разнообразие европейских и американских психологических пейзажей — все это давало работу ее неустанной мысли.

Постепенно писательница нашла для себя объяснение места и судьбы еврейства в истории вообще и в своей личной судьбе. Особую роль сыграла в этом деле еврейского самоопределения наша длительная поездка в 1981 году по Испании, в последовательности, противоположной обычным туристическим маршрутам: с севера, от Бургоса, далее через Леон, Саламанку, Мадрид, где мы задержались, а затем Кордова, Севилья, Гренада, Барселона и возвращение в Париж. В этом перечне нет То-

ледо. Не потому, что мы в нем не были. Мы его осмотрели очень внимательно, и я заметил, что на Руфь Александровну именно этот город как памятник еврейской культуры и еврейского искусства произвел неизгладимое впечатление. Потом, по возвращении в Израиль, она стала читать книги об изгнании евреев из Испании и о том, что Испания Франко была единственной страной на континенте Европы, которая предоставила убежище евреям, бежавшим от нацистского варварства, единственной не запятнавшей себя соучастием в уничтожении евреев. Вот почему запятнанная предательством евреев Европа сегодня так старательно поддерживает арабов.

Не претендуя на историософское величие и непререкаемый авторитет, Руфь Александровна для себя поняла исторические судьбы еврейства в масштабе земного шара:

«Евреи тысячу лет, — писала она, — вкладывали все, что могли, в цивилизацию и культуру тех, кто давал им приют. Кончалось это всегда одинаково. Их изгоняли. В лучшем случае, конечно. И все-таки что-то они всегда уносили с собой. Не материальные сокровища. Память. Добрую и недобрую. Они никогда ничего не забывали. Среди других народов они были и учителями, и учениками — иначе не бывает. Расставаться необходимо, чего там. Наш срок там кончился — одни почувствовали это раньше, другие позже. Но лучше бы расставаться по-благородному, “без перечня взаимных обид” на коммунальной кухне».

Вот это исторически вынужденное расставание с Россией не уходит из сердца, из сознания писательницы: «Россию жалко! И не потому, что мы не можем унести ее на подошвах сапог. Она в нас, так же как Испания — в сефардах, Персия — в выходцах и Бухары, Польша и Германия — в ашкеназах. Она в нас. <...> Бег. Бег. Бег в лабиринте. Бег по виткам, по восьмеркам истории. Обратно — к нашему дому, между Средиземным и Красным морем. Теперь мы тут. В Израиле. Дом».

Это глубоко прочувствованное сознание своего дома проявилось внешне очень скупое: она стала читать молитву в пятницу и поститься в Судный день. В синагогу она не ходила, так как не одобряла отделения женщин от мужчин...

Приобретенная почва под ногами — Израиль как дом, как наконец найденное убежище от исторических катастроф — необыкновенно расширила ее писательский взгляд. Если до отъезда в Израиль действие ее рассказов и повестей не выходило, кроме Испании, за границы Советского Союза, то с выходом в свободный мир появились другие масштабы и удивительные сопоставления.

Остановлюсь на небольшом рассказе со скромным и отчасти ироническим названием — «Нашли время». Начинается он с идиллического описания красот сада рододендронов в городе Юджине (штат Орегон), на

самом дальнем западе Америки, недалеко от Тихого океана. И вдруг автор вспоминает, что на другом берегу океана «четыре десятилетия назад» (в 1952 году) шла корейская война. И дальше идиллическое описание красот рододендронов сменяется у автора библейски строгим сопоставлением двух миров:

«Четыре десятилетия назад главный враг была Америка. Четыре десятилетия назад в Советском Союзе был порядок. Каждый год в апреле снижали цены. Каждый год первого мая ликующие демонстрации текли на главные площади городов. Каждый год девятого мая отмечался День победы <...>. Каждый год в июле в газетах начиналась уборочная кампания. Каждый год в ноябре кончалась навигация на Колыму <...>. В ту пору, а точнее, в 1951 году в ГУЛАГе тоже наступал настоящий порядок. Все было отрегулировано, все работало как часы, все было разграфлено, как нотная тетрадь».

Торжественный тон восхваления советского порядка сменяется иронической критикой Америки: «В Америке порядка не было — мы знали это из советских газет. Там не было планового хозяйства, там свирепствовал суд Линча и тюрьмы ломались от тех, кто боролся за мир, там шла «охота за ведьмами». К этому описанию американских беспорядков не могу не прибавить с интересом прочитанное в 1952 году сообщение в газете «Правда» о том, что американские заключенные протестуют — им дают остывший кофе и черствые булочки...» И тут следует неожиданный, но прочувствованный до самой глубины сердца автора вывод: «Я не знаю, когда возникло общество любителей рододендронов, или как там оно называется. Я знаю зато: это делалось для нас, для тех, кого в том году перегоняли из Западной Сибири в Уссурийский край и на Колыму. Поближе к этим оregonовским местам, хотя мы этого и не знали. Земля круглая, но мы тогда еще в этом не убедились. Чтобы в этом убедиться, надо пройти весь круг. Вольно или невольно». Заканчивается рассказ афоризмом-приговором: «Пока мы забывали прошлое и убивали ради будущего, другие люди находили время. Мы его теряли, а они находили».

То, что надо было хранить в себе и не высказывать в Советском Союзе, стало вполне доступным материалом для писателя. Я не имею в виду лагерную тему — с ней все понятно. Но и тут писательница не сосредоточилась лишь на ужасах и скорбях лагерных порядков. Она увидела в лагерной системе определенный образ жизни и рассказала о нем, заставив себя почти не касаться отнятых у нее детей. Видимо, это слишком болело и потому разрешилось только одним рассказом — «Ах, Самара-городок...».

Как и у ее любимца — Лермонтова, которого еще в детстве она старалась дополнить, ее героями стали таланты или художественные натуры, такие как Наташа Гуковская в рассказе «Гликоль». Свободный мир дал

писательнице свободу взглядов, свободу и смелость в решении судеб своих персонажей. Счастливыцы они или неудачники, каждый из них выбирает свою судьбу сам, без чужого указания. «Нашли время», о котором я так подробно говорю, кажется стал почти демонстрацией основного свойства Руфи Александровны Зерновой как человека и как автора. Это довольно редкое, хотя и соблазнительное свойство — быть не просто человеком своей судьбы и своего выбора, а сознательное ощущение человека в истории, не как ее двигателя, не жертвы, не свидетеля, а сознательно-го ее, истории, участника в меру своих сил и возможностей. Человек в рассказах Руфи Зерновой всегда живет в истории, где бы он в данный момент ни находился на берегу Тихого океана или в вятской глубинке, в экспрессе «Париж — Марсель» или на барнаульской пересылке. Не побоюсь сказать, что такого разнообразия мест и стран, персонажей и судеб вы не найдете ни у кого из писателей, ее современников. И в этом еще не оцененное качество ее таланта.

Была ли Руфь Зернова женской писательницей? В первой книге, изданной в 1980 году в Америке, она полемизировала с Лидией Корнеевной Чуковской, отрицавшей наличие женской прозы, и утверждала, что женские рассказы о женщинах — это и есть женская проза. Сама она далеко вышла за пределы женского мира с его тайнами и секретами. На равных правах с женщинами в ее рассказах живут и действуют мужчины, о которых мой сын Марк как-то сказал, что есть два пола — прекрасный и слабый, — имея в виду мужчин... Не разделяя этого мнения, Руфь Александровна была верна своему убеждению, что человек, женщина или мужчина, сознает он это или нет, живет в истории и движется вместе с нею в неведомые и неповторяющиеся пропасти.

Писательство, так удачно начавшееся в оттепель, надо было продолжать и в эпоху застоя, когда самый слабый намек на лагерную тему тут же пресекался. И Руфь Зернова ушла в мир чувств. Как приветствовали ее и некоторые пронизательные критики, и братья Стругацкие, с которыми мы встречались в Комарове, в Доме творчества писателей! Они очень одобряли те ее вещи, где заявлял о себе секс — а его, как мы знаем, в Советском Союзе не было...

Переезд в Израиль означал, как я уже писал, и полную свободу творчества, и одновременно потерю читателя, завоеванного честным писательским трудом. Нужно было найти новый путь к сердцам читателей, и он был найден — каждая человеческая судьба, может быть, самая скромная, даже как будто судьба неудачника («Мой первый жених»), излагалась как воздействие неких исторических сил, непостижимых, но неотразимых.

Особое внимание писательницы привлекали судьбы художников или художественных натур, почему-либо не сумевших реализовать себя и свой талант. Таков Сережа Чертков, из-за своей внешности не подошедший

Малому театру, или Лена, поэт, так и не сказавший своего слова. Неудачники или победители в борениях с судьбой — все герои у писательницы живут и мыслят так же или почти так же напряженно, как у ее кумира — Лермонтова.

Не могу не сказать о том, что она ненавидела очень популярного в 1960-х годах в Советском Союзе Хемингуэя, и не столько за его антисемитизм в «Фиесте», сколько за нежелание выговориться, за теорию «айсберга», который глубоко спрятан, а на волю выпускается только немного ничего не значащих слов. Она хотела не пустых разглагольствований, а свободного и точного слова, иногда очень краткого. Так, рассказ «Гликоль» о судьбе собаки, умершей от тоски по своему долго отсутствовавшему хозяину (арест!), кончается как бы надгробной надписью — «Только собаки больше не заводил».

Лишь в конце жизни Руфь Александровна стала писать нечто вроде мемуаров, но они оказались в основном о родителях, о няне, о младшей сестре Ляле, а о себе — как о жертве одесских холодов и скудного пайка. Этому умолчанию о себе есть простое, но любопытное объяснение: не сочиняя мемуаров по известным в литературе образцам, писательница проникла почти во все свои рассказы — она была то наблюдательницей, то участницей происшествия, то собеседницей героя или героини. Она присутствует всюду, как рассказчик в «Записках охотника», но более деятельно, заинтересованно, активно. Так, в рассказе советского периода «Длинное-длинное лето» она выступает не только как наблюдатель жизни соседского детского сада, но сама является виновницей той душевной травмы, которую нанесла этим детям, и не может этого забыть. Чужое несчастье или чужая обида всегда у нее получают отклик, и не только в виде сострадания, но и в невольном сознании собственной вины. Так, после смерти Сталина, когда весь женский лагерь, не исключая и рассказчицы, плачет от страха перед непонятым будущим, она не может объяснить одной из своих товарок, что значит смерть тирана, не может, не находит нужных слов и поэтому чувствует свою невольную вину.

Чуткая поверенная чужих судеб или к ним случайно причастная, писательница создает свой образ женщины, образ замечательного обаяния и привлекательности, в котором живут вместе, не мешая друг другу, и острое чувство надвигающейся исторической волны, и внимательное сочувствие к чужой беде или бедности («Шелковые чулки»).

Как пример ее чуткости к грядущим катастрофам, я всегда приводил ее рассказ о том, как после визита Риббентропа в Москву, 23 августа 1939 года, на вопрос одного из самых образованных ее однокурсников, «испанца» (то есть переводчика на войне) Лели Кревера «Что ты об этом думаешь?» юная Руфь, не задумываясь, ответила: «Будет четвертый раздел Польши!» Пораженный таким неожиданным ответом, Кревер не нашелся что сказать и в сердцах выпалил: «Ты дура!»



**Р. Зернова и И. Серман в штате Нью-Йорк. Фото М. Сермана**

К своему читателю Руфь Александровна относилась без всяких скидок. У нее возник как-то спор с Довлатовым. «Руфь Александровна, — сказал он, — вот у вас в статье о Вигдоровой говорится: “Вокруг нее, где бы она ни жила, возникало Телемское аббатство...” Почему вы не объясняете, что такое “Телемское аббатство”?

— А зачем я буду объяснять?

— Так люди же не знают!

— Так пусть спросят у тех, кто знает!

— По шотландскому анекдоту. Висит объявление: “Кузница в третьем доме от угла”. — А если человек неграмотный, как он узнает? — Пусть спросит у грамотного!

— Правильно, пусть спросит у грамотного. Литература должна развиваться!»

Читая любой ее рассказ, мы знакомимся с автором, который не меряет своих персонажей какой-то особенной меркой, она всегда видит в человеке — человека, даже в спившемся капитане Колядко, который никак не мог пережить смерти Сталина и последующих перемен. Руфь Александровна Зернова как автор, как писательница присутствует во всех своих вещах и весело и откровенно говорит о себе, но, прежде всего, ее рассказы — о других людях, как бы она к ним ни относилась, даже в рассказе «Ведьмы», полусерьезном и полусмешном. И вся пестрота, географическая и историческая, ею написанного говорит об одном — о человеке.

Писательница прожила большую, сложную жизнь, на ее хрупкие женские плечи выпали огромные испытания, но она никогда не падала духом и покоряла всех силой своего характера, доброжелательностью, открытостью, пронизательностью и остротой понимания самой сложной ситуации, и это, в сочетании с женственностью, изяществом и музыкальностью, делало ее совершенно неотразимой. В начале войны, в Севастополе, моряки называли ее по-своему — Хрюпкой, наверное, потому, что она казалась им особенно изящной и хрупкой на фоне рослых обветренных мужчин...

Судьба, или, выражаясь высокопарно, история, дала ей возможность участвовать в гражданской войне в Испании и быть участницей отступления республиканцев в феврале 1939 года. Летом 1941 года, в Харькове, она ведала пропусками на эвакуацию, что означало спасение или, в случае неполучения, — гибель. Она пережила в 1948 году постепенное ожесточение антисемитской травли, закончившееся для нее арестом и разлукой с детьми на несколько лет.

Дочке и сыну, от которых ее насильно оторвали, было, соответственно, четыре года и два. Что могла думать и чувствовать молодая мать, оторванная от детей на гигантский, как тогда казалось, срок — десять лет?! В своем позднем рассказе «Ах, Самара-городок...» она так пишет об этом: «...вспоминать нельзя!!! <...> я не запрещала себе помнить — это совсем не то, что вспоминать. Помнишь — и помнишь, куда этот груз денется. Лежит себе на дне балластом и лежит. Но вспоминать... <...> Слово “помнить” отдает вечностью, “вспомнить” — жизненной суетой. А “вспоминать”? <...> но было табу. СТРОЖАЙШЕЕ табу. Дети».

Здесь я не могу удержаться, чтобы не сказать, что не могу вспоминать без отвращения проклятую советскую систему; правда, это уже холодное, вероятно, охлажденное временем отвращение. Но за жену, за варварское

отношение к молодой матери, пережившей все трудности первых лет и уже начинавшей получать первые радости от подраставших детей, за неумолимую жестокость приговора, где дети даже не были упомянуты, как будто бы их и не было, — за это я не могу преодолеть всей силы ненависти к этой системе, которая, кажется, воскресает сегодня вновь... Прошу прощения за невольное отступление.

*Иерусалим,  
Израиль*



*Е.А. Марголина*

## **Мы, одесские девочки \***

Мы с Руней родились и выросли на тихой и тенистой Кузнечной улице в Одессе. Недалеко от нас располагались Провиантская, Дегтярная и Каретный переулок — это был старый район, от которого до Дерibasовской пять минут ходу.

Рунин дом был новее других, угловой, красивый. Квартира в высоком бельэтаже, высокая дверь в подъезде, несколько ступенек, передняя и большая, квадратная, с блестящим паркетом столовая. Много книг в шкафах. Направо гостиная с пятью окнами, одно угловое. Мягкий ковер, диваны, пианино.

Отец Руни был молчалив (во всяком случае, с нами, детьми), я относилась к нему с большим уважением, потому что слышала от моего папы, служившего вместе с ним, самые лестные отзывы об уме и благородстве Александра Борисовича.

Мать Руни, Татьяну Марковну, в детстве я знала мало, но много лет спустя, когда она одна жила в жуткой коммунальной квартире в доме цирка и работала учительницей младших классов, я поняла, что она была умным и гордым человеком.

Руня была не похожа на девочек, которых я знала. Речь ее была полна слов и образов не обыденных, а книжных. Мы читали книги из «Золотой библиотеки», классиков, но она помнила и цитировала лучше, чем я, то есть, несмотря на то что она была старше меня всего лишь на три дня, по развитию она меня во многом превосходила.

В школы мы пошли разные. Она — в ближайшую, в конце нашего квартала. Я — подальше, в здании бывшего училища г-жи Шпенцер, матери Веры Инбер.

Школьные годы Руни были пестрыми. Она переходила из школы в школу, мы виделись редко. Я не знаю, почему она переходила, думаю, что учителя не принимали ученицу, такую непохожую на других, у которой уже в то время было собственное суждение о жизни. В девятом классе Руня

---

\* Так назывался задуманный, но не написанный рассказ Руфи Александровны. (От составителей.)



**Р.А. (стоит), директор школы (в центре) и друзья-десятиклассники**

перешла в нашу школу. За то время, которое мы мало встречались, отца ее арестовали, судили и отправили в ссылку. Мать часто ездила к мужу, оставляя детей с няней Наташей. Семья жила впроголодь. Знаю об этом, потому что мой папа, работавший в пищевом предприятии, как мог помогал им продуктами.

Когда Руня пришла в наш класс, семья уже была вместе. С ее приходом уроки русской литературы оживились. Сухой и монотонный голос нашей учительницы стал звучать реже, а эмоциональное, живое, полное оригинальных высказываний Рунино участие делало разбор произведений интересным. От нее я узнала о существовании критической литературы, о поэтах и писателях, ранее мне неизвестных. Учителя относились к ней с некоторым недоверием: гуманитарии любили, математик — самый уважаемый нами учитель — поняв, что новая ученица не в ладах с его предметом, тем не менее смотрел на нее благосклонно. Откровенное противостояние было с физикой, химией и учительницей географии, очень они обе были авторитарны.

У Руни был отличный слух, она играла на пианино модные тогда фокстроты и танго и пела под них. Часто группы ребят вечером, после школы, появлялись, насвистывая «Рио-Риту» — они избрали этот фокстрот своим

гимном. Руня открывала дверь, все входили в гостиную, хозяйка за роялем, гости танцуют..

Большая часть одноклассников относилась к Руне хорошо: она была хороший товарищ, с ней было интересно. У нее было множество друзей вне школы, с которыми она проводила много времени. Для занятий же времени оставалось мало. Но, видимо, мысли о будущем сидели в ней глубоко. Помню, как теплым августовским вечером мы бродили по близлежащим улицам и она очень решительно и твердо говорила об отъезде из Одессы и поступлении в ЛИФЛИ. К тому времени она сблизилась с Ниной Сигал-Жирмунской — замечательной нашей соученицей, собиравшейся в тот же университет. Для поступления нужно было иметь аттестат без троек. А как быть с математикой, физикой и химией? В тот вечер мы приняли решение: занять первую парту перед учительским столом и отбросить всяческие отвлечения. Все это мы сделали, и в результате у Руни в аттестате были только 4 и 5. На второй день после выпускного вечера она уже сидела за столом у того знаменитого углового окна, обложенная книгами, заметками, программами, и читала, читала, не разгибая спины. Вот тут хочу заметить, что появились черты новой Руни: настойчивость, организованность, умение доводить дело до конца и добиваться цели. Все это делает человека творцом.

После Руниного отъезда в Ленинград мы виделись периодически. Расскажу о нескольких встречах. В 37-м году — ее отъезд в Испанию, и в 38-м — известие о возвращении. Все мы, друзья, знали, что Александр Борисович поехал встречать Руню на станцию Раздельная (два часа от Одессы). Вечером я отправилась в дом напротив — передо мной стояла новая Руня: за день в Париже она преобразилась. Веснушки сведены, бровям придана красивая форма, волосы красиво уложены, хорошенькая шляпка, пальто черное с невиданной ранее чернобуркой, особенного покроя. Перед нами незнакомая изящная дама..

Другая встреча. Рим, наш первый визит в ХИАС. У входа группа людей, и нас обнимают... Руня и Илья! Они в Риме по приглашению. Две недели прогулок, посещений музеев, день на Форуме. Руня и Илья сумели оживить и наполнить содержанием окружавшие нас руины. У них я научилась заранее узнавать о самом важном в музеях, полюбила художников, которых раньше не знала. При всей взвешенности моего состояния без дома и страны эти две недели были вершиной моей жизни.

В Америке мы виделись чаще, чем в России. Руня приезжала к нам в Бостон много раз, я дважды провела летние каникулы у них: в Катскильских горах и в Вашингтоне. Мы вместе ходили в музеи и опять интересно обсуждали то, что видели.

Я читала ее книги и статьи, находила в них много об Одессе, о друзьях и любила получать от нее новые издания. Я узнала ее внучек — умную,

## МЫ, ОДЕССКИЕ ДЕВОЧКИ

---

серьезную, добрую Сашу и застенчивую, скромную, прекрасную Лизу. Я полюбила ее сына Марика и невестку Наташу, и они давно стали для меня родными.

Вот такими оказались 80 лет, прошедшие с того памятного дня, когда мы впервые узнавали друг друга, сидя на скамеечке у самой мостовой нашей родной Кузнечной.

*Бостон,  
США*

*Нина Королева*

## **Руфь Александровна, Руня Зернова...**

В 1956 году в Пушкинском Доме я познакомилась с Ильей Захаровичем Серманом. Я недавно окончила филфак университета, мне было двадцать два года, как филолог я, конечно, была абсолютно пустым местом, но мой университетский руководитель Аркадий Семенович Долинин что-то увидел в моих курсовых работах и дипломе о Герцене-писателе и дал мне рекомендацию в аспирантуру. Для университета его рекомендация в те годы (1954—1955) мало что значила, и в университетской аспирантуре меня не оставили. Профессор Долинин был крупнейшим специалистом по Достоевскому, автором замечательной монографии о книге Достоевского «Подросток» — «В творческой лаборатории Достоевского», но семинара по Достоевскому ему в университете вести не разрешили, он занимался с нами революционными демократами, Белинским, Герценом и Огаревым. Мы были последними его университетскими учениками, нас было сначала трое, потом осталась я одна. Занимался он с нами весьма своеобразно. Он хотел, чтобы мы погрузились в психологию людей XIX века, поняли их трагедии и стремления. Мои беседы с А. С. Долининым обычно начинались так: «Вот вы пишете о Наталье Александровне... А вы были у пасхальной заутрени? Нет? Но это невозможно! Вы должны...» Далее следовали рекомендации, какие службы необходимо посещать, чтобы что-то понять в психологии писателей XIX и начала XX века: «Канон Андрея Критского — обязательно!» Звучало и категорическое требование: «Прежде чем начать следующую главу — о герое, вы должны слушать Вагнера. Постичь мир Вагнера!» Для меня, комсомолки 1950-х годов, эти советы были невыполнимы: после первого же посещения церкви, даже не в Страстную неделю или пасхальную ночь, я бы вылетела из комсомола и из университета! Но каждая беседа с таким руководителем оставалась в душе как что-то глубоко истинное и заставляющее думать. Рекомендуя меня в аспирантуру, Аркадий Семенович сказал мне, что диссертацию я должна писать о стихах, лучше всего о Тютчеве. Хотя для этого мне следует уяснить, что такое нравственное и безнравственное, законное и незаконное в любви. В пример мне ставилась Елена Дрыжакова, любимая ученица Аркадия Семеновича по Педагогическому институту, основному месту работы профессора До-

лина, — ее трудолюбие, нравственная смелость, прекрасные литературоведческие статьи... Во мне пробуждалось желание сделать работы лучше, чем Лена Дрыжакова. С этим я и пришла в Пушкинский Дом Академии наук. Мне там понравилось все: мраморная лестница, картина Айвазовского «Пушкин у моря», на которую смотришь, поднимаясь по ступеням, торжественный стиль заседаний, которые вел Борис Павлович Городецкий, на которых обсуждались статьи о критиках XIX века для тома «История русской критики» и где аспирантам, в том числе и мне, предоставлялось первое слово... Впрочем, Аркадий Семенович Долинин старался охладить мои восторги и однажды сказал мне: «В этом заведении только два талантливых человека — Георгий Михайлович Фридлендер и Илья Захарович Серман. Постарайтесь общаться с ними». Позже он добавил к этому краткому списку еще Б.М. Эйхенбаума.

(Аркадий Семенович был несправедлив к Пушкинскому Дому, там было гораздо больше талантливых ученых. Но и когда меня увольняли из этого заведения за одну-единственную «несанкционированную» беседу с иностранцем, и когда изгоняли из него Илью Захаровича Сермана, дочь которого Ниночка уехала из страны по израильской визе, эти талантливые ученые не заступались за увольняемых. Может быть, потому, что понимали: заступничество не поможет, а лично им может навредить. Такое было время.)

Илья Захарович Серман в 1950-х годах только что вернулся из ссылки, только что вышло многотомное издание Белинского с его участием — с замечательным указателем, которым потом пользовались многие поколения молодых ученых для пополнения знаний о писателях всех стран и народов. Впрочем, однажды Руфь Александровна сказала, что немало статей в этом указателе написаны ею, — это был, что называется, коллективный семейный подряд... Илья Захарович языки знал плохо, а «испанистка» Руфь блестяще знала по меньшей мере три европейских языка и литературу на этих языках — испанскую, французскую, английскую. Однажды я пригласила Серманов на закрытый просмотр какого-то трофейного кинофильма в крохотном зальчике Института театра, музыки и кино, где работала после «изгнания» из Пушкинского Дома, — просмотр без субтитров и дубляжа, «для своих». Переводила молодая сотрудница, знавшая язык неважно и, уж конечно, не синхронистка. Руфь Александровна, пару раз возмущенно исправив ее перевод, решительно включилась сама и безукоризненно перевела весь фильм до конца.

Помню, как высоко она ценила профессионализм в работе переводчица. Она рассказывала о каком-то приеме великого испанского тореадора, где разговор велся сразу на нескольких языках: «Рядом с ним сидела тихая и точная, как метроном, Вероника Спасская, переводившая со всех языков на русский и с русского на все языки»... В 1966 году Руфь Алексан-

дровна написала об этом испанском госте рассказ «Бронзовый бык» — как он покупал в антикварном магазине на Невском бронзовую копию могучего быка, оригинал которого стоял возле бойни...

Здесь и далее я буду рассказывать о том, что помню, не заглядывая в книги, — поэтому могу что-то назвать неточно. Да и книг Руфи у меня осталось мало. Она надписывала их двоим, — например, на книге 1974 года «Немые звонки» — «Нине и Саше с вечной любовью. Р. 11.01.75», на книге 1988 года «Это было при нас» — «Нине и Саше, Саше и Нине, кто из вас краше, не знаю поныне. С любовью, Руня». На книге «Израиль и окрестности» 1990 года —

«Презренной прозой говоря,  
Я на исходе октября  
Дарю вам книжку — белый шум —  
Где сердце заглушает ум  
(которого тут немного).  
Саше и Нине с любовью. Р.», —

и, уезжая в Америку, Саша увез большую часть этих книг в свой новый дом.

Однажды — видимо, это было в 1957 году — Илья Захарович пригласил меня к себе домой, сказав, что хочет познакомить меня с женой, переводчицей и писательницей Руфью Александровной.

Надо сказать, что к этому времени я уже слышала о ней от моей соученицы по университету Марианны Экк, которая бывала в этой семье и на мои восторженные рассказы об Илье отвечала, что в застольной беседе Руфь Александровна совершенно забывает Илью, что она — главное лицо в этом союзе. Зная умного, вдумчивого, бережно и парадоксально рассуждающего о литературе от Ломоносова до Лермонтова и Баратынского Илью Захаровича Сермана, я относилась к этим словам с недоверием. Но — после первого же вечера, проведенного в доме на проспекте Газа, я поняла, о чем мне говорили. Руфь была потрясающей. Умной, быстрой на реакцию, остро формулирующей мысль. И еще — внимательно изучающей собеседника своими огромными круглыми горячими глазами. Она тонко улавливала юмор и смеялась всем лицом — глазами, морщинками и большим ртом с крупными негритянскими зубами. Она задавала неожиданные вопросы, ответы на которые раскрывали душу и человеческую сущность собеседника. При этом она и сама была открытой и доверчивой в разговоре, ни следа надменности, ни капли высокомерия. Но и сентиментальной доброты в ней тоже не было. Она была умна, строга, безапелляционна. Вот несколько запомнившихся мне ее фраз, определяющих сущность того или иного человека, которого я приводила к ней в дом. О молодой женщине с бурной биографией, одно время бывшей женой

известного ленинградского барда, Руфь сказала задумчиво: «Она напоминает мне лагерных коблов...» О пьяненькой поэтессе, с которой она встретила меня при выходе из союзписательского ресторана: «Кто эта блядь косая?» О редакторе издательства «Советский писатель», замечательной женщине, которая составила и провела через препоны цензуры мою первую книгу стихов: «С Марой не водитесь. Мара — сука». О писателе, которого она считала доносчиком, посадившим их и их друзей в 1949 году: «Тот, кто дружит со мной, не должен общаться с ним, иначе я не подам вам руку».

Таких «формулировок» в моей памяти — без числа. Думаю, что половина из них — несправедливы. Но они отточены, кратки и впечатаны в мое сознание. В доме Серманов любили проверять человека, задавая ему некие тестовые вопросы: «Дом? Сад? Стол? Стакан?» Ассоциативный ответ должен был раскрыть отношение человека к миру, человечеству, друзьям, любви. Помню, что моя ассоциация к последнему слову — «стакан» — была строчкой из стихотворения Александра Кушнера: «Поставь стакан на край стола и сам его спаси», что вызвало радостное изумление всего семейства. Оказалось, что эта ассоциация раскрывала мое отношение к любви, а у меня в то время только начинался роман с моим будущим вторым мужем А.С. Штейнбергом, физиком, который был младше меня на три года, и развитие этого романа очень интересовало Руфь. Она никогда не задавала в таких случаях прямых вопросов, но явно наблюдала и изучала... Однажды на «званом обеде» она расставила таблички с именами гостей так, чтобы рассадить нас подальше друг от друга, — Сашу — рядом с юной красавицей из Москвы, дочерью Фриды Вигдоровой, меня — с каким-то умным ученым-филологом, и весело наблюдала, как мы дружно сели рядом, нарушив ее далекоидущие планы. Разница в возрасте всегда очень занимала Руфь Александровну — она писала о ней во многих своих повестях: «Исцеление», «Немые звонки» и др. Упоминала о ней, рассказывая об общих знакомых, причем непременно ее преувеличивая: «Эра К. старше Толи на восемь лет!» Или: «Галя Л. ушла от мужа-художника к московскому писателю, который младше ее на десять лет! Свадьба была в “Астории”». Подобные психологические коллизии очень ее занимали и становились частью изображаемых ею литературных типов и сюжетов. Предметом наблюдений были друзья, дети друзей, а часто и собственные дети, особенно Ниночка. Тут Руфь не только судила, но и предлагала свой литературный вариант судьбы, как бы подправляя реальность. Не знаю, всегда ли нравилось это ее дочери и сыну, всегда ли они признавали право матери на вмешательство. Впрочем, в разговоре с нами она всегда отзывалась о детях положительно, уважительно, хотя (особенно о неважной учебе Марика в университете) и не восторженно.



О дочери Ниночке, которая после окончания университета работала в Петрозаводске: «Когда я хочу ее видеть, я звоню и говорю: “Приезжай”. И она отвечает: “Хорошо”. Она не спрашивает, зачем приезжать или что случилось. Так она воспитана эпохой». О «предметах» увлечений Ниночки: «Она всегда выбирает свои объекты любви под забором, и чем он несчастнее, тем сильнее она может увлечься». Я: «А нельзя ей открыть глаза?..» — «Можно. Но тогда она выберет под другим забором еще более несчастного!..»

Мне сейчас не воспроизвести хронологически историю нашего общения. Оно длилось многие годы и не закончилось в 1976 году, после отъезда Ильи Захаровича и Руфи из Ленинграда в эмиграцию. В конце 1970-х годов моя соседка по даче в Орехове читала мне письма Руфи из Иерусалима — оказалось, что они были подругами и Руфь писала ей часто в первое время после отъезда...

Знаю точно, что ни Илья, ни Руфь не хотели уезжать, но после эмиграции Ниночки его уволили из Пушкинского Дома, ее — лишили возможности печататься. В вину им ставили плохое воспитание дочери — то, что родители не помешали ей уехать, не предъявили материальных претензий, не «отреклись» от нее и не сделали еще чего-нибудь в этом роде... Лишиться работы, конечно, было горько, сбережений в доме не было, и однажды, после получения от дочери восторженного письма из Рима о том, сколько неореалистических фильмов они с мужем посмотрели в Италии, Ильей Захаровичем была произнесена фраза: «Не слишком ли дорогую цену мы платим за то, чтобы дети могли посмотреть в Италии эти фильмы?»

(Кстати, о фильмах. Никогда не забуду, как мы с Ильей Захаровичем ездили в ЦПКИО посмотреть польский фильм «Канал» в маленьком летнем кинотеатре — фильм был разрешен к показу с трудом и шел только в маленьких заштатных кинотеатрах — из-за его последней сцены: немцы уничтожают восставших в Варшаве, а в предместьях стоит готовая к броску-наступлению наша армия. Но приказа о наступлении нет, и восстание польских патриотов захлебывается в крови...)

Руфь не хотела уезжать, но ей все в мире было интересно. Интересен был Иерусалим, пейзажи которого она поначалу воспринимала как небурную строительную площадку, заваленную камнями. Она писала своей подруге об энергичной Наташе, жене Марика, ставшей в Израиле «хозяйкой гостиницы», о подрастающей внучке, легко заговорившей на иврите. Кстати, о Наташе Серман. Руфь была счастлива, когда Марик остановил свой выбор на этой девушке, татке по национальности (таты — кавказские иудеи), яркой внешне и очень неординарной по духу. Руфь говорила о ней: «Ее комната уставлена старинной мебелью красного дерева. Оказалось, что это не родовое наследство, ей просто нравилась старая мебель крас-

ного дерева, и, когда все выкидывали старье на помойку и покупали модные гарнитуры, она подбирала на помойках выброшенные вещи, приносила их домой и отчищала и реставрировала как могла.

До начала 1980-х годов, то есть до увольнения из ГИПХа, мой муж (Саша, А.С. Штейнберг) был засекречен, и мы могли узнавать об уехавших друзьях только через третьих лиц. Вообще отъезд друзей в 1970-х годах казался расставанием навсегда. После начала «перестройки» я решалась иногда звонить в другие страны, иногда — нечасто — мы переписывались, обменивались книгами. С 1985 года я жила в Москве, куда переехала вслед за мужем, А.С. Штейнбергом, с 1982 года работавшим в московской Академии наук, где он мечтал избавиться от своей гипховской засекреченности. Через пять лет секретность с него сняли, он стал выездным, начал мечтать об отъезде сначала в Израиль, на свою «историческую родину», потом в США. Я оказалась ненужной. Мой разрыв с мужем Серманы восприняли почти так же болезненно, как я сама. Илья Захарович написал прекрасную рецензию на мою отчаянно-горькую книгу стихов «Соната-осень», я послала им несколько стихотворений, посвященных Илье и Руфи. А в это время мир начал меняться, уехавшие стали приезжать в Россию — с докладами на конференции, для чтения лекций в наших университетах, даже могли брать путевки на лето в писательские дома творчества, и я была счастлива увидеть Руфь и Илью еще и еще раз — в писательском доме в Комарове, на конференции в Музее Анны Ахматовой «Фонтанный дом», куда я приезжала из Москвы с докладом, а они специально приезжали из Комарова послушать мой доклад. Эта встреча с Руфью была последней. Мы вышли из Фонтанного дома на набережную, был ослепительно солнечный вечер весенней белой ночи, город был невероятно красив, и Руфь сказала:

«Вы не думаете вернуться?»

И я ответила: «К кому?»

Наш прекрасный город был пуст, друзья, дорогие люди ее и моего поколения ушли. Многие уехали, многое изменилось. Появилось выражение: «У меня теперь другие приоритеты!» Не могу не отметить один забавный эпизод этой нашей последней встречи. Мы обедали втроем в маленьком ресторанчике на набережной Фонтанки, Илья заказал пиво, я — мороженое, Руфь — и пиво, и мороженое, несмотря на наши веселые предостережения. Когда обед закончился, я по привычке достала кошелек (в России давно уже привился «американский» стиль платить за себя в подобных случаях), но Руфь сделала большие страшные глаза и жестом приказала мне убрать деньги. Илья широким жестом европейца расплатился по счету... Да, они стали европейцами! Вспоминая и еще один смешной эпизод, более ранний. Вскоре после их отъезда, в конце 1970-х годов, мне позвонила переводчица-итальянистка Тамара Скуй, которая только что

вернулась из Италии, где в одном римском семействе встретила с гостившими у них Серманами. Она хотела рассказать мне о них и передать привезенный от них подарок. Это было уже после напечатания моего стихотворения о царской семье (1976), мой муж был засекречен, и вполне можно было предполагать прослушивание телефонов и слежку. Поэтому мы как бы случайно встретились с Тamarой у метро «Василеостровская», я «для естественности» взяла с собой собаку Шеллу, огромную ньюфаундлендку, и мы долго-долго стояли с Тamarой, и она рассказывала об их горькой встрече в Риме, о стойкости Ильи и о безудержном юморе много выпившей Руфи. Вдруг мы услышали тихонький смех за спиной, такое сдавленное хихиканье. Мгновенно прервав беседу — «слезка!» — мы обернулись и увидели, как две молоденькие продавщицы мороженого, хихикая, подвигают к морде моей собаки очередную порцию мороженого и забавляются тем, как она аккуратно берет, разворачивает во рту фольгу и заглатывает содержимое. Я отдернула собаку, закричала: «Девочки, простите, я заплачу! Сколько она съела?» Они сказали: «Десять или двенадцать, но платить не надо, это мы сами ей давали, она даже не просила, только смотрела, она вежливая!» Позже несколько дней я боялась, что у собаки будет ангина, но все обошлось.

В это время из России уезжала наша общая знакомая американка, брат которой работал в это время в Швейцарии и должен был на Рождество поехать в Израиль. Мое общение с этой американкой — тема особая, контроль за нею со стороны наших спецслужб был строжайшим и, к сожалению, распространялся и на меня... Представители спецотделов ГИПХа и Союза писателей несколько раз проводили со мной и моим мужем «воспитательные» беседы, но... но, повторяю, это тема особая. С помощью этой американки Руфь перед отъездом пересылала за границу часть своего архива. Я попросила американку через ее брата передать мой ответный подарок Серманам. Она согласилась, но попросила выбрать что-нибудь очень легкое, так как вес багажа у нее уже был на пределе. Вспомнив о мороженом и о наших встречах Нового года в доме Серманов, я выбрала очень красивого большого Деда Мороза, который ничего не весил. Через некоторое время я узнала судьбу своего подарка. Он прибыл в дом Серманов весь исколотый и изрезанный таможенниками трех стран, искавшими в этом странном создании контрабанду... Руню такой подарок не порадовал, а сам посыльный вызвал ее раздражение тем, что он плохо говорил по-русски, а читать и писать по-русски вовсе не умел. То, что этот человек родился в Германии после войны, в семье «перемещенных лиц», в ее глазах его не оправдывало. Вообще «ди-пи» — перемещенные лица — не вызывали симпатии у Руфи. Предполагаемое их сотрудничество с немцами было для нее неприемлемо: Руфь была антифашисткой и патриоткой. Ее юное участие в испанской антифашистской борьбе и интерниро-

вание во Франции после поражения коммунистов были для нее святыми воспоминаниями. Не случайно в ее рассказах и повестях то появлялись упоминания о привезенных в СССР испанских детях — детях испанских коммунистов, то героиней оказывалась дочь испанки и русского, говорящая с посетившим СССР тореадором на родном языке своей матери.

Об этом моем дурачком подарке она написала довольно резкий, обличительный рассказ — уж очень ей не понравился плохо говорящий по-русски сын «ди-пи»...

Попробую описать еще несколько эпизодов из разных времен нашего знакомства.

В 1950—1960-х годах в общении со мной Руфи Александровне были интересны не мои литературоведческие изыскания, а стихи. Я читала их каждый раз, когда бывала у них, и Руфь говорила: «Дрожит!» или «В них дрожит душа!» или «Трепещет!». Это было высшей похвалой, и неосознанно я следующее стихотворение, наверное, писала так, чтобы чувство в нем «трепетало», чтобы заслужить такую похвалу. Иногда, правда, высокую ноту поэтического настроения сбивал кто-нибудь из завсегдатаев дома — например, Е. Калмановский, которого тоже «вынуждали» слушать мои стихи и который вставлял реплики типа: «Читайте, читайте! Я люблю ваших стихов, Нина!»

Старшая дочь Серманов Ниночка любила вспоминать, как они пригласили меня на Старый Новый год. Накануне я позвонила и сказала: «Руфь Александровна, а можно я приду ввосемьмером?» Я точно не помню, действительно ли я привела к ним восемь человек, но правда, что нас было много. Это были лучшие поэты Ленинграда той поры: Александр Кушнер, Леонид Агеев, Глеб Горбовский, Виктор Соснора. Потом я приводила к ним и к Лидии Яковлевне Гинзбург художника Михаила Кулакова, снова и снова Леонида Агеева, Александра Штейнберга, который тогда еще не был моим мужем. Он не писал, но знал наизусть бесконечное количество прекрасных стихов современных ленинградских и московских поэтов. Зачем я приводила их? Я хотела подарить Руфи и Илье современность, сегодняшней день лучшей русской поэзии, чтобы Илья Захарович не оставался в XVIII и XIX веках, а Руфь Александровна не возвращалась мыслью вновь и вновь к тюремным и лагерным воспоминаниям и песням. У меня есть несколько фотографий, где мы все вместе: Илья, Руфь, Леонид Агеев, Александр Штейнберг, я... Часто на наших сборищах в доме Серманов бывали москвичи — больше других запомнились Фрида Вигдорова, Александр Борисович Раскин, их дочь Саша. Говорили о новейшей литературе, о стихах, пели песни. Пожалуй, именно песни были любимейшей частью застолий.

Солировала Руфь. Песни в исполнении Руфи Александровны обычно выстраивались ею как история страны и общества — городской романс,

дореволюционный мещанский репертуар, революция, лагерные и блатные песни, которых Руфь знала великое множество, песни военных лет, опять лагерные и блатные. Звучал ранний Окуджава, позже добавились потрясающие песни Александра Галича. Собственно, всего Галича мы узнали от Руфи, а она запоминала его великие социальные баллады после одного-двух его авторских исполнений в писательских московских домах. Как она их пела! Негромким хрипловатым голосом, донося до слушателей каждое слово! Особой нашей любовью пользовалась также песня Ахилла Левинтона «Жемчуга стакан», написанная им ко дню рождения Руфи Александровны — 15 февраля 1948 года, незадолго до их ареста. Песня пелась сначала в подлинно авторском варианте — «Стою себе на месте...», потом — в народных переделках и дополнениях: «Стою себе на Невском...», «Советская малина собралась на совет, советская малина врагу сказала “нет!”». И роскошью поэтического открытия каждый раз звучал поворот сюжета песни: «Потом его мы сдали властям энкавэдэ. С тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде». И финал, выученный наизусть, но все равно каждый раз вызывавший улыбку: «Теперь одну, ребята, имею в жизни цель — ах, как бы мне увидеть эту самую Марсель, где девочки танцуют голые, где дамы в соболях, лакеи носят вина, а воры носят фрак!» Об истории этой песни, кстати, Руфь написала рассказ «Элизабет Арден»...

Руфь пела негромко, слух у нее был абсолютный, интонации — предельно точные и искренние. Она аккомпанировала себе на гитаре просто, как будто только для поддержания мелодии. Говорила, что училась петь в лагере у украинок, потому что три украинки, поющие вместе, — это уже многоголосный хор... С какого-то времени с ней в два голоса стала петь Ниночка — так же негромко, так же точно, и голос у нее был молодой и свежий, и Глеб Сергеевич Семенов именно о ее пении написал свое прекрасное стихотворение: «Нас было шестеро, и девочка нам пела, как мы уже и плакать не могли».

Как выглядели наши застолья? Чтобы принять в старый Новый год ораву неожиданно свалившихся гостей, Ниночка была отправлена в кулинарию ближайшего ресторана, где купила огромное блюдо сациви из кур — ножки в ореховом соусе. Они были очень вкусные, и я по своей привычке задавать глупые вопросы восторженно воскликнула: «Как много ног! Сколько же тут было куриц?» И Ниночка, немного ревновавшая родителей к нашему нашествию, тут же ответила мне: «Это была одна курица, но у нее было шестнадцать ног!» В последующие наши визиты нас угощали скромно: всегда были сыр или брынза, что-нибудь на бутерброды, водка. Трапезы происходили на кухне, только что заново обставленной новой и модной тогда польской мебелью.

Мы были свидетелями того, как волей хозяйки менялась квартира на проспекте Газа: огромные стеллажи, сначала занимавшие самую длинную

стену в кабинете, были разрезаны на много частей и переехали в разные комнаты, появился замечательный диван, на котором могли бы разместиться четверо и больше спящих, к нему были подобраны роскошные кресла и стулья, вместо одного письменного стола возникли стол для Ильи и секретер, за которым писала Руфь. Историю одного из кресел она запечатлела потом в рассказе о двух интеллигентных соседках, вызвавших слесаря для починки крана. Новое роскошное кресло стояло в комнате как яркое пятно на фоне старенькой мебели, оно требовало замены и остального гарнитура. Это было серьезной финансовой проблемой. Но однажды на него пролили чернила, и все встало на свои места, можно уже было мебель не менять... Этот рассказ и не повторял быта семьи Серман, и в то же время был точным психологическим портретом дам нашего интеллигентского круга. Руфь Александровна была очень хорошим писателем и обладала безошибочным чутьем художника-психолога. В одном из ее рассказов речь идет о молодой женщине, которая уже научилась «вести дом»: она уже точно знала, что надо подать хрен к рыбе и горчицу к мясу. Других деталей, как когда-то в чеховской «Чайке», уже не требовалось.

В доме Руфи Александровны в жизни так и было: были хрен к рыбе и горчица к мясу. Была строго определена судьба детей: первый, кто женится или выходит замуж, уходит из дому, второй со своей будущей семьей — остается с родителями. Как здорово планировалось, и как по-своему распорядилась жизнью всех членов семьи судьба!

Конечно, много общего было в личности и жизненных коллизиях автора, всей семьи Серман и героев Руфи Зерновой. Кстати, в поэзии тех лет бурно обсуждался, с легкой руки, точнее, после надрывного выкрика Ольги Берггольц вопрос о праве поэта на самовыражение, праве отделять свою личность от личности лирического героя, о необходимости отвечать судьбой за строку, о тождественности судеб автора и героя. Тема эта была мне очень дорога, и, мне кажется, именно свое решение этой темы делало произведения Руфи Зерновой такими подлинными, а ее воспоминания — точными и искренними.

Сколько деталей вошло в художественную ткань прозы Руфи Александровны из наших разговоров! Однажды ей показалось, что Илья Захарович равнодушен к моей подруге, красавице театроведке Тюле Д. Руфь спросила меня, что я думаю об этой даме. Я отозвалась в восторженных тонах, сказав при этом, что Тюля — человек абсолютного благородства души, что она предана своей семье и никакой речи о мелком романчике быть не может. Руфь, казалось, была недовольна моим ответом, но задумалась. И потом в ее повести появилась мимолетная деталь: героиня, расстроенная и ревнивая, издала видит в зале Филармонии прекрасную седую голову своей соперницы... Только это, ничего больше. Вкус у писателя Руфи Зерновой был безупречным. Любопытно, что позже, в печатном

варианте повести «Немые звонки», эта деталь, к сожалению, исчезла и была заменена описанием русой головы, гладко причесанной на две половины, с маленьким узлом на затылке. Авторская самоцензура?

Кстати, я никогда не звала ее Руфь или Руня — только по имени-отчеству. Почему? Однажды она предложила мне это, у меня не получилось, и она сказала: «Алеша Симонов тоже всегда звал меня по имени-отчеству. Но недавно он женился и тут же, как взрослый, стал звать меня Руня». Мы посмеялись, и все осталось по-старому.

Однажды Руфь Александровна оказала мне большую услугу. Это было в 1959 году. Я впервые в жизни получила от Союза писателей творческую командировку — право поехать по России куда хочу, но в пределах определенной небольшой суммы денег на дорогу. Я поехала в Демянск, откуда ушел на фронт мой отец, погибший на войне, — в Демянске он работал врачом и заведующим районной больницей после высылки из Ленинграда. Я переезжала из одного села в другое по озеру Селигер, и однажды на катере за мной увязался «поклонник» — бросил свои планы, поехал за мной в Ленинград, и я не знала, что с ним делать. Привести его в свой дом я не могла, отношения в моей первой семье были напряженными, дочь была маленькой, а бабушка-казачка — строгой. И я поехала в Зеленогорск, где на даче жили Серманы, и попросила Руфь Александровну на несколько дней поселить этого человека у себя. Возможно ли было бы такое сейчас? Думаю, нет. Я этого человека почти не знала, Руфь меня тоже знала не очень близко. Но не моргнув глазом она вручила мне ключи от дома в Ленинграде, и незнакомый человек прожил несколько дней один в их пустом профессорском доме. Романа между нами не получилось, но Руфь об этом никогда не спросила — ни тогда, ни потом.

(Много позже, в США, меня поселили в своем бостонском доме почти не знавшие меня до этого А.В. и Г.Е. Тмарченки — с полным доверием и открытым сердцем. Как жаль, что в сегодняшней России эти качества — доверие и открытое сердце — утрачены или спрятаны за железными дверями, охранной сигнализацией и кодовым замком!)

О моих романах Руфь не спрашивала меня никогда. А вот о чем она спросила однажды: «Что ваша мама говорила вам в детстве о евреях?» Я, пытаюсь вспомнить, ответила: «Ничего». — «А в 1949 году? В 1952-м?» — «Да нет, у нас дома говорили о генетиках, сессии ВАСХНИЛ, о негодяе и дураке Лысенко». Мама работала на кафедре основ сельского хозяйства в Педагогическом институте, и на ее глазах проходили чистки — изгоняли лучших ученых-генетиков, а оставшиеся на кафедре безграмотные неучи из красной профессуры. «Но все-таки ставился в доме еврейский вопрос?» — настаивала Руфь. «Нет!» И тогда она подвела итог: «Это лучшее воспитание, которое может быть дано детям в интеллигентной семье». Надо сказать, свою дочь я тоже не посвящала

в «еврейский вопрос». Она была уже во втором классе английской школы, когда вернулась домой взволнованная: она зашла к своей соученице, и там мама и бабушка — говорили по-еврейски! Честно говоря, я не знала, что удивило ее и что надо ей объяснять по этому поводу в 1961 году. И вот два мужа моей дочери — полукровки, мой младший сын — полукровка, а в обширном роду Ошкадеровых есть — или были — Шапиро, Лурье, Румши, Штейнберги, Гофманы и Гутниковы.

(Краткое отступление. В нашем доме всегда жили собаки — сверхпородистые ньюфаундленды, и наш маленький сын мог спросить на улице: «Какой породы ваша машина?» или «Какой марки ваша собака?». Однажды он спросил меня: «Мама, какой ты породы?» — «Русская». — «А папа?» — «Еврей». — «А я — дворянка...» — грустно заключил сын...)

О пребывании в тюрьме и в лагере Руфь Александровна говорила нечасто и неохотно. Ее подружки по лагерю бывали в ее доме, мы их видели, но с нами они почти не разговаривали и явственно показывали, что пришли общаться с хозяйкой и ждут, когда мы уйдем. Наиболее серьезный разговор о лагере возник после выхода повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Мы были в восторге от этой безукоризненной прозы, Руфь спорила и считала, что неправомерно было выдвигать в качестве главного героя малограмотного мужика и задвигать на задний план интеллигенцию, тогда как именно в ней и в ее судьбе ключ к победе над тоталитаризмом и диктатурой. А народ, такие как Иван Денисович, могут только выжить, но не победить и не бороться. Кстати, мы тогда не знали, что еще до «Ивана Денисовича» Солженицын написал «В круге первом», именно повесть об интеллигенции и о ее героическом духовном противостоянии системе тоталитаризма. Возможно, что и Руфь этого не знала. Мы спорили, мы были влюблены в каждую строчку Солженицына, Руфь отстаивала свое мнение... И потом, когда она показала нам свое первое произведение о лагерной жизни, мы не оценили его. Нам показалось, что она тоже уходит, как и Солженицын, от темы сопротивления и борьбы, но не в изображение души народа, а в показ быта веселых, несмотря ни на что, и молодых, несмотря ни на что, женщин-лагерниц. Вообще, мы очень ждали большого произведения от Руфи Зерновой, очень верили в нее. Когда Руфь стала регулярно печататься в «Огоньке» Софронова и даже получать премии «Огонька» за лучший рассказ года, мне было немного досадно за нее. Но, в конце концов, печатала-то она отличные рассказы! Однажды я написала рецензию на одну из книг Руфи — для журнала «Нева». Рецензию положительную, спокойную и разумную. Она не вышла, до сих пор не знаю почему, — рецензия не понравилась тогдашней заведующей отделом критики или не понравилась книга.

В 1960—1970-х годах через Руфь Александровну мы получали из Москвы немало самиздата — больших произведений о нашем времени: Бека,



Гроссмана, Л.К. Чуковской. Мы тоже читали ей многое, что не могло быть напечатано. Мы знакомили Серманов с кругом прекрасных молодых художников, водили их на подпольные выставки, которые устраивались на частных квартирах, и были рады, когда одну работу Александра Зеленина — женский портрет, написанный в манере пуантилистов, — Руфь купила. Вспоминаю и некоторый казус. Ниночка и Саша Раскина, которые были тогда еще совсем юными, очень хотели посмотреть картины модного художника, ученика Н.П. Акимова Михаила Кулакова. Кулаков жил в Левашове, где на асфальтовом квадрате на лужайке у дома писал нитроэмалями огромные абстракции. Девочки взяли у меня его адрес и поехали. Каково же было гневное изумление родителей, когда они рассказали о своем визите, — о том, как хулиганистый художник стал показывать им не только «фигуративную живопись», но и свои альбомы с изображениями обнаженных мужских органов в возбужденном состоянии, приговаривая: «В то время я был гомосексуалистом». Я получила от Руфи яростный выговор, хотя, видит бог, я о существовании этих альбомов даже не знала!

(Об этом визите я знала со слов Руфи Александровны и самого Михаила Кулакова (об альбомах, видимо, от последнего). Сейчас я знаю, что есть еще и другая версия левашовского конфликта. В феврале 2006 года Саша Раскина, прочтя первый вариант моих воспоминаний, которые ей дал, очевидно, Марк Серман, написала мне: «Это было не совсем так, и мы ездили не одни, а с моим мужем, Сашей Вентцелем, и ничего особенно порнографического, никаких альбомов Кулаков нам не показывал. Но его почему-то взбесило, как я что-то, по-моему, нейтральное произнесла по поводу одной его картины: он сорвал ее, бросил наземь, топтал ногами и страшно матерился. Но это я для Вас, а не к тому, чтоб что-то менять. Кстати, мне Ниночка посылала Ваши стихи об этом эпизоде. Вы их не хотите включить?»

Дорогая Сашенька, выросшая моя девочка, живущая ныне так далеко — в перенесшем страшную трагедию Новом Орлеане, — спасибо за письмо. Менять я ничего не буду, стихи об этом эпизоде в приложение к этой главе включу и твою версию встречи в Левашово включу тоже...)

Были и еще поводы для недовольства мной в доме Серманов. В 1969—1971 годах я была депутатом районного совета Дзержинского района Ленинграда. Мне удалось помочь нескольким семьям получить освобождающиеся комнаты в коммунальных квартирах, добиться отдельной квартиры для Лидии Яковлевны Гинзбург — ее дом на канале Грибоедова забирала Октябрьская железная дорога. Руфь Александровна считала, что теперь я должна также добиться квартиры для Тамары Юрьевны Хмельницкой, которую затравили соседи по коммуналке. Я относилась к Тамаре Юрьевне с огромным уважением, но помочь ничем не могла. Мне уже был сделан выговор за слишком активные действия по добыванию квартир, уже было указано, что пределы моей компетенции — два дома на

улице Салтыкова-Щедрина и ничем, кроме их текущих кранов, я заниматься не должна. «Вы обязаны вести прием граждан так, чтобы они уходили от вас успокоенными, а не мчаться выполнять их пожелания!» — сказал мне председатель районного совета. Все это я изложила Руфи, но она была неумолима. «Фрида бы не отступила и добилась квартиры!» — заявила она мне. То что Фрида Вигдорова была депутатом Московского районного Совета, обладала журналистским мандатом и правом вести депутатское расследование, в глазах Руфи Александровны меня не извиняло.

Был момент, когда и я на нее обиделась. Когда мой младший сын был маленьким, я вдруг начала писать для него детские стихи. О чайках под нашими окнами на Мойке, о многочисленных пестрых кошках во дворе, о котором сын сказал: «Я знаю, что такое скотный двор, — это наш двор, с котами!» О празднике «День зверей» в зоопарке. В издательстве «Детгиз» мои стихи забраковали, сказав, что они о домашнем, «мамино» мальчике, а нужны были стихи о мальчике детсадовском, стихи типа «Вместе с папой на парад», как у Надежды Поляковой. Я решила показать их Руфи Александровне, договорилась с нею и никак не ожидала, что она пригласит на нашу беседу литературную даму Фаину Шушковскую, то ли учительницу, то ли редактора, любовницу нашего университетского профессора, которую все мы терпеть не могли, и она отвечала нам тем же. Естественно, она разнесла мои стихи в пух и прах, но я-то хотела услышать мнение не ее, а Руфи! Впрочем, Руфь к Фаине присоединилась, и больше я детских стихов не писала.

Пожалуй, мне надо заканчивать. О многих этапах жизни Руфи Александровны другие знают больше меня, о многом написала в своих воспоминаниях она сама. Помню прекрасный ее рассказ о том, как ее арестовали. Уже был арестован Илья Захарович, ее как бы вызвали на допрос, и у нее была с собой библиотечная книга. Когда она увидела, что энкавэдэшная машина въезжает в ворота Большого дома, она поняла, что это не просто допрос, и очень заволновалась: «У меня библиотечная книга!» И сопровождающий офицер заверил ее: «Не волнуйтесь, мы сдадим вашу книгу в библиотеку!» Этот эпизод припомнился мне в день последней нашей беседы перед отъездом Серманов из Ленинграда — насовсем. Руфь знала, что они едут именно в Израиль, а не в какую-то другую страну с помощью израильской визы: «Мы слишком стары, чтобы оказаться людьми без подданства!» — говорила она. Я пришла к ним в этот последний вечер — по их приглашению, одна, без своего засекреченного мужа, который не имел права участвовать ни в каких проводах уезжающих. Да это и не были провода. Старые печальные люди разбирали оставшиеся бумаги, спрашивали, не хочу ли я купить Брокгауза и Эфрона, — я очень хотела, но у меня не было таких денег, а я понимала, что там им будет нужен каждый рубль. Мне отдавали какие-то фотокарточки, листок с автографом

Пастернака, еще какие-то рукописи. Мы говорили, говорили, и уже был первый час ночи, и я заказала такси. Через полчаса диспетчер отзвонил, что машина номер такой-то вышла. Я попрощалась, меня поцеловали и обняли на прощание, я спустилась во двор, вышла на улицу перед домом. Такси не было. Я ждала полчаса, час. Машины не было. Конечно, можно было взять первую попавшуюся другую машину, но тогда Серманам пришел бы счет за неиспользованный вызов. Можно было вернуться в квартиру и снова вызвать такси или, по крайней мере, узнать, что случилось. Но я представляла себе усталых людей, которые уже легли, может быть, уже заснули, — и продолжала ждать. Наконец машина подъехала. Меня окликнули: «Вы заказывали такси?» — «Я. Но это не тот номер машины!» — «Ваша машина сломалась, и прислали другую!» Конечно, могло быть и так, я села на переднее сиденье рядом с шофером, назвала адрес. Проехали проспект Газа, свернули на канал, машина затормозила у моста, — и на заднее сиденье с двух сторон одновременно сели два человека. Без единого слова, не спрашивая разрешения ни у шофера, ни у меня. Мы поехали дальше в полном молчании. Я крепко сжала сумку с автографом Пастернака и решила: «Уж сумку-то я вам не отдам!»

Вспомнила рассказ об аресте Руфи и стала гадать, куда мы поедем. Если налево — то к Мойке, домой. Если вправо — то на Литейный, к Большому дому. Свернули на Мойку. Я расплатилась и вошла в свой подъезд. Надо сказать, что в моем доме № 6, построенном в XVIII веке, тройные входные двери, и еще имеется лаз — черный ход во двор, и, возвращаясь домой ночью, я каждый раз гадала, за которой дверью будет стоять Раскольников с топором. Сейчас я быстро побежала наверх к себе на четвертый этаж, двое сопровождающих вошли в подъезд следом за мной. Я добежала до своей площадки, зажала в руке ключ и посмотрела вниз. Двое стояли внизу, задрав головы. Они смотрели на меня, я — на них. И все это молча, без единого слова.

На следующий день Серманы улетали. А я оставалась, мне улетать было некуда. «Я русская. В России я живу», — так я написала в 1970-х годах, и эти стихи — в том числе и о расставании с ними.

В заключение приведу несколько стихотворений, посвященных мною Руфи Александровне и Илье Захаровичу Серманам.

\* \* \*

Я русская. В России я живу.  
Пусть было мне божественно в Париже,  
Но мне Тюмень заснеженная ближе,  
Мое окно выходит на Неву,  
На Мойку. И любимый мой поэт

Сто сорок лет назад на эту воду  
В такую же осеннюю погоду  
Глядел, глядел и думал: «Тех уж нет,  
А те далече...» Так сегодня мы  
Уехавших друзей припоминаем,  
Увидим ли когда-нибудь — не знаем,  
Но помним: от судьбы, не от сумы  
Они ушли. А мы остались тут.  
Мы знаем все, что было, все, что будет.  
Родная птица поутру нас будит,  
Предчувствия нам душу не гнетут.  
Здесь Родина. А Родина — одна.  
Один родной язык. И здесь могилы,  
Оплакивать которые нет силы  
Издалека. А с милыми красна  
И жизнь, и смерть.

\* \* \*

**Илье Захаровичу Серману**  
**в марте 2001 года**

Стою себе на месте,  
Держусь я за карман...  
*Ахилл Левинтон*

Нагадала в юности Вам гадалка,  
Что когда-нибудь разобьет Вам сердце  
Девушка с широкой улыбкой  
И глазами круглыми, точно блюдца,  
С тонкой талией и высокой грудью,  
С любопытным взглядом и точной речью...

Только Вы не слушали ту гадалку.  
Золотая Руфь стала Вам женою,  
И двоих детей родила и рядом  
Лагеря прошла и домой вернулась  
Той же Руфью, только с седою прядью,  
Под гитару песенки напевая...

Говорила нам, молодым поэтам;  
«В этих песнях вся история века,

Вся Россия — та, что зовем своею,  
Что сидела с нами и что сажала...»

И была одна среди этих песен,  
Та, что ей Ахилл принес в день рожденья  
Далеко в Сибири, — а мы запели  
Эту песню, от горняков услышав...

Как она умела, взглянувши строго,  
У меня спросить, с не и з в е с т н о й встретив:  
«Нина, кто эта блядь косая?» —  
И не слушать робкие оправданья.

И могла в писательском коридоре  
Мне сказать, застав с пошляком-поэтом:  
«Те, кто дружит со мной, не должны общаться  
С подлецом, — не то не подам вам руку!»

А в дому была золотая Руня  
Прирученной ласковою тигрицей,  
Берегла свой дом от беды и сглаза,  
От соперниц-дев и подруг неверных...

Но теперь — исполнилось то гаданье:  
Золотая Руфь разбила Вам сердце...  
Вот она лежит, почти бездыханна,  
Неизвестно, слышит ли Вас ночами,  
Неизвестно, видит ли Ваши руки,  
Что опять поправили ей подушку,  
Неизвестно, что с нею будет завтра, —  
И со всеми нами — что завтра будет...

\* \* \*

***Р.А. Зерновой в дни болезни***

Руфь Александровна, Руня Зернова,

Как дорога нам тень Вашей улыбки,

Каждое вновь обретенное слово,  
Жесты, что вновь по-русалочьи гибки!

Видимо, радость общенья беспечна:  
Как я забыла, споткнулась на ровном!  
Все мне казалось, что это — навечно,  
Это — галактика в мире огромном:  
Питерский дом со святыми дарами,  
Руня с гитарой — как весточка с воли...  
Как же мне жить, если там, за горами  
Старший товарищ мой стонет от боли,  
Как передать хоть частицу участия,  
Как поделиться и силой какую?  
Выживи, дай нам последнее счастье —  
Не оставляй не забытых тобою!

*1 февраля 2001 г.*

\* \* \*

Увижу ли в Риме художника Мишу,  
Который картины писал в Левашово?  
Каким я увижу? И если увижу,  
Узнаю ли прежнего друга большого?..  
Своей красоте он судьбою обязан,  
Несчастной своею особою ролью.  
С ним был наш товарищ невесело связан  
Особенно нежной мужскою любовью.  
Учил его сам гениальный Акимов,  
Свой мир воздвигая над Питерской сценой.  
Детдомовский мальчик, он, руки раскинув,  
Летел, управляем гордыней бесценной!  
Две старшие школьницы, юные дуры  
(Не помню, две Саши, а может — Елены),  
Хотели, чтоб он показал им гравюры, —  
И он показал им восставшие члены.  
Листая альбомы, смеялся немного,  
Наверное, вспомнив о детском о чем-то...  
Он был рисовальщик — почти что от Бога,  
И был хулиганом — почти что от черта,  
И Каиновой или Адской печатью —  
Но он был отмечен, и запахом тлена  
Разило от писем его на Камчатку, —  
Из вечного Рима, из вечного плена...

*28 ноября 2000 г.*

*Турин*

\* \* \*

**Руфи Александровне Зерновой,  
Илье Захаровичу Серману**

Я предлагаю вам игру:  
Любовь ко мне храня,  
Читайте Анну поутру,  
А по ночам — меня.

И вам припомнится в ночи,  
Впервые с давних пор, —  
Нева, Обводный, стукачи,  
Наш тихий разговор...

*15 августа 1999 г.*

*Электричка С.-Петербург — Комарово*

\* \* \*

После инсульта, в далекой стране  
Помнит ли милая Руфь обо мне?

Долго смотрю я на фото больной:  
Белые зубы в улыбке родной...

Веки прищурены — что в них горит?  
Смотрит. Не слышит. И не говорит.

Только в улыбке горят на лице  
Очи — как свечи при светлом конце...

*11 октября 2004 г.*

Еще одно стихотворение посвящено не Серманам, но моему другу, ныне покойному, Александру Богумильскому, большому почитателю таланта писательницы Руфи Зерновой, одному из первых эмигрантов в нашем кругу.

Кстати, именно Саша Богумильский, познакомившись с Руфью незадолго до своего отъезда, первый стал уговаривать ее эмигрировать в Израиль, на что получил веселый и решительный отказ... Оба они — и Саша, и Руфь — в разное время рассказывали мне о своем первом телефонном разговоре. Саша: «Я очень высоко ценю ваши книги и хотел бы лично познакомиться с вами» Руфь: «А вы знаете, что я — бабушка?»

**Эмигранту 1974 года**

Мой друг сказал мне: «Да, я — сионист,  
Иду я за единственной звездой.  
Но я перед твоей Россией чист,  
Я ни рубля не увожу с собою.  
Моя сума пуста, но я богат...»  
За нами кагэбисты шли эскортом.  
Мы не увидимся. Счастливо, брат.  
Вот как все было в семьдесят четвертом.

*25 сентября 1998 г.*

*Москва,*

*Россия*



*Сэмюел Реймер*

## **Памяти Руфи Александровны Зерновой**

С Руфью Зерновой я познакомился в 1968 году, когда еще был аспирантом исторического факультета Колумбийского университета. В то время я год прожил в Советском Союзе, собирая материалы для диссертации о политической мысли радищевцев — Ивана Пнина и Василия Попугаева, литераторов начала XIX века, близких к Александру Радищеву и разделявших его либеральные взгляды. В Ленинград я приехал в начале августа, недели за две до советского вторжения в Чехословакию. Вторжение это внешне никак не повлияло на повседневную жизнь города, поразительно спокойную по сравнению с протестами против войны во Вьетнаме и общеполитическим брожением, охватившим весь мир весной 1968 года.

Первые месяцы моей аспирантской жизни в Ленинграде были вполне приятными. Меня поселили на Васильевском острове в университетском общежитии. Примерно половина живших в нем аспирантов была советской, но там же селили практически всех находившихся в то время в Ленинграде студентов из так называемых капстран. Моим соседом по комнате оказался русский аспирант, физик-прикладник, человек умный, тактичный и чрезвычайно легкий в общежитии. (За год мы прочно сдружились, и дружба наша длится по сей день.) Условия были суровыми — горячая вода в душевую подавалась лишь раз в неделю, — но это искупалось дружеским отношением ко мне и компанейским духом моих соседей.

Главным местом моих научных занятий стала Библиотека Академии наук. Там имелось богатейшее собрание нужных мне журналов XVIII века, и работали там люди знающие, приветливые и всегда готовые помочь полезным советом. Город был богат концертами и прочими развлечениями, а изобилие и богатство букинистических лавок сделало походы по ним моим ежедневным ритуалом.

Уже само по себе пребывание в Ленинграде дало мне ощущение сильнейшей связи с российским прошлым, которое я раньше знал только по книгам. Красота города, менявшаяся с каждой переменной сезона, погоды и времени дня, меня совершенно ошеломила, и я сколько мог ходил по

городу пешком. С наступлением зимы, когда дни становились все короче, я либо сидел в библиотеке, либо болтал и распивал чай с товарищами по общежитию. За его стенами у меня практически не было знакомых, да я и не рассчитывал с кем-нибудь познакомиться. Поэтому об интеллектуальной жизни Ленинграда сведения мои были очень скудны.

Ощущение себя вне системы, чьи правила чужаку, мягко говоря, малопонятны, было для меня чем-то само собой разумеющимся. Думая о том времени, я часто забываю, как мало я знал о реальной жизни в Советской России, и уж тем более о том, как воспринимают эту действительность сами советские люди. Как и все, кто когда-либо приезжал в эту страну, я пытался делать какие-то заключения из разрозненных случаев и ситуаций, но с мучительной ясностью сознавал, что даже в тех случаях, когда я дословно понимал сказанные при мне слова, подлинный смысл слов и сопутствующих им поступков зачастую от меня ускользал\*. Таким образом, город и его уклад жизни оставались для меня постоянной загадкой, и я надеялся, что разгадать ее я смогу, если буду долго изучать эту жизнь, непрерывно наблюдая ее. Ощущение нераскрытой тайны подогревало мой страстный интерес к городу и его обитателям.

Уезжая в Советский Союз, я исходил из того, что буду встречаться и обмениваться соображениями с самыми разными людьми, услышу много нового и вернусь домой, обогащенный знаниями о стране и обществе. Но мне и в голову не могло прийти, каких друзей я обрету в России и насколько дружба с ними преобразит мои представления не только о занятиях русской историей, но и о том, что я собой представляю и каким хочу быть.

Познакомившись с Р.А., ее мужем И.З. Серманом и их детьми Ниной и Марком, я начал понимать, насколько неправильны были мои ограниченные ожидания. В этих коротких заметках я попытаюсь хоть немного рассказать о наших встречах и о том, как дружба с ними повлияла на мою жизнь. В центре моего эссе — Руфь Александровна, но о ней невозможно писать, не упоминая то и дело прочих членов семьи, и в первую очередь И.З. Как правило, я видел их вместе, не говоря о том, что их жизни были в течение многих лет неразрывно переплетены.

---

\* Вот такой пример, хоть и не типичный, но и не исключительный. Как-то в пятницу вечером я ехал в автобусе, и рядом стоял довольно расхлыстанный и явно выпивший человек. Он повернулся ко мне и, медленно и старательно выговаривая слова, сказал по-актерски поставленным голосом: «А я... — безо-бразный!» Затем он забормотал, что закончил школу в тридцать седьмом и что мало кто из его одноклассников сумел уцелеть. И тут все пассажиры зашикали на него. Что он хотел этим сказать? Случайно ли он выбрал именно меня? Знал ли он и знали ли другие люди вокруг, что я — иностранец? У меня не было ответов на все эти вопросы, как не было и никого, кто мог бы дать мне вразумительное объяснение происшедшего.

\* \* \*

Сам я, мне кажется, вряд ли познакомился бы с Р.А. и семейством Серман. Меня свела к ним Элизабет Робсон, литературовед, аспирантка Оксфордского университета, писавшая диссертацию о «Мелком бесе» Сологуба. К моменту моего появления Элизабет уже год пробыла в Ленинграде, и, насколько мне известно, ее познакомил с Серманами предыдущий английский аспирант. Как бы то ни было, в начале 1969 года она решила взять к ним меня, и ее решение обогатило мою жизнь, как мне тогда и не снилось.

Ясно помню декабрьский вечер, когда мы с Элизабет впервые шли к Серманам. Они жили на проспекте Газа, у метро «Нарвские ворота». Мы прошли по темному двору, поднялись на четвертый этаж по еще более темной лестнице и позвонили в дверь. Открыла нам Р.А. Она радостно поздоровалась и кивком пригласила входить. У нее были широкие скулы на живом и выразительном лице, заразительная улыбка и умение дать человеку почувствовать, что он не просто гость, а гость желанный. Свет и человеческое тепло, охватившие нас, как только мы переступили сермановский порог, разительно контрастировали с безличной темнотой улицы.

О чем говорилось в тот вечер, я помню очень смутно. Мы, естественно, представились, я объяснил, откуда я и почему заинтересовался историей России. Меня спросили, над чем я работаю в Ленинграде, и я кратко обрисовал, чем именно меня занимают изучаемые авторы. Но главное, что осталось у меня в памяти, — это легкость и свобода беседы. Среди прочего я отметил практически полное отсутствие разделения на «мы—они», отличавшее столь многие мои контакты с русскими. Ни в разговоре, ни в поведении Серманов ни разу не мелькнуло и намек на то, что я посторонний, «иностранец».

Особенно удивительно в этом смысле было то, что в конце вечера И.З. повернулся ко мне и веско спросил: «Сэм, чем я могу вам помочь?» Звучавшие в его голосе доброта и великодушие, с которым была предложена помощь, произвели на меня глубочайшее впечатление. Жаль только, что при моей тогдашней научной незрелости я не мог задать ему миллион вопросов, возникших потом.

Серманы знали, что через несколько дней Элизабет возвращается в Англию, и настаивали на том, чтобы я продолжал им звонить после ее отъезда. Я с готовностью согласился, хотя тут была некая сложность, которая нуждается в объяснениях. Дело в том, что у меня телефона не было, так что они мне позвонить не могли, а, звоня из автомата, я не мог отделаться от чувства, что напрашиваюсь на приглашение. Они это поняли, но велели не стесняться и звонить, когда смогу. Я последовал их совету и весь мой первый год в Ленинграде регулярно приходил к ним в гости.

\* \* \*

За зиму и весну 1969 года я близко узнал семейство Серман. Меня привлекала у них живость застольного разговора, поражала невероятная прямота и удивлял юмор, разбавлявший серьезное обсуждение практически любого вопроса. Нас роднил пылкий интерес к российской истории и к русской литературе, которая одновременно отображала и формировала историю страны. Разумеется, между нами было одно важное отличие: они знали и о том и о другом несравненно больше меня. Дело не только в роде занятий (Р.А. была высокопрофессиональным литератором, И.З. — первоклассным литературоведом и знатоком русской литературы), но и в том, что они были живыми свидетелями самых разных поворотов русской жизни.

Мне необходимо было многому учиться, и они охотно взяли на себя роль моих проводников, указывая писателей или произведения, которые я не читал и о которых (как часто бывало) даже не слышал. При этом им каким-то образом удавалось внушить мне совершенно неоправданное, на мой взгляд, представление о равенстве с ними. Обрести таких друзей — это была удача, о которой я не мог и мечтать.

Известно, какую огромную роль литература играет в русской политической и общественной жизни. Мой опыт в Советском Союзе 60-х годов, а особенно в общении с Серманами, показал неотъемлемую роль литературы в жизни если не всего населения, то по крайней мере интеллигенции. Я помню, например, что стены многих интеллигентных домов украшали портреты Ахматовой, Цветаевой, Пастернака и Солженицына. Конечно, из-за ограничений, налагавшихся в Советском Союзе на публичные обсуждения и политическую жизнь в целом, ценности, содержащиеся в творчестве любого подлинно независимого писателя, приобретали особый резонанс.

Традиционно мышление русской интеллигенции было насквозь пропитано духом и буквой русской классики (от Крылова, Грибоедова и пушкинских стихов и повестей — до Пастернака и Ахматовой). Ссылки на произведения этих авторов, а то и просто фразы или строчки из них проносились так естественно, между прочим, что посторонний мог вообще не заметить цитаты (как со мной часто и бывало). Благодаря такой «интертекстуальности» любой разговор вписывался в исторический контекст, русский или не русский.

Однако в применении к разговорам о литературе было бы неверно говорить исключительно об их тайной или явной политической направленности. И не следует думать, что разговоры о литературе в русских домах всегда диктовались чисто политическими причинами. У Серманов, например, с не меньшим пылом обсуждались вопросы эстетики и истории литературы XVIII—XIX веков. Помню, как все они хором уговаривали меня

прочесть романы Тынянова о пушкинской эпохе, ими много раз читанные и перечитанные. Да и вообще в наших разговорах «обо всем» речь шла далеко не всегда о русском литературном наследии: Р.А., И.З. и их дети знали и любили крупнейших европейских писателей, а Р.А. к тому же и американских.

Литературные разговоры в доме Серманов охватывали самые разные жанры, от стихов и детских рассказов до блатных песен, насыщенных политическим юмором, шедшим прямо к сердцу любого русского. Взять хотя бы такие «стандарты», как «цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел по Невскому гулять», который, как они меня уверяли, с 1920-х годов поется в каждом русском школьном дворе. Р.А. и все остальные с наслаждением пели мне эти песенки, и я до сих пор люблю в них все, особенно язык. «Его поймали, арестовали, велели паспорт показать». В самом деле, разве можно устоять перед такими образами и рифмами? Лишь много позднее, читая рассказы Р.А., я понял, что для нее эти песни были знаками эпохи или социальной среды.

Тем, кто приехал из Советского Союза/России и жил в такого рода литературном окружении, не нужны мои описания литературных разговоров — для них это было (и есть) естественно, как сама жизнь.

Р.А. страстно любила детективы и буквально проглатывала их, как английские, так и французские. Она, безусловно, читала Сименона и Грэма Грина, как и американцев: Дэшиела Хэммета, а позднее — Росса Макдональда. Ну и, конечно, Ле Карре, романы которого для всех нас стали целым отдельным жанром. Она также дала мне почитать книги неизвестных мне тогда шведских детективных авторов — Пера Вале и Мая Шевала. Обычно я делился книгами с моими русскими друзьями, а тут все стало наооборот — я одалживал книги у нее.

В детективах Р.А. интересовал не столько сюжет, сколько умение автора воссоздать атмосферу конкретного места и времени. Кроме того, западные детективы были для нее (как, полагаю, и для других русских) энциклопедией разговорного языка и неизвестных ей представлений о других странах и культуре.

Короче говоря, в доме Серманов я столкнулся с отношением к литературе как к единому целому, как к сокровищнице, где в принципе все жанры заслуживают обсуждения, как серьезного, так и шутового, поэтому можно с одинаковым пылом и удовольствием говорить о классике, а потом без перехода — о современных детективах. Для Р.А. и И.З. разговоры о литературе были не прерогативой специалистов, а поводом для оживленных дебатов, в которых могли участвовать все без исключения. Единственное, что от тебя требовалось, — чтобы ты читал обсуждаемую книгу и чтобы тебе было интересно о ней говорить.

Р.А. была великим связующим, будь то среди книг, рекомендованных ею, или среди людей, с которыми мне необходимо было познакомиться. У Серманов я перезнакомился с самыми разными людьми, и многие из них впоследствии сыграли в моей жизни важнейшую роль, стали друзьями навеки. Р.А. была писателем, поэтому неудивительно, что она так любила рассказывать. Это происходило в компании, где каждому предлагалось (и даже отчасти требовалось) тоже что-нибудь рассказать. Часто просто пересказывался случай из жизни, какая-нибудь ссора или обмен репликами, освещавший нечто большее, чем он сам; иногда же это были размышления о том, что случилось годы, а то и десятилетия назад.

В качестве хозяйки Р.А. естественно царила у себя дома. Она была мастерицей светского разговора — понятие, для которого в английском языке нет четкого эквивалента. Термин этот часто используют уничижительно. Но у нее это был, как мне кажется, жизненно необходимый талант, умение поддерживать застольную беседу на нужном энергетическом уровне. Она любила задавать гостям вопросы, в сущности, допрашивать об их жизни или взглядах. Так она лучше узнавала людей, и опрашиваемому это льстило, так как ему казалось, что его ответы были для нее по-настоящему важны. Она редко удовлетворялась ответом на первый вопрос, задавая следующий или требуя разъяснений. Иногда она подчеркнуто спрашивала, действительно ли ты имеешь в виду то, что сказал, и ты внезапно понимал, что она не просто слушает слова, но стремится понять то, что стоит за словами. Иногда это нервировало, так как она обладала способностью проникать за созданный тобой (сознательно или бессознательно) фасад и видеть, каков ты на самом деле.

Я не расспрашивал Р.А. и И.З. про их жизнь и теперь очень об этом жалею. Мне, например, ни разу не пришло в голову спросить Р.А. об ее одесском детстве и юности, отчасти потому, что я не знал тогда, какое важное и интересное место занимает Одесса в культурно-политической истории России. Иногда мы с Марком и Ниной просили Р.А. и И.З. описать атмосферу 1930-х годов. Они напоминали нам, что это было время их молодости и учебы в университете, поэтому оба они помнят его как захватывающе интересное. Разумеется, они знали о репрессиях, но, как оба признавались, тогда не полностью осознавали их значимость. Вспоминали они, к примеру, что в 1930-х годах букинистические лавки были буквально забиты русскими и французскими изданиями XVIII века. По их словам, они с жадностью покупали эти книги, не задаваясь вопросом, откуда они взялись, и не понимая, что это распродаются библиотеки репрессированных.

Об этом рассказывалось не для того, чтобы поставить под сомнение вполне реальные ужасы сталинской эпохи, а чтобы точно передать свои тогдашние мысли и действия. Я со своей стороны рассказывал о детстве,

проведенном в совсем особой части американского Юга — в Восточном Теннесси, — и о том, что знал из жизни родителей и бабушки с дедушкой. Среди прочего мне вспомнились мои первые, чрезвычайно яркие детские представления о сталинской России, почерпнутые из американских газет и журналов конца 1940-х — начала 1950-х годов. Из них ясно было одно: Сталин — диктатор, чудовище и воплощение зла. Что же касается России, то она оставалась загадкой, чем-то лесным, зимним и темным, с волками, о которых мы знали по записям оперы Прокофьева «Петя и волк».

Не помню, когда я узнал, что Р.А. и И.З. пять лет пробыли в ГУЛАГе. Возможно, мне сказала об этом Элизабет еще до нашего знакомства. Мне не хотелось обсуждать с ними эту тему. Тогда это мне представлялось чем-то очень личным, о чем лучше не спрашивать. Из всех наших встреч в России припоминаю лишь одну, когда об этом зашел разговор, и то мы говорили не об их пребывании в ГУЛАГе, а об аресте и вообще об атмосфере конца 1940-х годов.

Здесь следует отметить, что дружеские отношения с иностранными учеными были чем-то если не уникальным, то, во всяком случае, крайне редким даже в более свободной обстановке брежневской эпохи. Людям с засекреченными специальностями (а в советское время это было весьма широкое определение) несанкционированные контакты с иностранцами были официально запрещены. Остальным это законом не возбранялось, но отнюдь не поощрялось. Поэтому многие из тех, у кого теоретически была возможность завязать такие контакты, тщательно избегали их из боязни навлечь неудовольствие начальства. Пятно в личном деле могло повлечь за собой неприятности на работе или просто говорило о неблагонадежности. Представители технической и художественной интеллигенции, с которыми приходилось сталкиваться иностранным студентам, относились к такого рода личным, несанкционированным связям по-разному. Одни просто их не заводили, если не было прямого приказа сверху завести знакомство с Х или У. Другие шли на это, невзирая на теоретический и практический риск. Р.А. и вся семья Серман многие годы оказывали иностранным ученым самое теплое гостеприимство. Еще и теперь, по прошествии многих лет, меня трогают щедрость и великодушие, с которыми они впустили меня в свою жизнь.

\* \* \*

Весной 1969 года И.З. защищал докторскую диссертацию на тему о появлении в России XVIII века новой, национальной литературы. Защита проходила в Пушкинском Доме. В США не существует ни докторских диссертаций, ни публичных защит, поэтому мне очень хотелось побывать на защите И.З., чтобы морально поддержать его, послушать, как он говорит

о своей работе, да и просто поглядеть, как проходит в России защита диссертации. Многие из официальных оппонентов И.З., такие как Павел Берков и Георгий Макогоненко, оставались для меня всего лишь именами, хотя труды их я знал.

Возможно, результат такого рода публичных защит предрешен заранее (ведь защита — это, в сущности, просто представление публике докторской диссертации), но все равно процедура эта неизбежно проходит в атмосфере нервного напряжения, ибо результат зависит от тайного голосования членов ученого совета, а голосование производится только по окончании защиты. Поэтому я, помню, очень волновался за И.З. и вместе с родными и близкими радовался его успеху.

Ярче всего человеку помнятся приезды и отъезды. Я, например, особенно четко помню свою последнюю перед отъездом из России встречу с Р.А. и И.З. Дело в том, что мои родители, которые никогда раньше не были в Европе, решили съездить в Ленинград и Москву и вместе со мной вернуться домой. Узнав об этом, Р.А. и И.З. пригласили нас троих на ужин в ресторан в Зеленогорске, поселке на берегу Финского залива, где они снимали дачу.

Под вечер, когда мы с родителями отправились электричкой в Зеленогорск, стояла ясная, солнечная погода, были белые ночи. И.З. и Р.А. встретили нас на вокзале, и мы пошли по тихим, обсаженным деревьями загородным улочкам. Р.А. могла бы говорить с моими родителями по-английски, но я все равно весь вечер всем переводил. Однако по дороге у меня состоялся разговор один на один с И.З. врезавшийся мне в память. И.З. мимоходом заметил, что здесь, в Зеленогорске, «хорошо слышно». Фраза эта, брошенная внезапно и вне контекста, была для меня совершенной бессмыслицей, что было видно по моему озадаченному лицу. И.З. рассмеялся и объяснил, что в Зеленогорске меньше, чем в Ленинграде, глушат передачи иностранного радио, вроде Би-би-си и «Голоса Америки». Тогда я спросил, не рискуют ли они с Р.А., приглашая нас в ресторан и тем самым публично «братаясь» с иностранцами. На это И.З. ответил, что после возвращения из ГУЛАГа они с Р.А. твердо решили жить как свободные люди. По его словам, они «не ищут бурь» и ведут себя осторожно, но свобода не дается и не приобретается, это нечто изначально присутствующее. Все это говорилось с его обычным лаконизмом, но ясно было, что это их общее кредо.

В ресторане И.З., Р.А., Марк и Нина прекрасно нас принимали, и этот их поступок меня невероятно растрогал. Однако вечер был окрашен печалью, ибо я понимал, что мы видимся в последний раз. Пустели песочные часы, отмерявшие мой ленинградский год, и меня буквально бросало в дрожь при мысли об отъезде. За этот год я обрел друзей, познал совершенно новую для меня интенсивность жизни, и непонятно было,



смогу ли я приехать так надолго еще раз. Дружба с Серманами была жизненно важным элементом моего ленинградского года, и прощаться было тяжело. После ужина они проводили нас на электричку, и мы расстались.

\* \* \*

По возвращении домой, в США, тоска по жизни, обретенной в Москве и Ленинграде, не утихала. Наконец, после пятилетнего преподавания в Тулейнском университете Нового Орлеана, осенью 1975 года я вновь приехал в Ленинград, на этот раз для изучения истории земской медицины в России.

Все эти годы мы с Р.А. и И.З. переписывались. Я очень ждал встречи, и, когда вошел в квартиру на Газа, минувших шести лет как не бывало. Но на самом деле у них в семье произошли крупные перемены. Марк женился на Наташе, которую я знал с 1969 года, и в 1971 году у них родилась дочь Саша. Нина тоже вышла замуж, и они с мужем подали заявление об отъезде из СССР. (Шестью годами ранее об эмиграции никто и не помышлял, но к 1975 году отъезд евреев из России стал широкомасштабным явлением.)

В это второе мое пребывание в Ленинграде мы с Серманами еще более сблизились. Во-первых, у наших отношений уже был прочный фундамент, а во-вторых и в-главных, я оказался там в тот год, которому из-за Нининого решения суждено было стать роковым для всей семьи. Согласно эмиграционной процедуре, лица, подавшие заявление об отъезде, независимо от возраста и гражданского состояния, обязаны были получить официальное разрешение от родителей и бывшего супруга. Трудно понять, какими намерениями был продиктован этот закон. Самое благоприятное его истолкование — это то, что тем самым эмигрант не оставлял неоплаченных долгов и прочих обязательств. На практике, однако, смысл его сводился к тому, чтобы заклеить лиц, давших разрешение, как политически нежелательных, нелояльных и таким образом подлежащих наказанию. Отказ дать разрешение мог усложнить эмиграцию, а иногда и сделать ее невозможной. Правда, на практике этот отказ не всегда имел решающее значение. Здесь, как и вообще в советской юридической сфере, царил простор для произвола и непредсказуемости.

Как я понял, Р.А. и И.З. были не в восторге от перспективы Нининого отъезда, так как он означал разлуку навсегда — разве что они сами эмигрируют. Но они не хотели становиться на пути у взрослой дочери. Поэтому И.З. подписал требуемую бумагу, и в декабре Нина с мужем эмигрировали.

Ленинградские друзья, знавшие систему лучше меня, понимали — как, я уверен, понимал и И.З., — что, дав Нине чисто формальное разрешение уехать в Израиль, он поставил под удар свою работу и вообще положение в советском обществе. Расплаты долго ждать не пришлось. Зимой 1976 го-

да И.З. вызвали в администрацию Пушкинского Дома. Там, как я помню из его рассказа, начальство устроило ему выволочку за то, что он «навлек на нас этот позор». Вместо ответа он задал вопрос — совершенно разумный в нормальной стране: что позорного в желании отца помочь дочери? Через несколько дней в Пушкинском Доме состоялось официальное слушание дела И.З. Насколько мне известно, коллеги по сектору, с которыми он проработал бок о бок почти два десятилетия, решили дело тайным голосованием. За И.З. проголосовало меньшинство. В результате его уволили за «моральный облик, несовместимый с ролью советского деятеля культуры». Формулировку привожу приблизительно, но слова «моральный облик» запечатлелись у меня в памяти.

Трудно выяснить, на каком уровне и в каком именно учреждении было принято решение уволить И.З. В ленинградском парткоме? В ленинградском отделении КГБ? Была ли у сотрудников и администрации Пушкинского Дома какая-то свобода выбора? В Пушкинском Доме работало много по-настоящему талантливых ученых, пользовавшихся известностью и за пределами академических кругов. Если бы они энергично отстаивали И.З. как незаменимого сотрудника, возымело ли бы это действие? Ответов на эти вопросы у меня нет. Но что бы ни думали про себя его коллеги, никаких решительных попыток помешать увольнению, насколько мне известно, предпринято не было.

И.З. подал апелляцию в Москву, но тамошние чиновники, ставленники брежневского режима, ответили, что не видят оснований отменять постановление своих ленинградских коллег. На практике это означало, что И.З. не только уволен из Пушкинского Дома и тем самым лишен средств к существованию, но что его жизнь в СССР как выдающегося ученого кончена. Неясно, смогла ли бы дальше печататься Р.А., но, учитывая сталинистскую тенденцию, столь ярко проиллюстрированную увольнением И.З., возлагать «вину» на ближайших родственников, в это плохо верится.

Все случившееся с Серманами после Нининого совершенно законного отъезда из Советского Союза наглядно показало специфический характер репрессивности позднесоветской бюрократии. В сравнении с пятилетним принудительным трудом в сталинские времена увольнение кажется не такой уж жестокой мерой. На этот раз людей не сажали в тюрьму, не требовали, чтобы они покинули Советский Союз. Однако тут, безусловно, действовал принцип коллективной вины и коллективной ответственности — принцип, полностью нарушающий священные права личности. К тому же нельзя не предположить, что здесь, как и при их аресте в 1949 году в рамках борьбы с космополитизмом, главным фактором был официальный антисемитизм.

Я прекрасно понимал, что советский режим с полным безразличием относится к соблюдению элементарных предпосылок нормальной жизни

и к западным понятиям о справедливости. И все-таки то, что произошло с И.З., потрясло меня до глубины души. Дело было даже не в самом постановлении, а в бессильном молчании окружающих, на глазах у которых произвольно оборвали профессиональную деятельность одаренного и плодотворного ученого. Я как будто видел в действии некий неумолимый закон, стихийную силу, против которой протестовать было бы не только бессмысленно, но попросту глупо.

\* \* \*

В июле 1976 года, к концу моего второго пребывания в Ленинграде, Серманы пригласили меня на дачу в Зеленогорск. Там собралась вся семья: И.З., Р.А., Марк с Наташей и их дочка Саша. Я предвкушал тихое воскресенье с прогулками по пляжу и разговорами, но застал их в страшном волнении. Они наперебой кинулись рассказывать о том, что неделей раньше террористы похитили израильский пассажирский самолет, и о сенсационном спасении израильтянами заложников, которых удерживали в Энтеббе (об этом только что сообщили по Би-би-си). Я понятия не имел ни о похищении, ни о налете на Энтеббе, но, как и они, не мог сдержать радости, ибо спасение заложников означало для всех нас победу цивилизации над варварством.

Ни Р.А., ни И.З. ни разу ни словом не обмолвились о возможности своей собственной эмиграции. Но в тот воскресный вечер, когда я уже собирался уезжать, Наташа захотела поговорить со мной наедине, и мы вместе пошли на станцию. В мягком, приглушенном вечернем свете я услышал, что они с Марком думают эмигрировать и она хочет узнать от меня, смогут ли они устроиться в США. Поставленный перед необходимостью прямо ответить на прямой вопрос, сознавая, что беру на себя большую ответственность, тщательно подбирая слова, я сказал, что не уверен, что они будут счастливы в эмиграции и что пробить себе дорогу в новой стране — дело нелегкое. С другой стороны, в США живет неплохо, продолжал я, и мне известно, что многие эмигранты обрели там новую, хорошую жизнь. Одно я мог обещать им: что у них будет там верный друг.

\* \* \*

В конце 1976 года И.З. и Р.А. уехали в Израиль. Позднее туда же приехали Марк с Наташей и Сашей. Еще через несколько лет, после рождения второй дочери, семья Марка переехала в США.

Для И.З. и Р.А. выбор Израиль был делом совершенно естественным. Во-первых, сразу по приезде они становились гражданами страны, а почему это для них имело такое значение, понять легко: ты сразу превращаешься в полноправного члена нации и обретаешь юридические права, причем не временные, а постоянные. Во-вторых, в Израиле у них было

множество друзей и коллег, и израильское общество умело ценить по достоинству их культурные достижения и возможности. Для И.З. это означало перспективу преподавательской и исследовательской работы в Иерусалимском университете. Наконец, пребывание в Израиле позволяло им уезжать на временное житье в другие края. И.З. и Р.А. почти 30 лет широко пользовались этой возможностью и подолгу жили и работали во Франции и США.

В начале 1978 года мой научный руководитель, профессор Колумбийского университета, крупный историк Марк Раев, организовал для И.З. тур лекций в американских университетах. Меня необыкновенно тронуло его благородное стремление поддержать И.З, несмотря на их мимолетное знакомство много лет назад в Пушкинском Доме. Ведь так легко было бы ничего не сделать и придумать для этого кучу оправданий! Именно благодаря ему американские слависты оказали И.З. и Р.А. такой теплый (и полностью заслуженный) прием.

Я, как и прочие университетские преподаватели, горел желанием пригласить И.З. и Р.А. к себе в Тулейнский университет, и в конце весны они приехали в Новый Орлеан. Здесь И.З. прочел по-русски лекцию о русской литературе XVIII века, а Р.А. не только прочла лекцию о женщинах-писательницах послесталинской эпохи по-английски, но и без переводчика поговорила с моими студентами, чем, понятно, была очень горда. Мне запомнился из ее выступления один забавный момент. Отвечая на вопрос о том, как народ отреагировал на смерть Сталина, она рассказала, что всеобщий взрыв горя дошел даже до концлагеря, где женщины-заключенные плакали, стоя за колючей проволокой. На этом месте И.З. негромко сказал: «В мужском лагере никто не плакал».

Мне страшно хотелось хоть как-то отплатить Серманам за гостеприимство, оказанное мне в ленинградские годы. Мы осмотрели все туристские достопримечательности Нового Орлеана, от Французского квартала до так называемого района Садов, и побывали в лучшем ресторане города. Р.А. этот город, вскормивший множество писателей, интересовал необыкновенно. Она читала Фолкнера, Уокера Перси и даже каких-то малоизвестных авторов, которых я не припомню, но больше всего с Новым Орлеаном у нее ассоциировался Теннесси Уильямс. Как все, кто здесь не жил, она не знала, что «Желание» — это название реального городского района и что «трамвай “Желание”» существовал на самом деле. Теперь он, правда, уже не ходит, но благодаря пьесе Уильямса его вагончик стоит на одной из улиц Французского квартала как музейный экспонат.

И.З. и Р.А. интересовало, есть ли в городе музей восковых фигур. Он есть, и экспонаты его образуют серию ярких картин, иллюстрирующих ту или иную страницу истории города. Кроме того, в музее был кондиционер, спасавший от начинавшейся летней тропической жары. Но в основном мы

подолгу сидели за чайным и обеденным столом у меня дома и разговаривали, причем разговоры наши, как правило, сворачивали на близкие всем нам российские темы.

После сермановской эмиграции выделись мы нечасто, но связь между нами не прерывалась благодаря переписке и периодическим приездам. Например, весной 1981 года Р.А. снова прочла несколько лекций в Тулейне, а осенью 1995 года они приехали в Новый Орлеан уже вдвоем. Я сам дважды приезжал в Нью-Йорк на уик-энд и виделся с ними у Марка и Наташи. В 1981 году, когда И.З. был стипендиатом Института Кеннана в Вашингтоне, я приезжал к ним на День благодарения и еще дважды навещал их на даче под Нью-Йорком, в Катскильских горах, где они обычно жили летом с внуками.

\* \* \*

Выбрав эмиграцию, Р.А. и И.З. твердо решили ни на что не жаловаться. Люди, общавшиеся с ними в те годы, вспоминают об их умении сохранять веселость в самые трудные минуты, о том, как категорически они отказывались играть роль жертв или мучеников. Иногда доходило просто до невероятного. Например, И.З. перед отъездом отправил с кем-то на Запад штук пятнадцать своих рукописных статей. Статьи каким-то образом пропали, а дубликатов у него не было. Для ученого это тяжелейший удар. И.З. был, безусловно, огорчен, но не сломлен: он сказал, что напишет статьи заново, лучше прежнего.

Думаю, именно из-за этого стоицизма многие не понимали, насколько болезненным для него было увольнение из Пушкинского Дома. Быть безвинно изгнанным из общества коллег — страшное оскорбление. То, что Р.А. и И.З. с честью вынесли это испытание, говорит об их поразительной внутренней силе, но не следует думать, что это далось им легко.

Они, разумеется, понимали, что эмиграция не только несет с собой тяготы, но и открывает новые возможности. Для И.З. это была прежде всего возможность писать об истории литературы так, как он считает нужным, без принуждения. Никогда не забуду, как в первый его приезд в Новый Орлеан я, проснувшись очень рано, обнаружил, что он уже сидит за столом в столовой и всю работу над планом книги о Ломоносове. (Книга вышла в свет в 1988 году в Иерусалиме.)

Статьи и книги, написанные И.З. в эмиграции, внесли богатейший вклад в русское литературоведение и историческую науку. Достаточно упомянуть его книги о Лермонтове и Карамзине и важнейшую его роль в качестве одного из авторов семитомной «Истории русской литературы» на французском языке, не говоря уже о множестве статей и докладов. Его мемуарные заметки, в том числе воспоминания о ГУЛАГе, являются жиз-



**Р.А., И.З. Серман, Нина Ставиская (Серман), Сэм Реймер, Марк Серман  
в Зеленогорске. 1969 г.**

ненно важными источниками для историков, занимающихся русским бытом XX века. Благодаря переезду на Запад труды его стали широко известны среди западных ученых. Теперь же многие его статьи, а также книги о Лермонтове и Карамзине опубликованы и в России.

Р.А. была необыкновенно общительна и всегда стремилась установить с людьми сердечные отношения, будь то в Израиле, во Франции или в США. В свои встречи и беседы с американскими студентами она вкладывала ту же страстность и энергию, что и в Ленинграде. Постепенно она стала вполне хорошо говорить по-английски, и это позволяло ей общаться со студентами без переводчика, чем она особенно дорожила. У меня в университете ее лекции слушались с восторженным вниманием.

Приезд Р.А. на Запад пришелся на эпоху расцвета женского движения, поэтому слушателям хотелось побольше узнать о том, что было в России главной темой ею написанного, — о жизни женщин. Кроме того, у нее за плечами был не просто опыт советской жизни, но и пятилетнее заключение, что давало ей возможность авторитетно оценивать появлявшиеся тогда книги о лагере, особенно женские.

Но главной профессиональной задачей Р.А. в эмиграции было писать, и писать хорошо. Она всегда стремилась уловить психологическую основу и внутренний драматизм повседневного существования, ибо понимала, что вещи роковые и из ряда вон выходящие, как правило, являются нам в повседневной одежде. Она наблюдала и фиксировала таящийся в этой повседневности эмоциональный заряд: тревоги, конфликты, мелкие компромиссы — и страх, бушевавший нас, когда мы приближаемся (вольно или невольно) к поворотному моменту.

Писателю с таким интересом к быту необыкновенно важна достоверность языка и места: это для него, с одной стороны, источник вдохновения, а с другой — ключ к сердцу читателя. Поэтому для Р.А., чьи произведения особенно много говорили русскому советскому читателю, понимавшему ее образную структуру, эмиграция могла стать серьезным творческим препятствием. Это препятствие она преодолела: в эмиграции написаны и опубликованы четыре сборника ее рассказов и мемуаров. Из них я больше всего люблю блестящий автобиографический рассказ «Элизабет Арден», где изображена политическая атмосфера Ленинграда времен антикосмополитской кампании конца 1940-х годов и одновременно описываются ее собственные переживания в недели, предшествовавшие аресту. Рассказ сильно и тонко отображает сложнейшую проблему еврейства и государственного антисемитизма позднесталинской эпохи. Если бы вам было позволено прочесть только одну вещь на эту тему и хотелось понять не только что происходило, но что переживали жертвы эпохи, настоятельно прошу: прочтите «Элизабет Арден».

\* \* \*

Несколько лет тому назад, после урагана «Катрина», наводнение, вызванное прорывом новоорлеанской дамбы, принесло городу неисчислимые бедствия. Было унесено множество жизней, причинены громадные разрушения. Наш с женой дом стал непригоден для жилья, а библиотека, которую я собирал всю свою жизнь, погибла. Пережить эту потерю было трудно, но я внезапно вспомнил, с каким стоическим достоинством И.З. и Р.А. встречали выпавшие им на долю несчастья, и это придало мне сил. Разбирая остатки того, что было раньше моим домом, пытаюсь хоть что-нибудь спасти, я вдруг увидел, что их книги уцелели. Казалось, в эту тяжелую для меня минуту оба они стоят рядом со мной, указывая путь в будущее.

*Новый Орлеан,  
США*

*(Перевод Н. Ставиской)*

*Александр Горфункель*

## **Я часто бывал в этом доме...**

Я познакомился с Руфью Александровной Зевиной (тогда она еще не приняла псевдонима Зернова, ее литературная карьера была впереди), женой моего двоюродного брата Ильи Захаровича Сермана, вскоре после их возвращения из эвакуации.

Одно из первых (вероятно, далеко не первых), но запомнившихся мне впечатлений — ее работа над переводом какой-то английской пьесы (не помню ни автора, ни названия; вероятно, она не была ни поставлена, ни напечатана). Она сидела за машинкой, перед ней лежала книга или журнал, и прямо с английского текста она и переводила. Я знал о ее лингвистических способностях, знал, что она свободно говорила на нескольких европейских языках, но чтобы так, сразу, находить русский эквивалент литературному тексту — это меня потрясло. Это гораздо позже в кругах переводчиков с языков «народов СССР» появилось выражение «переводить с азербайджанского на сберкнижку», но здесь ни о какой сберкнижке речи не было... Тогда я уже знал о ее блистательном знании испанского и французского языков; о том, как она говорила с Генрихом Беллем по-немецки, узнал много лет спустя, в совсем другую эпоху, как и об ее итальянском языке. Переводы с английского, выполненные Р. Зерновой или под ее редакцией, появились много позднее, в Израиле (Эли Визеля, Голды Меир, В. Жаботинского).

Я часто пользовался книгами из библиотеки на проспекте Добролюбова, 19. Какие-то книги принадлежали Илье Захаровичу Серману, но, кроме того, там находилась богатейшая библиотека по русской литературе XVIII—XIX веков отчима Ильи Захаровича литературоведа Ивана Ивановича Векслера, включавшая множество ценнейших экземпляров (я хорошо ее знал, так как весной 1940 года, будучи четвероклассником, по просьбе владельца составил карточный каталог книг). Но в это время меня занимали другие книги — в частности, сборник стихотворений Осипа Мандельштама 1928 года. Впервые с этой книгой я познакомился во время войны, в доме друзей моей матери в Москве, но здесь я мог пользоваться ею



безотказно. И в эти же годы Руфь Александровна дала мне несколько страниц, на которых были написаны неизданные стихотворения Мандельштама. Условие было одно: запомнить их, не вынося из дома. По тогдашней молодой памяти это далось мне легко. Стихи были: «Я скажу тебе с последней прямойой...», «Александр Герцевич», «За гремучую доблесть грядущих веков», «Я вернулся в мой город», «Сохрани мою речь навсегда...», «Я пью за военные астры», «С миром державным...», «Мы живем, под собою не чуя страны». Так они и остались в памяти, с конца 40-х годов. Там же узнал я и стихи Н. Олейникова.

Позднее, после возвращения Руфи Александровны и Ильи Захаровича из лагеря, пошли иностранные — французские — книги. Тогда и речи не могло быть об их переводе. Помню «*Personne ne m'aime*» Симоны де Бовуар, множество романов тогда еще совершенно в России неизвестного Ромена Гари.

Помню, как появились первые публикации Руфи зерновой — кажется, первая была в «Огоньке», потом и в других толстых журналах. Я не был среди первых ее читателей, то есть не читал ее рассказы и повести в рукописи, только позднее — те, которые не предназначались для печати, связанные с лагерными впечатлениями, их даже во времена «оттепели» печатать было нельзя. «Один день Ивана Денисовича» был единственным счастливым исключением, и он тут же был затоплен множеством фальшивых рассказов и воспоминаний, стремившихся снять произведенное им впечатление.

Я часто бывал в их доме (на проспекте Газа). Какие-то разговоры с Руфью Александровной запомнились. Как-то я рассуждал о нравах современной молодежи (мне было за 40 лет, и я считал себя вправе судить ее). Я сказал: «У них как. “Ты меня не любишь?” — “Нет. А ты?” — “Тоже нет. Пошли спать”». Она не задумываясь сказала о том, что было известно ей давно: «А потом они попадаются». Это когда приходит любовь.

Между тем выходили книги. Готовилась к экранизации повесть Руфи Александровны, но этому помешал отъезд в эмиграцию дочери Нины. Илья Захарович тогда говорил мне: «Я понимал, что меня уволят из Пушкинского Дома, но полагал, что хотя бы дадут доработать до конца курсового срока» — оставалось два или три года. Но не тут-то было: начальство Пушкинского Дома старалось выслужиться перед партийным руководством; впрочем, хватило и местной подлости. Когда Илью Захаровича вызвали на совместное, кажется, заседание парткома, месткома и дирекции и стали обличать его, он ответил (имея в виду тогдашний случай в Ленинградском университете имени Жданова, где сын одной из

партийных начальниц — прославившейся тем, что она была в числе народных заседателей, вершивших суд над А. Синявским и Ю. Даниэлем, — убил шофера такси, потребовавшего от него денег за проезд): «Моя дочь подала официальные документы в ОВИР и получила разрешение на отъезд, она *никого не убивала*». Но Илья Захарович, разумеется, был уволен из Пушкинского Дома, а у Руфи Александровны был расторгнут договор на экранизацию, а сама она была исключена из Союза писателей. Позднее ее «восстановили» в писательском союзе после распада СССР — об этой процедуре хорошо писал Ефим Григорьевич Эткинд; по мне так она сродни «посмертной реабилитации».

Книги Руфи Александровны Зерновой (помню одну из «Библиотеки “Огонька”» и две большие книги, вышедшие в Ленинграде) и И.З. Сермана (оттиски статей и книги, изданные в «Науке») я получал регулярно, с добрыми дарственными надписями. Когда мы переехали в Бостон, этот книгообмен возобновился. В 1996 году они приезжали в Новую Англию, останавливались у школьной подруги Р.А. (Евгении Абрамовны Марголиной), побывали и у нас. С Ильей Захаровичем Серманом мы встретились в Пушкинском Доме на Первых Лихачевских чтениях в 2000 году. Почти так же, как мы встречались там в 60-х и 70-х годах...

*Бостон, США*

*Вера Жирмунская-Аствацатурова*

## **«В ужасно шумном доме тети Руни...»**

90-е годы были смутными. Советская действительность ушла в прошлое, и, по-видимому, безвозвратно, постсоветская действительность еще только формировалась. Постепенно возвращались эмигранты: кто — насовсем, кто — в гости или на ежегодные конференции, понемногу набиравшие силу. Редакция журнала «Звезда» организовала цикл мемориальных вечеров «Былое и думы». В июне 1998 года в рамках этого цикла состоялся вечер памяти нашего отца, академика В.М. Жирмунского. Разумеется, мы, то есть я и моя сестра Аля, как наследники и члены семьи, принимали самое активное участие в организации этого вечера. Приехали в редакцию задолго до начала. Публика уже начинала собираться в зале. В ответ на мой заданный кому-то, обычный в таких случаях, светский вопрос: «Кто сегодня собирается быть?» — я неожиданно услышала: «Приехали Серманы! Представляете, в первый раз после отъезда...»

Я узнала их еще издали, только войдя в зал. Илья Захарович, несмотря на почтенный возраст, был так же бодр, энергичен, весел и изменился мало. Рядом с ним сидела очень пожилая седая женщина небольшого роста. Такой я ее видела впервые. Наши глаза встретились, и я увидела, что глаза были все те же — яркие, молодежавые, полные жизни, как когда-то, много лет назад, когда они, улыбаясь, смотрели на нас из-под шапки огненных, медно-рыжих волос, обрамлявших круглое, как солнце, лицо, обсыпанное озорными веснушками. Да, это была она — Ручь Александровна Зернова. Тетя Руня, как мы ее тогда называли...

С нашей мамой, Ниной Александровной Жирмунской (тогда еще Сигал), Ручь Зевина была знакома еще по Одессе, с 1934 года. Они учились в одном классе два последних школьных года. Спустя много лет мама рассказывала, что Руня перешла в их школу в девятом классе, потому что предыдущая ей разонравилась, и она сама (сама, а не родители!) в течение нескольких месяцев меняла школы, пока окончательно не остановила свой выбор на той, которая пришлась ей по душе. Потом обе они приехали в Ленинград в 1936 году поступать в университет, на филологический факультет (тогда это был еще ЛИФЛИ, впоследствии объединенный с филологическим факультетом университета). Мама поступила на француз-

ское отделение, а Руня — на немецкое. У них появилось общее окружение, общая компания. Дружбу с этими людьми обе они пронесли через всю жизнь. Ефим Григорьевич Эткинд, Владимир Ефимович Шор, Инна Яковлевна Шафаренко, Ахилл Григорьевич Левинтон, Лидия Михайловна Лотман, Григорий Юльевич Бергельсон, Юрий Давидович Левин, Георгий Владимирович Степанов, Георгий Пантелеймонович Макагоненко, Захар Исаакович Плавский... Их учителями были Александр Александрович Смирнов, Григорий Александрович Гуковский, Мария Лазаревна Тронская, Стефан Стефанович Мокульский, Михаил Павлович Алексеев, Владимир Федорович Шишмарев. Кафедрой западноевропейских литератур заведовал тогда наш отец — Виктор Максимович Жирмунский. Они дали своим ученикам прекрасное образование. И хотя времена были не из легких — в стране свирепствовал Большой террор, — атмосфера на филфаке была творческая. Рассказы об их светлой и счастливой студенческой юности мы, следующее поколение, часто слышали от многих из них в ту пору, когда они были уже солидными людьми средних лет. Вспоминаю один из этих веселых, анекдотических рассказов, услышанных мною от самой Руфи Александровны, и передаю так, как его запомнила: «На втором курсе мы должны были по физкультуре сдавать нормы ГТО по академической гребле. На лодочной станции инструктор сажал нас в лодку по двое, и каждый должен был грести по очереди. Меня посадили в лодку с Фимой Эткиндом. Какое это было замечательное плавание! Фима, естественно, греб один всю дорогу и развлекал меня разговорами. Когда мы вернулись, инструктор строго спросил: “Оба гребли?” — “Оба!” — быстро ответила я. Инструктор недоверчиво покосился на меня и спросил Фиму еще строже: “Она тоже гребла?” В ответ Фима покраснел, как девушка, опустил глаза и смущенно прошептал: “Нет...”»

А потом была Испания и интернациональные бригады, куда набирали добровольцев-переводчиков из студентов филологического факультета. Руфь Зевина поехала туда и там взяла псевдоним Зернова. Под этим именем она впоследствии вошла в литературу.

Во время Отечественной войны мама и Руня снова встретились в Ташкенте, в эвакуации. Туда в это же время приехал Илья Серман, демобилизовавшийся после фронтовой контузии. Там они с Руней и поженились в 1943 году. Мама рассказывала, что случайно встретилась с ними в ЗАГСе в самый затруднительный момент — у них не оказалось свидетеля для регистрации брака. Мама тут же взяла на себя функции свидетеля и таким образом «обвенчала» их. И когда через год, в декабре 1944 года, у них родилась дочка, они назвали ее Ниной в честь нашей мамы.

Часто бывал по делам в доме у Серманов в Ташкенте и наш отец — Виктор Максимович Жирмунский (отчим Ильи Захаровича И.И. Векслер должен был тогда защищать диссертацию в Ташкентском университете).

Из письма Виктора Максимовича Жирмунского к Нине Александровне Сигал от 16 декабря 1944 года из Ташкента в Москву: «Ниночку Серман я до сих пор не видел. Руфь Александровна немного болела по возвращении из клиники к своим родителям, но теперь здорова, как и ее дочка. Илья Захарович все время пропадает на их квартире, занят своими новыми обязанностями, и я узнаю о его семье только через бабушку и бабушку».

Естественно было бы предположить, что всю эту семью я помню с рождения. Это не совсем точно. С рождения я помню только Ниночку: ее приводили к нам в раннем детстве на дни рождения, на детские елки. Приводила ее обычно бабушка, Генриетта Яковлевна. А когда летом 1953 года (мне было тогда шесть лет) мы поехали в Одессу отдыхать, Ниночку отправили вместе с нами, как нам объяснила мама, «к ее брату Марику, который живет в Одессе у другой бабушки». Поразительно, что я, ребенок, не удивлялась тогда, почему Ниночка приходит только с бабушкой, а, например, не с родителями, почему ее родной брат живет в другом городе. Я считала, что, наверное, так и надо — взрослым лучше знать. Только спустя шесть или семь лет я узнала, *почему* их тогда не было и *где* они были в те годы.

А примерно через год после той поездки в Одессу мама сказала нам: «Сегодня к нам придут в гости Ниночкины родители — тетя Руня и дядя Илья». Так я впервые услышала их имена и познакомилась с ними. Помню, как тем же летом они оба пришли к нам в гости в Ушково, где мы снимали дачу неподалеку от моря, как я, семилетняя, сразу их узнала еще на дороге, как радостно выбежала навстречу и побежала сообщить старшим об их приходе...

Нам, детям, тетя Руня сразу понравилась, причем понравилась активно. Жизнерадостная, веселая, энергичная, никогда не падавшая духом, всегда модно и изящно одетая, всегда знавшая все последние новости литературного и окололитературного мира. С ней было всегда весело и интересно. Только через много лет, уже став взрослым человеком, я начала понимать, что за этой внешней светскостью и веселостью крылось глубокое, превосходное знание европейской литературы, и не только «дозволенной», классической, но и «не совсем дозволенной», модернистской. Летом 2000 года, когда мы видели ее в последний раз в Доме творчества писателей в Комарове, она разговорилась с моим сыном, читавшим в университете лекции по зарубежной литературе XX века, и спросила у него, каких авторов он касается в своем курсе. Когда он несколько осторожно сказал, что в качестве эксперимента знакомит студентов с творчеством Селина, она сразу радостно откликнулась: «Боже мой! Я с молодых лет так любила Луи Селина!» И тут же начала вспоминать подробности из его романов. Я про себя подумала: «Как! Селина? Да он же в те

годы был категорически запрещен!» Для нее не было «дозволенной» и «недозволенной» литературы, она жадно читала все, что ей казалось ценным. А за ее внешним оптимизмом стояла необыкновенно высокая сила духа, вера в человека, воля к жизни, позволившая ей сохранить себя как личность даже в сталинских лагерях, где она отсидела пять лет.

Вскоре после возвращения в Ленинград они переехали на новую квартиру у Нарвских ворот (а раньше жили на проспекте Добролюбова, на Петроградской стороне). Неподалеку от них, у Балтийского вокзала, жили наши ближайшие родственники, Сергей Михайлович Барский (тогда работавший на ленинградском радио) и его жена, Маргарита Давыдовна Слуцкая (оперный режиссер консерватории). Они были тоже дружны с Руней еще с довоенных, студенческих времен. Они стали бывать друг у друга в гостях. Приходили и Нина с Мариком. Мы все, тогда еще дети, школьники, часто присутствовали за этими дружными застольями, и нас тоже захватывала эта атмосфера веселья, оптимизма, радостных надежд. На дворе стояла «оттепель», железный занавес приоткрывался, приезжали на гастроли первые зарубежные театры, заявляли о себе новые поэты, появлялись новые литературные журналы и альманахи. Налаживалась и жизнь Серманов: Илья Захарович поступил работать в Пушкинский Дом, Руфь Александровна опубликовала в журналах свои первые рассказы и повести. Жизнь была ключом. Отголоски этой жизни витали в застольных разговорах, и мы, подростки, тоже невольно оказались в них вовлечены.

С конца 1950-х годов мы стали летом жить на даче в Комарове, а Серманы — в Зеленогорске. И здесь Руфь Александровна была душой общества. Они снимали дачу на Торфяной улице, неподалеку от железнодорожного вокзала. На той же даче жила Лидия Михайловна Лотман со своим семейством. На соседних дачах поселились Ахилл Григорьевич Левинтон, Борис Борисович Вахтин, Борис Леонидович Раскин, Владимир Ефимович Шор, Юрий Давидович Левин. Все, конечно, с семьями, у всех подрастали дети. Мы часто приезжали к ним тогда из Комарова и каждый раз, приходя к Серманам, встречали у них на веранде большое, шумное, дружное общество. Пересказывать подробности нет необходимости, так как все это описано в замечательной статье Ларисы Найдич. Скажу только, что неизменным центром всей компании была, конечно, все та же тетя Руня. Помню, году в 63-м Марик поступал в университет на восточный факультет. Поступить туда было непросто, конкурс был большой, до последнего момента было неизвестно, окажется ли набранный им балл проходным, и все, конечно, волновались за него. Когда все тревожения были уже позади и мы пришли к ним поздравить всех с благополучным исходом, нам показали великолепный капустник, посвященный этому поступлению. На нем, в частности, исполнили песню собственного сочинения, пародиро-

вавшую известную одесскую песню 20-х годов «В ужасно шумном доме дяди Зуя...». Звучала она примерно так:

В ужасно шумном доме тети Руни!  
Узнал сегодня весь народ,  
Что Марик занимался втуне  
И в университет не попадет...

Далее шли описания абитуриентских злоключений Марика, подробностей я уже не помню. Но первая строчка — «В ужасно шумном доме тети Руни» — врезалась в память надолго, потому что в ней, как в слогане, воплотилась вся атмосфера, окружавшая эту семью и весь этот дом в течение многих лет.

Еще чаще мы тогда встречались на пляже. В 1959 и 1960 годах лето было на редкость теплым, пляжным. Всей компанией они каждое утро шли на Золотой пляж, центральный пляж Зеленогорска. Спрашивается: ну что бы нам, отдохнувшим в Комарове, не ходить на залив там? Ведь близко... Нет, садились на автобус или на велосипед и ехали до зеленогорского Золотого пляжа. Охота пуще неволи. А почему? Да потому что там, на пляже, нас ждало замечательное общество во главе с тетей Руней, которая приходила туда очень рано, уже часам к девяти, «по-южному». Мы видели ее на пляже еще издали, махавшую нам шляпой. Подходили мы ко всей компании в разгар какого-нибудь разговора о литературных новостях, и каждый раз она приветствовала нас неизменным возгласом: «Здравствуй, дружок!»

В течение более сорока лет мы каждое лето отдыхаем на даче в Комарове, и нам, естественно, часто приходится по разным делам бывать в Зеленогорске. Но и теперь порой, когда я, уже сама немолодая женщина, подхожу к району Золотого пляжа, мне кажется, что я снова *приезжаю в то лето*. Не в то место, а именно в то лето, где мы бывали «в ужасно шумном доме тети Руни». И почему-то мне кажется, что сейчас она, сорокалетняя, моложавая, загорелая, в своей неизменной пляжной шляпе, в сарафане, окруженная веселой компанией, вот-вот вынырнет из аллеи, ведущей через зеленогорский парк, издали приветливо помашет мне, тринадцатилетней девочке, и снова произнесет: «Здравствуй, дружок!»

И в те же годы стала появляться в нашей жизни ее проза. Помню первый рассказ Руфи Зерновой, напечатанный, кажется, в журнале «Костер», — «Помидора». За ним последовали другие рассказы, а потом повести и романы. Запомнилась небольшая, но замечательная, пронзительная повесть «Скорпионовы ягоды». Минувшим летом я случайно наткнулась на эту маленькую книжку на даче (она подарила маме экземпляр) и перечитала ее. Удивительно, но повесть эта не устарела до сих пор, хотя прошло

45 лет и мы давно уже живем в другой стране. Тогда, в начале 60-х годов, по ней был поставлен телеспектакль, который мы видели. Кто играл главных персонажей, уже не помню, но постановка была очень хорошей. А еще через несколько лет я, уже студентка, а может быть, даже после окончания университета (мне помнится, что я уже к тому времени была молодой мамой), в один присест проглотила ее роман «Солнечная сторона». Потом были другие повести, рассказы, которые мы каждый раз сразу же прочитывали, как только получали журналы или отдельные издания, которые она неизменно дарила нашей семье.

Ее проза учила нравственным постулатам, вечным и неизменным при любом политическом строе. Ведь не случайно ближайшими подругами Руфи Зерновой были ее единомышленницы Фрида Вигдорова и Наталья Долинина, тоже писательницы и журналистки, которые в своих очерках тоже боролись за правду, за утверждение этических норм в человеческих отношениях. А когда в 1964 году начиналось постыдное «дело Бродского», то я впервые услышала об этом деле все из того же «ужасно шумного дома тети Руни». Мама пришла с ее дня рождения и рассказывала, что там за столом говорили об этом событии. «Все это, конечно, форменное безобразие, от властей другого и ждать не приходится, но какое нам, собственно, дело до злоключений малоизвестного молодого поэта, которого прекают тем, что он ушел со службы!» — сказал кто-то из гостей. «Нет, такие вещи так оставлять нельзя, — сказала она тогда. — Нельзя потворствовать несправедливости и беззаконию. Ведь такое может грозить любому». Это была высокая нравственная и гражданская позиция, которую она пронесла и через свою прозу.

...Маленькие дети играют на даче. Среди них — одна крошечная девочка, робкая, неуверенная в себе, на которую и внимания-то не обращают. И вдруг ее неожиданно принимают в общую игру. «Ты будешь знаешь кем? Помидорой!» Девочка рыжая, веснушчатая, очень похожая на спелый помидор. И это маленькое обиженное существо так радуется, что может, как все дети, принимать участие в общей игре...

...Старая крестьянка озлоблена на весь мир, прежде всего — на близких. В молодости она хотела быть богаче всех, властвовать, разбогатеть, заедать и унижать близких. Не получилось. Революция и советская власть отняли у нее богатство. С тех пор досада за несостоявшиеся планы властвования разрушала ее душу, поселила в ней ненависть, которая стала смыслом ее жизни. В Отечественную войну, когда в деревню пришли немцы, она донесла им на племянницу и ее возлюбленного, бежавшего из окружения солдата, спрятавшегося в доме. Молодой человек погиб, вскоре умерла и молодая женщина, а ребенок, девочка, остался сиротой. Родная сестра так и прозвала старуху — Скорпион. И вот Скорпион лежит в гробу, а сестра подходит к гробу и, как приговор, медленно произносит:



«Я прощаю тебе, сестра моя, что ты...» И вместе с этими словами уходит из дома атмосфера ненависти, злобы, бешеных амбиций. И сменяется атмосферой любви, надежд. И цветут яблони в саду, хоть и на дворе август...

...Молодой человек живет, окруженный любящими домашними и близкими. У него есть любимая девушка, почти невеста, мать души в нем не чает. А на сердце темно. Некоторое время назад произошло какое-то столкновение в тамбуре поезда, после которого человек выпал из вагона. «Жив ли он? Если погиб, я убийца». Как с таким грузом на душе жить дальше, улыбаться близким, устраивать свое личное счастье? Никому он не может сознаться в таком. И только незнакомой женщине Вале, с которой сталкивает его случай, он признается во всем...

...Юная студентка приезжает на каникулы на юг, к морю. У нее есть любимый человек, есть и другой воздыхатель, который тщетно добивается ее любви. И вдруг, неожиданно этого воздыхателя убивают у нее на глазах на ночной дороге. Подозрение, естественно, падает на счастливого соперника, которого арестовывают. Как спасти любимого человека, доказать его невиновность? Только одним способом — начать собственное расследование, найти настоящего убийцу. Но какие могут быть Шерлоки Холмсы в советской действительности, где все подчинено государству? Но если нельзя, но очень хочется, то можно. Если тебе нужно спасти любимого человека, то не помешает ничто. И в конце концов настоящий убийца найден и любимый освобожден...

И еще была чудесная детская книжка — «Рассказы про Антона». Антон — это младший сын Лидии Михайловны Лотман. В начале 60-х годов он был еще совсем маленький мальчик, намного моложе всех нас. На даче в Зеленогорске он рос на глазах у Серманов, у всей компании, «в ужасно шумном доме тети Руни». Это был чудный ребенок, все его любили, все хотели его нянчить, на пляже все его купали в море. С его детством связано очень много веселых, забавных эпизодов, которые впоследствии Руфь Александровна записала и собрала в этой замечательной книжке. Например, как приехали гости с гитарой, пели песни Александра Городницкого, а потом маленький Антон запомнил песни и тоже спел. Я сама до сих пор помню, как в этом «ужасно шумном доме» часто пели песни тогдашних бардов — Окуджавы, Городницкого, Галича. Чаще всего под гитару пела Нина, один раз я услышала, как пел Борис Борисович Вахтин...

А потом были очерки о гражданской войне в Испании. Конечно, по сравнению с гением Хемингуэя они, может быть, смотрелись скромнее. Но и они по-своему раскрывали все сложные человеческие отношения в горниле войны, где люди умели сохранять нравственные постулаты и человеческое достоинство. Помню, в 70-х годах в каком-то частном разговоре она сказала: «Мы сражались на стороне республиканцев, за свобо-

ду испанского народа, мы готовы были умереть. Но теперь я могу понять, что у каждой из воюющих сторон была своя правда».

Помню я и визиты Серманов к нам и в более поздние годы, когда мы стали уже взрослыми. Летом 1967 года, например, они пришли к нам на дачу в сопровождении Эммы Григорьевны Герштейн, приехавшей из Москвы, которая пришла к нашему отцу по ахматовским делам (отец готовил тогда сборник стихов Ахматовой, а Эмма Григорьевна знала много биографических сведений, нужных для комментария). Мы провели замечательный вечер у нас на веранде, обедали все вместе.

В январе 1971 года нашу семью постигло большое горе — скончался наш отец Виктор Максимович Жирмунский. Примерно в те же дни и Серманов постигла горькая утрата — в Москве скончался большой друг их семьи, писатель Александр Раскин. С ним и особенно с его женой Фридой Вигдоровой, их связывали многолетние дружеские отношения. Все мы часто видели дочь Раскиных Сашу на даче у Серманов, куда она приезжала погостить из Москвы. Я помню, как Серманы были на гражданской панихиде по моему отцу в конференц-зале Академии наук и прямо с похорон поехали на вокзал, в Москву, на похороны Раскина.

До самого своего отъезда из Советского Союза в 1977 году Серманы каждый год бывали у мамы на дне рождения 23 января. Руфь Александровна продолжала регулярно дарить нам свои книги, которых становилось все больше. Виделись мы в 70-х годах и в доме Барских. Подрастали внуки, и как-то раз, на дне рождения маленькой внучки Барских Кати, мы встретили Руфь Александровну с четырехлетней внучкой Сашей. Счастливая, сияющая бабушка ни на минуту не отходила от внучки, так что Сергей Михайлович даже шутливо заметил: «Ну что ты, Руня, не можешь ни на минуту оставить ребенка в покое! Дай ей спокойно поиграть с детьми». И тут впервые я увидела, как она серьезно посмотрела и вполголоса сказала: «Сережа, вы с Ритой — только дедушка и бабушка. А я — мать. Детство моих собственных детей было у меня отнято. Теперь моя внучка для меня — как дочка...»

В 70-х годах Серманы часто проводили лето в Доме творчества писателей в Комарове. Мы продолжали навещать друг друга, и в их номере по-прежнему было много гостей, было весело и шумно. После их отъезда в Израиль сведения от них приходили скудно, переписываться было сложно. Стороной мы узнавали, что Илья Захарович успешно работает в Иерусалимском университете, что Руфь Александровна перевела автобиографию Голды Меир и продолжает писать. Узнали, что Нина с Никитой поселились в Англии, а Марик с Наташей — в Америке. Что Руфь Александровна и Илья Захарович остались теперь в Иерусалиме вдвоем, но их дом по-прежнему — полная чаша.

После крушения советской власти появились надежды на скорое свидание. И вот, наконец, эта встреча в редакции «Звезды». Мамы давно уже не было в живых (она трагически погибла в 1991 году). Для нас с Алей тетя Руня появилась как воспоминание о маме. Через несколько дней мы с ней сели в такси и поехали к Барским (давно уже жившим в Купчино). Сергея Михайловича к тому времени тоже не было в живых, оставалась только Маргарита Давыдовна, уже старая и немощная. Я помню их встречу, как они обнялись, поцеловались и расплакались. Две очень старые женщины, дружившие с ранней юности, не видевшиеся несколько десятилетий...

А потом как-то через полгода, рано утром, в своей квартире я услышала телефонный звонок. Гудки были длинные, я поняла, что звонок междугородный, и поспешила взять трубку. «Это Вера?» — «Да», — ответила я, еще не узнавая. И вдруг в трубке раздалось знакомое: «Здравствуй, дружок!» Это была она, Руфь Александровна, звонившая из Иерусалима по делам моей сестры, художницы (речь шла о приобретении израильскими друзьями нескольких ее картин). Как я была рада снова услышать этот голос, как голос из прошлого... Руфь Александровна восстановилась в Союзе писателей Санкт-Петербурга. Теперь Серманы получили возможность отдыхать в Доме творчества писателей в Комарове, как в прежние годы. Два последних лета мы видели их там, они приезжали из жаркого Израиля в нашу северную прохладу. Мы сидели у них в номере, вместе спускались к заливу, разговаривали, вспоминали прежнее, делились новостями, в курсе которых Руфь Александровна была всегда. И конечно, в их комнате по-прежнему толпились гости. «Приедете к нам будущим летом?» — «Не знаю... Как получится. Хотелось бы».

Не получилось. Через год моя сестра с мужем поехали ненадолго в Израиль и собирались их повидать. Но буквально накануне визита они узнали, что Руфь Александровну сразила тяжелая болезнь, после которой она уже не вставала. Она болела несколько лет. Каждый раз мы спрашивались о ее состоянии у общих знакомых, приезжавших в Россию из Иерусалима, у Ильи Захаровича, тоже ненадолго приезжавшего на научные конференции, но каждый раз получали один и тот же ответ: «Все по-прежнему, улучшения нет». Хотя продолжали надеяться. Два года назад, осенью, мы узнали о ее кончине.

Прощайте, Руфь Александровна! Никогда уже больше нам не услышать вашего неизменного, милого: «Здравствуй, дружок!» Но вы по-прежнему с нами. Спасибо вам за все. За ваш неиссякаемый ренессансный оптимизм и жажду жизни. За то, что показывали нам, как надо выглядеть бодрой и сохранять присутствие духа в самых сложных ситуациях. За то, что ни разу в жизни мы не видели ваше лицо не только сердитым, но даже раздраженным, вопреки всем перипетиям вашей судьбы. За то, что с

нами, глупыми и маленькими детьми, вы разговаривали как с равными, с уважением. За то, что в вашем замечательном, «ужасно шумном доме» вы всегда были не только душой общества, но и образцом прекрасной жены, матери, бабушки. За то, что всегда имели собственное мнение и никогда не шли ни у кого на поводу, но при этом умели понять другого. За мужественную гражданскую позицию. За добрые, светлые книжки. За все вам спасибо, Руфь Александровна, наша дорогая тетя Руня!

*Санкт-Петербург,  
Россия*

*Антон Лотман*

## Тетя Руня

Об Иерусалиме мы знали множество, как оказалось позднее, ненужных сведений, главным образом почерпнутых из Булгакова. Единственным полезным фактом был заученный наизусть для конспирации адрес тети Руни. Я точно знал, что Руфь Александровна меня не прогонит. Писатель просто не в силах прогнать своего литературного героя (правда, и ожидать слишком многого тоже не надо). Ну, например: пришел бы к Толстому Левин или Иван Денисович зашел к Солженицыну. Поговорили бы о жизни, возможно, выпили бы. Тут я должен открыть маленький секрет: я являюсь героем одного из самых целостных произведений Руфи Зерновой, «Рассказов про Антона». Причем это произведение самое иллюстрированное из всего творчества Р.А., что мне представляется неслучайным. Я попал в литературные герои писателя Зерновой, наряду с Фридой Вигдоровой, А.М. Гольдбергом, Жаботинским, Наталией Долининой, Александром Грином, Валентином Катаевым и многими другими.

Мы познакомились с тетей Руней на даче. И сразу произвели друг на друга неизгладимое впечатление. Мне было шесть лет, и она казалась мне загадочной и строгой. Приезжавшие на дачу гости усиливали это впечатление. Они о чем-то спорили, видимо секретном, иначе зачем было прогонять меня спать. Взрослые курили, пили, пели песни под гитару, и мама требовала, чтобы я слова этих песен не повторял на улице. Дача была разделена на две половины, наша теневая и солнечная — Серманов. Почему-то их сторона оставалась солнечной, даже когда шел затяжной зеленогорский дождь.

Подходя к дому Р.А. на окраине Иерусалима, я волновался и тесно прижимал к груди бутылку водки «Кегелевич». «Мы пьем водку “Голд”», — строго сказала тетя Руня, нежно обняла меня и поцеловала в обе щеки. Квартира оказалась маленькая, уютная и очень петербургская. Книжки, граюры, таинственное шипение на кухне, даже телевизор вещал по-русски. На лестнице пахло гречневой кашей, но на столе нас ждали изысканные

закуски: хумус, селедка, настоящий черный хлеб, авокадо. Р.А. подала луковый суп, что меня совершенно ошеломило, я о нем читал только во французских романах. Как новые эмигранты мы ждали наставлений, как жить дальше, с чего начать, как не пропасть в этом чужом мире. После обеда Р.А., строго взглянув на мою жену, сказала: «Вообще-то современная женщина может себе позволить очень многое, все зависит от обстоятельств, но должны быть и какие-то границы. Никогда нельзя покупать дешевые косметику и обувь». С этими словами она принесла обувную коробку и вынула французские замшевые туфли. Илья Захарович смущенно пробормотал: «Я же знал, Рунечка, что ты не будешь носить эти туфли, когда мы их покупали в Париже». Илья Захарович, со своей стороны, подарил мне носки горохового цвета, объяснив, что в Израиле в апреле шерстяные носки не носят. Позже выяснилось, что гороховые носки приносят счастье. Я их надеваю в наиболее ответственных и опасных ситуациях, например когда эмигрирую в какую-нибудь очередную страну.

Советы Р.А. всегда отличались точностью, строгой требовательностью к исполнению и той простой особенностью, что их можно было выполнить с пользой для себя.

Как-то Р.А. спросила мою жену: «Ты мужем восхищаешься?» Моя жена пожалала плечами. «Обязательно надо восхищаться. Я вот Илеей Захаровичем восхищаюсь».

С тех пор мною восхищаются не только случайные знакомые, но и жена, хотя это и получается у нее как-то искусственно.

Помнится, я подвозил Р.А. домой из гостей. Она мне сделала замечание, что я плохо веду машину. Я очень гордился тем, как я ловко на скорости вхожу в повороты горного иерусалимского шоссе. Удивившись, я спросил: а как же надо водить? «А так, чтобы пассажиру рядом было приятно». Вот это «рядом приятно» всегда было при тете Руне. Как было чудно прийти в ее гостеприимный иерусалимский дом, запросто выпить с ее знаменитыми друзьями, слушая их ученые разговоры и, как в детстве, понимая совсем не все, играть в свою причастность к мировой науке и культуре.

Наш отъезд в Америку Р.А. не одобрила. Она была убежденным сионистом. Считала, что евреи должны жить в Израиле, любила и уважала свой народ больше, чем обаятельных бандитов, столь прославляемых прогрессивным человечеством. Мы считали, что этонесколько старомодно и даже смешно.

В Америке мы узнали, что Р.А. не стало.

Для литературного героя потеря автора невосполнима. Представляю себе, что мог чувствовать Стива Облонский, узнав о смерти Льва Николаевича Толстого: «Ах, как жаль, такой хороший был писатель! Никто уже не сможет так правильно меня понять, простить и полюбить».

*Орегон,  
США*

## **Особенный человек**

Я никогда не была близко дружна с Руфью Александровной. Между нами всегда существовала дистанция. Но это не мешало ей, когда только было возможно, стараться помочь мне. Да и была она такой редкостно яркой, такой блистательной, такой широко образованной и знающей человек, что любое общение с нею всегда было для меня радостью, ценностью и надолго запоминалось.

Я познакомилась с Руфью Александровной и Ильей Захаровичем примерно в 1957 году, когда Нина Королева, спросив у Серманов: «А можно я приду восьмером?» — привела к ним в дом нашу поэтическую компанию из ЛИТО Горного института. Среди этих восьмерых была и я. Первое мое впечатление от Руфи Александровны, и впечатление незабываемое, — это ее пение. Песни, которые она исполняла виртуозно, легко, почти незаметно аккомпанируя себе на гитаре. От нее я впервые услышала и лагерный фольклор, и песни Окуджавы, Высоцкого, Галича. У нее была собственная манера исполнения, которая не противоречила ни авторскому замыслу, ни даже авторскому исполнению, но те же песни звучали у нее совсем иначе. И, по-моему, во многом выигрывали. У меня еще и сегодня звучит в ушах «Леночка» Галича, как ее пела Руня.

Дает отмашку Леночка,  
А ручка не дрожит,  
Чуть-чуть дрожит коленочка,  
А ручка не дрожит.

Или буквально пронзающие «Облака»:

И по этим дням, как и я,  
Полстраны сидит в кабаках!  
И нашей памятью в те края  
Облака плывут. Облака...



Эти песни были для меня откровением — познанием истории, познанием судьбы и жизни старшего поколения, познанием сути истинного искусства.

Потом я уехала на Север, в Сыктывкар, в газету «Молодежь Севера». Бывала и на лесоповале, и на территориях тогда уже никем не охраняемых, пустых, но вполне сохранных бывших лагерей. В одном из них на письменном столе какой-то бывшей канцелярии я внезапно обнаружила официальные бланки подписки о неразглашении всего увиденного в лагере при выходе на свободу. И, держа в руках этот бланк, я снова вспоминала Илью Захаровича и Руфь Александровну. Именно о подобных местах своей работы не без иронии написала Руфь Александровна в сведениях об авторе на полях суперобложки одной из своих книг: «...она была и лесорубом, и учительницей, и землекопом».

Вообще-то Руня не любила говорить о своей жизни в лагерях, тюрьмах. Но кое-что при случае и рассказывала. Это случилось, когда я литературно обрабатывала, а по существу писала книгу воспоминаний старых большевичек. Очень многие из них прошли через лагеря, и эта тема не могла не возникнуть в наших разговорах. Я с удивлением спрашивала Руню, как же могло такое случиться, что даже в 60-х годах одни старые большевички говорят мне о других, что с ними надо быть очень осторожными и ни в чем им не доверять, поскольку они были раньше эсерками; что в Доме старых большевиков одни большевички подслушивают под дверями, о чем я беседую с другими. И Руня мне объясняла, что тут есть, очевидно, некая закономерность, поскольку она повидала немало людей, которые, размывая в лагере без малого двадцатку ни за что ни про что, тем не менее ухитрялись оставаться убежденными ленинцами-сталинцами и всех, кроме себя самих, полагали шпионским отродьем и самыми что ни на есть доподлинными врагами народа. Она объясняла это некоей защитной, неистребимой запрограммированностью сознания.

Рассказывала она мне и о лагерной тоске — тоске по воле. И в связи с этим — о том, что познакомилась в лагере с одной женщиной, которая сидела в камере с Марией Спиридоновой. Та говорила ей, что Спиридонова, которая при царском режиме была приговорена к пожизненной каторге, а потом оказалась в той же ситуации уже при новой власти, не раз повторяла, что самым счастливым днем в ее жизни был день в феврале 17-го года, когда заключенные Акатуйского централа вынесли ее на руках из камеры, вручили ключи и она открывала одну за другой двери камер и люди внезапно оказывались на свободе. На воле.

И еще рассказывала Руня, уже не без юмора, и такой сюжет. Когда ее только арестовали и втолкнули в битком набитую камеру тюрьмы при Большом доме, рядом с ней оказалась причитающая женщина. Ее забрали так внезапно, что она не успела отдать собранные ею профсоюзные членские взносы некоей Циле Моисеевне. «Что подумает обо мне Циля

Моисеевна!» — убивалась женщина. И вдруг открывается дверь, вталкивают очередную жертву — и радостный вопль: «Здравствуйте, Циля Моисеевна!»

Руфь Александровна знала о том, что готовится к выпуску в «Новом мире» повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Ожидала, когда повесть выйдет. Но о самой повести говорила, что Солженицын слишком мягко показал лагерь.

Через год с небольшим я вернулась в Ленинград уже не геологом, а журналисткой, очеркисткой. Принесла Руфь Александровне свои первые опыты в жанре документальной прозы. И тут уже открыла для себя Руфь Зернову — прозаика. Ее первый рассказ «Скорпионовы ягоды» появился в «Огоньке», а затем вышел отдельной книжкой в серии «Рассказы советских писателей». Эта маленькая книжечка — брошюрка с Руниной надписью «Милой Лине, с нежностью» — по сей день хранится у меня в специально выделенном ящике. И этот первый, еще в чем-то пробный рассказ Руни привлек меня тонкой, многоплановой разработкой сюжета, его двойным планом, двойным дном — под внешней оболочкой классовой борьбы в рассказе вдруг открывается семейная история жесткого, трагического соперничества двух сестер, так похожих друг на друга и таких разных, — история Каина и Авеля.

А следом вышли в свет книги «Свет и тень», «Длинное, длинное лето». С портретов светила нам Рунина сверкающая, обаятельная улыбка, внимательно смотрели большие, круглые, всегда требовательно чего-то от тебя ждущие глаза. И в этих книгах уже были по-настоящему берущие за душу, уверенно и умело написанные рассказы, такие как «Городской романс», «Сильва», да и другие. Я пыталась понять, как сделаны эти рассказы, чему-то в них научиться именно профессионально.

Руфь Александровна читала все, что у меня выходило, а иные вещи читала еще в процессе работы. Особенно помогала она мне с моей испанской повестью «А остальное — бутафория (Хроника испанской семьи)». Сама участница испанских событий, Руфь Александровна входила в круг и подлинных испанцев, живущих ныне в России, и советских участников Гражданской войны в Испании. Знала она и многих «испанских детей», с которыми тоже свела меня — в Москве, в Питере, в Риге. Только благодаря помощи Руфи Александровны я сумела собрать достаточно материала, чтобы написать эту повесть, задуманную мной как одну из цикла повестей по истории фашизма. Руня не раз и даже не два прочла повесть, до того как я отдала ее в редакцию журнала «Звезда».

— Почему у вас здесь написано «деревья»? — укоряла она меня. — Никаких таких абстрактных деревьев в документальном повествовании быть не может. Каждое дерево имеет свое название, свой облик. И еще — откуда у вас здесь появилась береза?! Никаких берез в Испании нет. — Но я читала... — Значит, вы не то читали. Уберите березу. Уточните все дета-

ли. Все названия. Вы должны зримо, ощутимо представлять, видеть, чувствовать все, что у вас здесь названо.

Все это я сделала. Повесть получилась настолько точной в деталях, такой убедительной фактологически, что, к моему глубокому сожалению, мой герой, испанский крестьянин, который ушел воевать в Народный фронт и у которого в Испании остались жена и дочь, воспитанная в презрении к отцу, прочитав повесть, вскоре скончался от инфаркта.

Но вот что хочу я здесь отметить. Повесть моя была не то чтобы просоветская, отнюдь нет, но она была написана о судьбах испанцев-республиканцев, изгнанных из страны, об их «украденной жизни», то есть она была против Франко и франкистов и за Народный фронт. Таков был и мой герой, такой была и Руфь Александровна, собственно, такими были и все «испанские герои» Хемингуэя и даже Фолкнера. Во всяком случае, такими я их воспринимала.

И, только побывав в Испании в 82-м году, я узнала, что испанцы считают Франко своим спасителем. Что он совсем не был таким жестоким диктатором. Что он не позволил уничтожить в Испании евреев и практически не дал стране воевать на стороне Гитлера во Второй мировой. Но все мы были детьми своего времени, жили при советской власти в советской стране и не могли даже вообразить, какие невероятные превращения способны совершать история и время с людьми и понятиями.

Помню и то, как мы обсуждали с Руней другой мой рассказ, «Осколок на память», о человеке, который компенсирует несложившуюся, неудавшуюся любовь преуспеванием в науке и технической карьерой. Здесь мы говорили о любви. И Руфь Александровна предостерегала меня от любых проявлений сентиментальности. (Очень она не любила все, что подпадало под это слово.)

— О любви надо писать, вообще не употребляя слова «любовь», — говорила Руня, — а в данном случае вряд ли можно говорить о действительной любви. Он не мог любить эту девочку за ее душу, поскольку совсем не знал ее души. Он мог любить ее только за то, что она была для него «генеральская дочь». Вот за эти самые кофточки, курточки, шапочки, каких не было ни у кого, кроме нее. Так к нему и следует относиться.

О том, что Руфь Александровна уезжает, я узнала случайно. На заседании секции прозы в Союзе писателей, совершенно для меня неожиданно, Руню вдруг даже не выдвинули в бюро секции. Я попыталась исправить, как я полагала, ошибку, подняла руку, но почему-то мне слова так и не дали. А сидящая неподалеку дама даже одернула, сказав, чтоб я не вмешивалась не в свое дело, когда не понимаю ситуацию.

— А какая такая тут ситуация? — поинтересовалась я.

— А такая, что ее дочка уехала в Израиль! — сказала дама, и я заткнулась. Да, это было преступление! В Комарове при мне некий известный писатель громкогласно отказался сидеть за одним столом с «предателями

родины». Так он отозвался о людях, про которых знал, что они подали документы на отъезд.

После заседания секции мы шли с Руфью Александровной по набережной Невы, и она рассказала мне, что после отъезда Ниночки Илью Захаровича уволили с работы, что ее перестали печатать и они действительно уезжают. Я от всего сердца поддержала это решение, ругательски ругая и обстановку в стране, и всю эту власть, и полное отсутствие светлых перспектив или хотя бы надежд на то, что здесь хоть когда-либо хоть что-то сможет измениться к лучшему. Сказала, что и я бы уехала, если бы не ситуация мужа — социолога, допущенного к секретной информации.

— Так вот как вы, оказывается, думаете, — спокойно и даже несколько прохладно ответила Руня. И я внезапно почувствовала, что уезжать она не очень-то хочет.

Я приехала к ним на проспект Газа проститься. В доме был полный развал. Руня разбирала книги, одни откладывала, другие упаковывала в ящики. Сказала, что упаковала и мои. Я рассказывала ей о моих последних московских впечатлениях, о знакомстве с Александром Израилевичем Шаровым и его окружением. Руня знала этих людей и, как ни удивительно, запомнила, о ком я ей тогда говорила. И уже позже, в Израиле, всегда передавала мне, если что-нибудь узнавала об этих людях и их новых и старых семьях от московских знакомых. В тот вечер на прощание мы выпили по бокалу вина за то, чтобы нам довелось когда-нибудь еще встретиться. Я тогда ни на что подобное не надеялась.

Но когда в 88-м году я оказалась на семинаре в Яд-ва-Шеме в Иерусалиме, то первым делом позвонила Руфи Александровне. И с отчаянно бьющимся сердцем услышала в трубке такой знакомый голос: «Берите такси и приезжайте».

Руня расспрашивала меня о московской «перестройке». А услышав, что я собираюсь перебираться в Израиль, сразу насторожилась: «Надо подумать, очень подумать. Что вы здесь собираетесь делать?»

Я сразу ощутила, что живут Серманы в Израиле очень скромно, скромнее, чем в Ленинграде. Стоял ноябрь, в доме было холодно, отопление не работало. Но Руфь Александровна не включала никаких отопительных приборов, только куталась в шаль — очевидно, из экономии. И все-таки говорила о жизни в Израиле, об Иерусалиме хорошо, очень хорошо. И это помогло мне принять окончательное решение. Хотя я действительно не представляла совершенно, что я здесь буду делать, на что буду жить.

Когда еще несколько лет спустя Руня узнала, что моя дочь Маша собирается уехать из Израиля в Америку, чтобы продолжать учиться уже там, она стала убеждать ее, что этого делать никоим образом не надо. «Нельзя уезжать из Израиля. Нельзя оставлять страну. Где вы найдете другую такую кафедру славистики! — говорила Руфь Александровна. — Да этот ваш Брауновский университет в подметки не годится Иерусалимскому! А раз-

ве можно сравнить культурную жизнь Иерусалима с этой американской скукой в Провиденсе или даже Бостоне!»

И, конечно, в этом была абсолютно права. Не было в мире другой кафедры славистики, где бы одновременно преподавали профессора такого уровня, как Илья Серман, Роман Тименчик, Елена Толстая. Но Руфь Александровна нередко умела совсем не видеть реалий действительности. В Иерусалимском университете за учебу надо было платить, и немалые деньги, которых у нас не было. А в американском Брауне Маша с первого года стала получать стипендию больше тысячи долларов.

Это все я говорю отнюдь не в упрек. Конечно, Руфь имела все основания страдать оттого, что способные люди уезжают из страны. Ведь она была национальным достоянием русскоговорящего Израиля. На ее юбилейном вечере в 99-м году в большом зале Культурного центра яблоку было негде упасть! Люди стояли на лестнице! И сколько добрых слов было сказано в ее адрес!

Она была выразителем чувств всей алии (эмиграции) 70-х годов, выразителем их восприятия того Израиля, в который они приехали. Их гордости за страну, ее историю. Гордости за ее несомненные будущие успехи! Ведь это Руфь Александровна перевела на русский книгу мемуаров Голды Меир. Ведь это Руфь Александровна одну из своих книг того времени, в которой были рассказы о разных странах — и о Франции, и об Америке, — назвала «Израиль и окрестности». И она не замечала, совершенно не видела, что Израиль меняется, уже переменялся. Не замечала новых, отнюдь не самых прекрасных особенностей жизни страны.

Не замечала она и возрастных перемен в самой себе. Во всяком случае, не хотела с ними считаться. Свою последнюю книгу «На море и обратно» она подарила нам с мужем с надписью: «Старым, но нестареющим друзьям». Это она написала и о себе. Она не позволяла себе никаких возрастных поблажек. Книгу «На море и обратно», в которой так много прелестных воспоминаний о молодости, о давней, далекой жизни Одессы, где с фотографии смотрит на нас Руня — совсем маленькая девочка, рядом с молодыми матерью и отцом, — она издала в 98-м году, а года через два уже заканчивала работу над следующей.

Может быть, именно эта ее непреклонная вера в нашу страну, эта негибкая жизнестойкость и позволили Руфи Александровне Зерновой оставаться в Израиле в течение тридцати лет — с полным правом — ведущей, главной, самой умной, самой серьезной и самой плодотворной писательницей из всех пишущих на русском языке.

Такой и сегодня живет она в нашей памяти.

*Иерусалим,  
Израиль*

*А. Раскина*

## **«Как вспомню московский перрон...»**

С чего начать? Для меня Руня была всегда, сколько я себя помню. Она гордилась, что я впервые пошла (в год) — ей навстречу. Руня вообще утверждала, что к ней дети «идут». Так пошел к ней сын Маши Эткинд — Давид, который все не ходил и не ходил. «Маша, — сказала Руня, — ему надо разрезать пути. Дай ножницы». Она разрежала воздух перед ногами Давида, и он пошел к ней навстречу. Маша подтверждает.

Похвастаюсь. Руня утверждала, что она детей не хотела. Но когда увидела меня, то захотела девочку. И, как известно, родила Ниночку в 1944 году. За Марика, рожденного в 1946-м, я уже никакой ответственности не несу. (Хотя именно с ним, черноглазым и черноволосяым, мы были похожи, как брат и сестра. Ирония судьбы.)

С Ильей Захаровичем Серманом мои родители дружили еще до войны, а с Руней (Руфью Александровной Зевинной, тогда еще не Зерновой) познакомились в эвакуации в Ташкенте. Туда же приехал с фронта после контузии и Илья Захарович. В Ташкенте они с Руней и поженились. Сама я про Ташкент ничего не помню: мы оттуда уехали в декабре 1943-го, когда мне было полтора года. Знаю, что жили впроголодь (не все, конечно). В Ташкенте был в то время Алексей Толстой, который получал какой-то баснословный паек. И.З. любит вспоминать, как папа мой говорил: «Если б меня кормили как Алексея Толстого, я бы писал как Лев!»). И Руня, и И.З. утверждали, что очень точно показан Ташкент военного времени в фильме Германа «Двадцать дней без войны».

Из Ташкента мы вернулись в Москву, а Серманы — в Ленинград, но обе наши семьи всю жизнь были близки так, как будто все мы ближайшие родственники, и то, что мы жили в разных городах, не было помехой. Мне всегда казалось, что все ленинградцы то и дело ездят в Москву и наоборот. Я была просто потрясена, прочитав переписку Пастернака с Ольгой Фрейденберг: так и не собрался он в Ленинград с ней повидаться. Да в чем проблема?!

Сама я впервые попала в Ленинград в 1948 году. Мне было шесть лет, папа поехал в командировку и взял меня с собой. Первый междугородний поезд на моей памяти. Все переживания и впечатления по этому поводу



**Фрида Вигдорова с дочерью —  
Сашей Раскиной**

описаны Житковым в «Что я видел». Добавлю только, что это была «Красная стрела», в купе кроме нас были еще Ираклий Андроников и «тихий еврей Павел Ильич Лавут», и Андроников потом всю жизнь, когда меня видел, вспоминал, что папа ел в купе апельсин, а мне давал на всякий случай, чтоб я не заболела, аспирин. При этом Ираклий Луарсабович всегда добавлял: «Аспирин пошел на пользу».

Самое яркое впечатление от похода в гости к Серманам был полуторагодовалый черноглазый Марик (в младенчестве Бубик). Помню его как сейчас в полосатой пижамке. «Бубик, — говорили ему, — сделай Сашеньке (Ниночке, дяде Шуре и т.д.) пай», что означало «погладь по голове». И Бубик делал пай, кому велели. А потом вдруг взрослые завопили: оказалось, что Бубик «делает пай» бутерброду с маслом!

Это была зима 1948/49 года. А 6 апреля 49-го Серманов посадили. У мамы в записной книжке-календаре за 49-й год я обнаружила на странице с датой 6 апреля вклеенную записку на оторванном куске конверта. Карандашом Руниным почерком написано: «Фридуша, сестричка, целую тебя. Помни нас. Спасибо за все». Когда Руня это маме написала? Успела в день ареста перед тем, как ее увели? Нет, она пишет в одном из рассказов, что не поняла, что ее насовсем уведут. Передала с сестрой Лялей на свидании? Прислала в письме? Не знаю...

Четырехлетняя Ниночка осталась с мамой И.З. Генриеттой Яковлевной (Генри) в Ленинграде, а двухлетнего Бубика (которого, надо сказать, мно-

гие, в частности Эткинды, предлагали забрать к себе) отправили к Руниным родителям в Одессу. Дети переписывались и летом встречались в Одессе. Руня потом горевала, что ее не послушали: она считала, что девочка пусть растет в веселой музыкальной, песенной Одессе, а мальчик — в тихой ленинградской квартире среди книг. «Ты не поверишь, — говорила она мне, — Ниночка была такая быстрая!» Не знаю, я была довольна Ниночкой и Мариком такими, какие они есть.

После того как посадили Серманов, ближайших друзей, мои родители ждали ареста каждую ночь, засыпали лишь под утро. Мама рассказывала, что однажды часа в два ночи они услышали гулкие шаги по лестнице: бух, бух, бух. «Шура, ты слышишь?» — шепотом спрашивает мама. А папа отвечает: «Это идут толпы восхищенных читателей». Мама засмеялась и сразу успокоилась. И уснула. И это при том, что мама, вообще говоря, ничего не боялась, а папа чего только не боялся — и простуды, и инфекции, и зубного врача, и что мы с мамой попадем под машину, и что я утону в речке... Но не пошутить — не мог.

Моей старшей сестре Гале сказали, что Серманов посадили («судебная ошибка»...), а мне — нет. Что сказали — не помню, но поскольку все-таки жили мы в разных городах, а разговоры о Ниночке, Марике и бабушке Генри не прекращались, то я как-то примирилась с тем, что тетя Руня и дядя Илюша куда-то подевались.

Осенью 49-го года Рунина сестра Ляля привезла к нам из Одессы пятилетнюю Ниночку. Я только пошла в первый класс, но все время в школе с нетерпением ждала того времени, как вернусь и буду общаться с Ниночкой. Очень худенькая, очень серьезная, не помню, чтоб она хоть раз улыбнулась. Ей отдали платье, из которого я выросла. Ниночка сказала: «Это платье — не из моего гардероба». Что еще помню? Тогда у всех весь день было включено радио, и самой модной песней была «Ах, Самара-городок...». Я, со своим полным отсутствием слуха, запела это, но Ниночка меня поправила: «Нет, не так. Вот как надо». Я с огромным уважением слушала эту такую маленькую девочку, которая знает, «как надо». И вот через сто лет читаю Рунин рассказ «Ах, Самара-городок...», как в том же году привозит ей Ляля на свидание Ниночку и та ее, Руню-то, с ее слухом замечательным, поправляет: «Ты не так поешь, надо как Лялечка!» И так мне это все вспомнилось...

С Ниночкой в следующий раз мы увиделись через пять лет, но связь между нами не прерывалась. Родители ездили в Ленинград постоянно, посылались туда и обратно письма, фотографии, книжки. Семейная легенда. Шестилетняя Ниночка жила с бабушкой летом на Всеволожской, на даче рядом с детской писательницей и маминой знакомой Сусанной Георгиевской. Мама все книжки Георгиевской Ниночке посылала, Ниночка их читала и любила («Бабушкино море», «Люся и Василек», «Папины часы» — кто помнит...). Вот познакомилась она с соседкой, разговорились, и в кон-



це концов уставшая Сусанна Михайловна сказала: «Знаешь, ты так много вопросов задаешь! У меня есть в Москве одна знакомая девочка — она очень на тебя похожа». «Сашенька Раскина?» — ничуть не сомневаясь, спросила Ниночка. Эффект был сильный.

\* \* \*

Летом 1954 года мы жили на даче в замечательном месте под названием Пески — недалеко от Коломны. Туда к нам приехали пожить бабушка Генри с Ниночкой. И там же мы все узнали об освобождении Руни и Ильи Захаровича. Они оба, с интервалом недели в две, должны были приехать из лагерей в Москву: И.З. — с Колымы, а Руня — с Дальнего Востока. Генриетта Яковлевна сразу поехала в Ленинград — ждать сына дома, а Ниночка осталась с нами.

Встречать И.З. пошли и мама, и папа. Поезд приходил в 6.40 утра. А надо сказать, что жили мы все в Москве в жуткой коммунальной квартире, в двух маленьких комнатах. Мама могла работать при шуме (газетная, журналистская закалка), а папа — нет. Он работал ночью, вставал очень поздно. Так что это была неслыханная для нас всех вещь, что папа встал так рано. (Когда же приехала Руня, тоже в 6.40 утра, то ее пошла встречать только мама, а папа — спал. Мама привезла Руню к нам домой. На двери «запроходной» комнаты, где спал папа, висела записка: «На заре ты его не буди!» И ведь вот что интересно. Руня потом, через много лет, говорила мне, что она приехала вся зажатая, неуверенная — как все будет, как себя вести, как ее воспримут, — и вдруг увидела эту записку, расхохоталась, и сразу все напряжение спало.)

И.З. вышел из вагона без шапки и без вещей. (У мамы в повести «Любимая улица» так же, без вещей, возвращается из лагеря один из героев. Друг спрашивает его: «А где же твои вещи?» А тот отвечает: «Не разбогател я там».)

Когда Руня стала петь под гитару лагерные песни, главная была «Магадан». Помните:

Я знаю, меня ты не ждешь,  
И в шумные двери вокзала  
Встречать ты меня не придешь:  
Об этом мне сердце сказало.

Папа написал «Ответ на Магадан» про приезд И.З. Привожу его здесь, потому что Руня почти всегда вслед за «Магаданом» пела «Ответ на Магадан» и Ниночка подпевала. Много с ним было связано, с этим «Ответом». Итак:

Как вспомню московский перрон  
И поезд из Дантова круга,  
Как мы окружили вагон,  
Встречая старинного друга\*.

Без шапки, презрев чемодан,  
Адамом он вышел из рая.  
Лежал позади Магадан,  
Столица Колымского края.

Ты с нами, ты снова живой.  
Богата земля чудесами.  
А то, что с седой головой, —  
Взгляни: мы такие же сами.

Ты вовсе еще не старик,  
Сумел ты поспорить с бедою.  
И вот он лежит, материк,  
И не окружен он водою.

Дождались и мать, и жена,  
Дождались и малые дети,  
Кому-то, как видно, нужна  
Еще справедливость на свете.

И знай, что мы ждали тебя,  
И в шумные двери вокзала  
Пришли мы в шесть сорок утра,  
Как справочное нам сказало.

Не нужно думать, что папа, который был все-таки профессионал, а не безымянный и безыскусный народный поэт, изначально выдал такую корявую рифму: «тебя» и «утра». У него было сперва «пришли мы, часы теребя», но мама воспротивилась: сказала, что можно так понять, что справочное велело нам теребить часы. И своей властью заменила это на «пришли мы в шесть сорок утра». Папа довольно легко согласился, но я огорчилась, что такая рифма неглубокая, и предлагала петь: «И вот мы дождались, ура!» (12 лет мне было). Но почему-то никто на это не пошел...

---

\* В 1990 году в «Неве» Е.Г. Эткинд напечатал статью, посвященную И.З., под названием «Во славу старинного друга». Я осторожно спросила: «Это не отсылка к папиному «Ответу на Магадан»?» Он ответил: «Да, наверно».

Уже на Западе, в конце 80-х, Руня делала передачу для радио Би-би-си «История Советского Союза в песнях»: революция, нэп, война, лагеря... Пела и «Магадан». И потом, уже когда мы увиделись с ней в Америке в 1991 году, огорчалась: «Как же я не вставила туда Шурин “Ответ на Магадан”! Ведь там было для него гнездо!»\*

И.З. приехал в Москву и, не заезжая к нам на дачу, чуть не на другой день отправился в Ленинград, где его ждала мать. А Руня сперва приехала в Пески повидаться с Ниночкой. Этому предшествовала вот такая драматическая история. Руня из лагеря все время писала, чтобы Ниночке отращивали косы. Хотела, чтоб она была «настоящей девочкой». Спрашивала: «Как косички?»

Ниночка приехала к нам на дачу с густыми длинными косами. И вот решила мама вымыть Ниночке голову. Но, видимо, после мягкой ленинградской воды вода, даже еще и не московская, а подмосковная, оказалась слишком жесткой, и волосы вдруг сваялись в колтун, с которым мама ничего не могла поделать. Чего только мы не пробовали! Мы с моим приятелем Егоркой бежали по всем дачам: собирали, у кого была, дождевую воду, и укуса добавляли, и еще чего-то — все зря! Мама плакала, Ниночка, тихо роняя в таз слезы, говорила: «Тетя Фрида, не плачьте, вы не виноваты, ну что же делать?..» Мама сказала: «Ты, Ниночка, очень добрая девочка, вот Сашка бы на твоём месте такой крик устроила!» Я немножко обиделась, но промолчала. Назавтра папа повез Ниночку в Москву в ЦДЛ, к парикмахеру, знаменитому, воспетому Андрониковым, Моисею Михайловичу Маргулису. Если и он не сможет ничего сделать, то хоть красиво подстрижет. Бедная Ниночка вернулась на дачу подстриженная, действительно красиво, но уж как мы все сокрушались насчет тети Руни, что не увидит она Ниночкиных кос! Прямо какая-то притча — мол, не стоит сосредотачиваться на внешнем, да? Косы, надо сказать, начали отращивать тут же, и через год-другой опять у Ниночки были две замечательных косы\*\*.

Девятилетняя Ниночка очень свою маму ждала, но беспокоилась. Спрашивала бабушку: «Бабушка, а вдруг я не смогу любить маму, как Лялечку?» И вот наступил день, когда Руня с моей мамой должны были приехать на дачу. Мы — Ниночка, моя сестра Галя и я — шли встречать их на станцию Конев бор». Накануне Галя говорила Ниночке: «Я тебя наряжу как куколку». «Нет, — возражала Ниночка, — как красивую живую девочку!»

---

\* В радиопередачу памяти Руни на Би-би-си редактор Наталья Рубинштейн включила «Ответ на Магадан». Пленки с Руниным исполнением не нашлось, но нашлась пленка, где эту песню поет моя мама...

\*\* Ниночка вспоминает в письме ко мне: «Мама не отступила и решила снова отращивать мне косы. Более того, она пожелала сама мне их заплетать. Поэтому каждое утро перед уходом в школу меня приводили к маме, которая еще спала, и она, практически не открывая глаз, мне их заплетала».

Я, конечно, понимала, что главной будет для тети Руни Ниночка. Но все-таки ведь и меня же она будет рада увидеть, правда? Но Руня сошла с поезда и, никого не видя, никого не замечая, сквозь нас всех прошла к Ниночке. Потом, когда через много лет мы вспоминали с Руней об этом, она сказала: «Что за глупости! Я прекрасно тебя видела и всех заметила!» Что ж, может быть...

\* \* \*

С тех пор Руня играла в моей жизни огромную роль. Я чувствовала, что я ей важна сама по себе, а не только как мамина дочка, — ей все было про меня интересно: моя жизнь, школа, подруги. Разговаривала она со мной всегда как со взрослой. Лет тринадцати я, уже давно разобравшись со Сталиным, какие-то иллюзии насчет Ленина питала, типа искандеровских чегемцев: человек, который «хотел хорошего, но не успел». Я спросила у Руни, как она думает, если б Ленин не умер так рано, что бы он делал. Подозреваю, что мне хотелось услышать, что уж с Лениным-то мы бы коммунизм построили. Руня сказала: «Я думаю, он перевел бы Россию на европейские рельсы».

Давайте перенесемся в 1955 год. Эта фраза была совершенно для меня необычная — по духу, что ли. Так со мной никто не говорил. Ее не мог бы произнести никто в школе, ее нельзя было нигде прочесть (никакого пока самиздата!) — не столько из-за содержания даже, сколько из-за способа выражения. Дело не в Ленине (я про него и забыла сразу!) — лексика была совершенно не советская: «Россия», а не «Советский Союз», и какие-то удивительные «европейские рельсы»... Было ясно, что эта фраза могла быть произнесена только очень свободным человеком. Для меня, шестиклассницы, это был, как бы теперь сказали, «крутой концепт». Я долго потом над Руниной формулировкой думала, она застряла у меня в голове, и что-то начало в ней сдвигаться в нужную сторону именно тогда.

\* \* \*

Думаю, что многие будут вспоминать о Руниной щедрости, как она любила делать подарки, снимала с себя и отдавала лучшие свои вещи. Была у нее теория: дарить надо то, что самой нужно. Теория у Руни подтверждалась практикой постоянно, в течение всей жизни: и в России, и в эмиграции. (А ведь это так непросто — следовать своим принципам, куда чаще сталкиваемся мы с позицией «Делай как я говорю, а не как я делаю».) Когда мне было лет восемнадцать-девятнадцать и одежек у меня было не так уж много, а мы с Руней были одного стройного размера, она вдруг ни с того ни с сего отдала мне замечательный темно-зеленый (ее цвет!) шерстяной сарафан с таким же жакетом. Царский подарок! Решил все мои проблемы. Сарафан можно было носить как таковой, с бусами — вечер-

нее платье! Или на блузку — в университет. Или с жакетом — и в пир и в мир. Лет десять я это все носила. Руня же, смеясь, мне рассказывала: «Галя Леонтьева спрашивает: где твой зеленый костюм? Я говорю: отдала Саше Раскиной. Она говорит: ты с ума сошла, он так тебе шел!»

Моя дочка Анюта до сих пор вспоминает, как они заново встретились с Руней в Америке. Анюта была уже взрослая, студентка — и вот нашла замечательного, квалифицированного собеседника, чтоб обсуждать свою любимую французскую литературу. В разговоре выяснилось, что Анюта очень любит Марселя Паньоля. Руня, как оказалось, тоже любит этого писателя. Она спросила, читала ли Анюта его трилогию: пьесы «Мариус», «Фанни» и «Сезар». Нет, Анюта этих пьес не читала и даже не слышала о них. Тогда Руня протянула руку, как фокусник, сняла с полки эти три книжки («случайно в кустах оказался рояль»...) — и тут же подарила Анюте. Ну предположим, книги, хоть и старые и давно не переиздававшиеся, — восстановимы. Но это настолько Руин жест: снять с полки — и подарить, снять с вешалки — и отдать! И уж если зашла речь о восстановимости книг, то вспомню, что Руня подарила одному своему другу, западному слависту\*, томик Ахматовой, надписанный ей, Руне, автором. Когда я это услышала, в пору было сказать, как Галя Леонтьева: «Вы с ума сошли!» Но я только ахнула.

\* \* \*

Думаю также, что многие женщины-авторы этого сборника напишут о Рунином даре понимать в любовных отношениях окружающих ее людей. В этом ей просто не было равных. Когда Руня только приехала в Москву из лагерей, она попросила маму, чтоб та ее повела к одной своей подружке, к которой они ходили перед самой Руниной посадкой. Как бы войти в ту же реку. Пришли они к обеду. У подруги в это время находился человек, моложе ее лет на двенадцать, которого она опекала. Пообедали там мама с Руней, посидели и ушли. Руня говорит: «Это — муж». — «Да что ты, — говорит мама, — она просто ему помогает, он неустроенный, выбитый из колеи, он сидел несколько месяцев — перед самой смертью Сталина». — «Нет, муж». — «Да с чего ты взяла?» — «Я видела, как она наливает ему суп». И, конечно же, Руня оказалась права, хотя увидела этих людей вместе впервые в жизни.

Не последнюю роль, думаю я, сыграла Руня в моем собственном браке. В 1960 году наша семья познакомилась с большой разветвленной семьей Вентцель: одни сплошные математики — диковинка для нас. Елена Сергеевна Вентцель еще тогда не стала И. Грековой, не напечатала ни одной нематематической строчки, первый ее опубликованный рассказ «За проходной» еще не был даже написан. Зимой 61-го пришли к нам в гости

---

\*Джерри Смитю.

Елена Сергеевна, сын ее Саша и дочь Таня с мужем Юлием Шрейдером. Гостила у нас тогда и Руня. Пришла моя подруга Галя Людмирская с мужем. Играли в стиховую чепуху: пишешь две строчки, заворачиваешь, чтоб не видно было, затем еще две строчки — в открытую и передаешь соседу. Он продолжает. Получаются очень забавные стихи со скользким смыслом. Саша Вентцель боролся за свои права, заявляя, что ему некуда приткнуться. Руня сказала: «Подумаешь, Чехов вообще писал на подоконнике». — «Дайте мне подоконник!» — воскликнул Саша. Очень был смешной и хороший вечер. Когда все ушли, Руня сказала: «Какой прелестный мальчик!» — «Кто?» — «Саша Вентцель. Как жалко, что Галя Людмирская уже замужем!» Это меня поразило в самое сердце: при чем тут Галя?! Я, я не замужем, это обо мне должна думать тетя Руня! Руня потом говорила, что сказала так нарочно, чтоб меня подтолкнуть. Не сразу сказка сказывалась, но где-то через год уже стало ясно, что мы будем жениться. Руня не могла успокоиться, так ей хотелось, чтоб это уже поскорее свершилось. Доходило до смешного: увидела я как-то у нее в Ленинграде изумительно красивый бледно-розовый шелк с темно-розовыми цветами. «Нравится? — спросила Руня. — Вот выйдешь замуж, я тебе его подарю». Что ж, пришлось выйти. Руня не обманула, подарила шелк, сшили мне из него платье, но как-то не осталось оно в памяти. А предыстория осталась.

Руня на этом не успокоилась, она теперь боялась (без всяких оснований!), как бы брак не распался. Когда я ей сказала, что моя ближайшая подруга говорит, что во всем мире, кроме своего мужа, могла бы выйти замуж еще только за двоих людей: во-первых, за Сашу Вентцеля... «Бог с ним, с Вентцелем, — быстро сказала Руня. — Кто второй?!» Но когда та с мужем разошлась и пару месяцев жила у нас в доме, она забеспокоилась: Руня мою подругу любила, но считала, что, свободная, она «подобна динамиту». Внушала мне, что это ни к чему. Я не слушалась: у нас была грудная дочка, мы с Сашей очень были ею увлечены, я ничего не боялась. Победителей (это я) не судят: наш с Сашей брак эти два месяца выдержал (а подруга моя, между прочим, через пару лет вышла-таки замуж за того, «второго», про которого быстро спросила Руня). Но теперь, когда жизнь «оказалась длинной» и я уже старше, чем Руня тогда была, я думаю: может, и имела она свой резон — в смысле, что не надо искушать судьбу. По крайней мере, всем всегда советую, если придется, подобной ситуации избегать...

Одного, правда, Руне простить не могу. (Могу, конечно, могу — это так, *façon de parler*.) В своих опасениях вот до чего она дошла. Один ленинградский молодой литератор (счастливо женатый, надо сказать), которого я всего-то у Серманов пару раз и видела, собрался по каким-то литературным делам на несколько месяцев в Москву и попросил у Руни наш

телефон. Телефон она дала, но сказала (совершенно на пустом месте!): имейте в виду, это прекрасный брак, обещайте мне, что вы не будете его — не помню, как она это сформулировала — расшатывать, что ли? И еще мне сразу же рассказала: мол, высоко сижу, далеко гляжу. Я была просто в ужасе: да как он к нам придет, да как я ему в глаза посмотрю! Оказалось, зря я беспокоилась. Мы тогда жили вместе с Еленой Сергеевной, уже давно И. Грековой, литератор приходил, Е.С. звала его в свою комнату, где часами они обсуждали литературные дела и ругали редакторов (литератор дал замечательную формулировку, которую Е.С. очень оценила, — удивительно, как редакторы всегда стараются убрать самое важное для писателя: бьют по гениталиям!), а потом все вместе пили чай на кухне, и литератор пересказывал очередной роман про Джеймса Бонда (фраза из «From Russia with Love»: «It's not kulturny!» — с тех пор закрепились в нашем обиходе). И так, казалось, это интересно и замечательно, Джеймс Бонд этот, а вот сколько уж лет мы живем в Америке, можем читать про него и смотреть кино с утра до вечера, а не хочется...

\* \* \*

Руня да и весь их дом очень украшали нашу жизнь. Все песни шли из их поющего дома. Не только лагерные песни, но и Окуджаву («Шарик улетел» и «Бумажный солдатик») мы впервые услышали у них: пела режиссер Наташа Трощенко, дочка героини первого Руниного напечатанного рассказа «Скорпионовы ягоды». Высоцкого впервые — тоже у них: Рунина подруга Галя Леонтьева пела «А тот, кто раньше с нею был». Даже Галича я услышала впервые от Руни, хотя она сама узнала его через маму: они пошли к нашей соседке по дому, переводчице Надежде Михайловне Жарковой, где он пел. Вернулись они оттуда под сильным впечатлением от его песен, и Руня сразу стала их мне петь: это были «Леночка» и «Облака». Потом мы возили в Ленинград катушки с записями песен Галича, и все Рунино окружение, половина (две трети?) «молодого Ленинграда», услышало эти песни у нее в доме. Ну и, конечно, Городницкого мы впервые увидели и услышали через Руню.

Летом 1963 года родители мои жили в Комарове в писательском Доме творчества. Мы с Сашей тоже поселились в Комарове, но все время торчали на даче у Серманов в Зеленогорске, где все были озабочены поступлением Марика на востфак университета. Я занималась с Мариком английским — он получил пять! (Теперь Марик, который живет в Нью-Йорке с 83-го года, говорит по-английски раз в десять лучше меня.) Но когда приезжал в Комарово Городницкий — обычно с женой, прелестной Владой, которую мы все любили, — приезжали и Серманы, Ниночка брала гитару, все про все забывали и туда бежали. Так что лето это прошло под знаком Городницкого и драматического поступления Марика.

К концу лета были написаны несколько смешных песен-пародий на Городницкого — для прощального с ним вечера в Комарове — и программа целого концерта в честь поступления Марика — в Зеленогорске. Саша, я и совсем еще мальчик, но уже зрелый литератор Гаррик Левинтон сочинили пьесу про Марика «Прометей неподкованный» и множество песен про него же, по мотивам блатных одесских песен («Сегодня шумно в доме тети Руни», «Там были девочки Лариса\*, Саша, Нина, / Их верный спутник Гаррик Левинтон» и т.д.), песен Городницкого («От меня не жди известий / Ты ни вечером, ни днем, / При полутора на месте / Голубым горю огнем») и песни Анчарова про обитателя Канатчиковой дачи «Балалаечку свою...» («Авторучечку свою / Из кармана достаю, / На Палатниковой [фамилия хозяина] даче / Эту песню я пою...»). Эти тексты остались только в анналах домашней истории, но все они были замечательные, ей-богу!

Что же касается пародий на Городницкого, спетых на том прощальном вечере, то хотя мы с Сашей и гордимся некоторыми из них (например, у Городницкого: «И только у негров нелегкая жизнь / На острове Яма-а-йка!» Мы: «Там теплое солнце на небе лежит, / И право, не видел я лучше края, / И лишь у евреев нелегкая жизнь / В госу-дар-стве Израиль!» — ох, как красиво Ниночка это пела...), но они всеми, кроме нас, забыты. Забыта и домашняя папина пародия на тему песни Городницкого «А не ревнуй меня». Городницкий: «А не ревнуй меня к девке зеленой, / А ты ревнуй меня к воде соленой... / А не ревнуй меня к соседке Райке, / А ты ревнуй меня к белой чайке» и т.д. по морским реалиям.

Папа:

А не ревнуй меня к Мейлах Мирре,  
А ты ревнуй меня к майне-вире.  
А не ревнуй меня к греху плотскому,  
А ты ревнуй меня к борщу флотскому.  
А не ревнуй меня к телу той рыбачки,  
А ты ревнуй меня к телепередачке.

И неожиданное заключение:

А не ревнуй меня к соседке Райке,  
А ты ревнуй меня... к соседке Ривке!

Так все и покатались, когда Ниночка это спела!

---

\* Лора Найдич-Лотман.



Но вот папины четыре строчки по «Канаде» (помните «Канаду»: «Над Канадой небо сине, / Меж берез дожди косые...»?) вылетели за пределы комнаты, где все это пела Алику Ниночка, и пошли по свету:

Над Пекином небо сине,  
Меж трибун вожди косые.  
Хоть похоже на Россию,  
Только все же не Россия.

Прошли годы, и Маша Эткинд пишет мне, что недавно она пришла на концерт Городницкого в Торонто и он исполнял «Канаду» и «Над Пекином небо сине» и поминал папу моего, а ей, Маше, казалось, что во всем зале только они с Аликом и понимают, о чем идет речь...

Так вот, дом Серманов. Кого мы только там не видели, чьи только стихи, песни, прозу оттуда не получали: Кушнера, Горбовского, Нину Королеву, Глеба Семенова, Лену Кумпан, Рида Грачева, Битова, Игоря Ефимова. Помню роман Ефимова «Зрелища». Очень сильное впечатление эта рукопись на меня произвела: такая там была атмосфера — таинственная, промозглая, ленинградская, петербургская... И совершенно-совершенно не советский был роман. Хоть Игорь и надеялся, но опубликовать его, конечно, нельзя было. Напечатать удалось только выжимки, под названием «Лаб-борантка». Потом уже, когда недавно я прочла «Зрелища» в «Звезде», то с ужасом обнаружила, что половины того, что я помню, там нет. Спросила у Игоря. Он сказал, что ни одного полного экземпляра рукописи не сохранилось после его отъезда, а остались какие-то куски, которые он и собрал для публикации. Вот тебе и «рукописи не горят»...

\* \* \*

Бродского мы в доме у Руни не видели и стихов его там не читали. Нам впервые дала его стихи Тамара Юрьевна Хмельницкая летом 1962 года. «Шествие» и еще что-то. А Руня — нет. Руня Бродского не любила. Ни как поэта, ни как человека. И не считала, что мама должна была его делом заниматься. Мама, когда приезжала на суды над Бродским, останавливалась, как всегда, у Руни, но, думаю, чувствовала Рунино раздражение. Руня считала, что Лидия Корнеевна Чуковская напрасно «втянула» маму в это дело: должна, мол, была ее побережь. Но Лидия Корнеевна тут не виновата: маму, конечно, все равно бы в дело Бродского втянуло, как в воронку, никуда ей было от этого не деться: и Ахматова просила маму (через Л.К.) этим заняться, да и Гордин ведь пишет, что, когда была напечатана статья о Бродском в «Вечернем Ленинграде», Эткинд и Меттер послали его к маме в Москву с письмом: вот, мол, что у нас в Ленинграде происходит. Оба они, и Эткинд, и Меттер, были тоже, как и мама, члены Союза

писателей, а Меттер еще и милицейские связи огромные имел, и, как известно, не самоустранились они от этого, а все делали, что в их силах, но вот ведь считали, что маму надо подключить обязательно. И в смысле защиты Бродского были правы, конечно. Мама же, если бы этим делом не занялась, может, прожила бы дольше. Но все равно как-нибудь, я убеждена, ее втянуло бы в эту орбиту. Руня так не считала и сердилась. От этого создавалось напряжение, которое прорвалось (можно так сказать?) самым драматическим образом.

Руня приехала в Москву, остановилась, как всегда, у нас. И такое вот стечение обстоятельств. Я в то время жила у Вентцелей и не очень помню, куда именно и почему мама ушла: факт тот, что ее не было вечером дома. Меня тоже не было. (Много позже Руня говорила мне: «Если б ты была тогда, ничего бы этого не произошло!») Сестра моя Галя была занята маленькой дочкой Наташей. В общем, Руня ощутила себя покинутой, взорвалась, как это с ней случалось (но на маму это раньше никогда не обрушивалось), забрала вещи и уехала к приятельнице, ничего никому не сказав и не позвонив маме. Мама ее еле разыскала, просила вернуться, но Руня отказалась.

Мама это переживала очень тяжело, как нож в спину, и в такое трудное для нее время. Перестали общаться только мама с Руней. Папа переписывался со всей семьей, мама — с Генри, Ниночка приехала летом 64-го года к нам в Тарусу, где жила мама с внучкой Наташей (отпустив Галю с мужем в поход), и мы с Сашей тоже приехали — мы все очень любили Тарусу. Осенью мама заболела, а в январе выяснилось, что у нее рак. Неоперабельный. Тут Руня перестала упорствовать (все-все задолго до этого уговаривали ее «остановиться, оглянуться...», но безуспешно), приехала в Москву, пришла к маме в больницу, они объяснились, и все у них вроде бы стало хорошо. Я придирчиво спрашивала маму: «Ты совсем ее простила? У вас теперь все — совсем как раньше?» — «Да, — говорила мама. — Совсем как раньше». Лидия Корнеевна в «Памяти Фриды» пишет, что мама ей по этому поводу сказала: «Я же не могу каждый раз ложиться под нож, чтоб друзья мне доверяли». Мне мама этого не говорила. Почему? Я думаю, она знала, как много Руня для меня значит, и хотела, чтобы Руня у меня осталась, когда ее не будет. И слава богу.

Главное, что Руня думала о маме, она написала в своем очерке «Портрет абсолютно прекрасного человека». (Чтоб снизить патетику, сообщу, что Довлатов писал Серманам в Израиль: «Кушнер говорит о Горбачеве с придыханием, как Руфь Александровна о Вигдоровой».) Но Руня поминала маму все время, примеряя ее к возникающим жизненным ситуациям. «Понимаешь, — говорила она мне еще в Москве, — иду я по улице и вижу Битова. Он несет огромную пишущую машинку и что-то еще. Несет с трудом, вот-вот у него все из рук вывалится. Я к нему подхожу, конечно, и

предлагаю помочь и что-то у него из рук взять, но чувствую себя при этом страшно неудобно». «Почему?» — удивляюсь я. «Ну как тебе объяснить? Он — мужчина, моложе. И вот лезу я к нему с помощью. Что-то в этом меня смущало. И Андрея — тоже. И я подумала: “Вот Фриде ничего бы такого и в голову не пришло. Совершенно естественно она бы подошла и помогла. И ни ей, ни Битову не было бы неудобно”. Или вот когда у Нади Жарковой умерла мама, которую она любила безумно. Мы идем с Фридой, а навстречу — Надя. Я заметалась: как быть, как себя повести, что ей сказать? А Фрида просто подошла к ней, молча ее обняла, и та у нее на плече заплакала. Вот Фрида всегда знала, как поступить, и все у нее выходило просто и естественно».

\* \* \*

Многие, наверно, напишут о Руниной необъективности, которую можно красиво назвать пристрастностью. Она придавала огромное значение красоте. Могла невзлюбить человека за голос: противный, высокий, хриплый — у кого как. То страстное увлечение какими-то новыми друзьями, то вдруг остывала она к ним. И.З. жаловался: «То “позовем Кешу, пойдём к Кеше, давно не звонили Кеше”». Только я привык и сам спрашиваю: «Руначка, позовем Кешу?» — «Да нет, пожалуй...»

Кеша — это, между прочим, Смоктуновский.

\* \* \*

Литературные Руины пристрастия — что касается классики, — насколько мне помнится, ни у кого протеста не вызывали. А вот что касалось современных авторов, то часто она знакомых и друзей раздражала резкими суждениями. Я уже писала, что она не любила Бродского: холодный, все от головы. По поводу Булгакова говорила: «Гимназическое образование». Все сходили с ума от «Одного дня Ивана Денисовича» (мы с Сашей привозили его в Ленинград летом 62-го года еще в рукописи), а Руня говорила: «Средний писатель». Не помню, сразу ли по прочтении «Ивана Денисовича» — нет, пожалуй, позже — она заявила, что Солженицын — антисемит. Что тут началось! Эткинды, в ту пору очень с Солженицыным дружившие, возмущены были безмерно, и только нерушимая дружба мужчин этих двух семей Эткиндов и Серманов не позволила произойти разрыву. А с Наташей Долининой Руня пару лет не разговаривала — изначально все из-за того же Солженицына.

Мне показалось тогда, что Руня перехватила — уж так прямо и антисемит. Но, конечно, и сама я, читая Солженицына, иногда вздрагивала и Руню вспоминала. Например, прочла я где-то в начале 70-х его «Крохотки». И там в рассказе «Пасхальный крестный ход» описывается, как идут верующие, а по бокам стоят деревенские парни, гогочут, матерятся. Сто-

ит и милиция — и ничего не делает. Солженицын по этому поводу пишет: «Евреев мы все ругаем, евреи нам бесперечь мешают, а оглянуться б добро: каких мы русских тем временем вырастили?» Меня прямо-таки заворожил этот общий себе и всему русскому народу упрек, и я всем кому не лень эту фразу пересказывала. Дошло до Лидии Корнеевны. Лидия Корнеевна, можно сказать, «вызвала меня на ковер». «Саша, — говорит Л.К., — мне передавали, что ты всюду говоришь, что Солженицын — антисемит. Это правда?» Я говорю: нет, неправда. Объяснила, как обстоят дела. Л.К. говорит: «Но как же ты не понимаешь — это не инклюзивное “мы”, это эксклюзивное “мы”. Ведь когда ты говоришь: “Мы ввели свои войска в Чехословакию”, — ты же не имеешь в виду, что ты тоже ввела туда эти войска». Я отвечаю: «А я не говорю, мы ввели войска в Чехословакию. Я говорю, они ввели войска в Чехословакию». Не очень-то нам удалось друг друга убедить.

Возвращаясь к Руне и Солженицыну, добавлю лишь, что из всех его произведений она ценила только «Архипелаг ГУЛАГ», считала это сильной и нужной книгой и замечательным, достойным всяческого уважения поступком. Однако на мой вопрос, как ей, непосредственному свидетелю, кажется, все ли в этой книге так, как оно и было на самом деле, — она ответила: «Видишь ли, например, в Москве каждую ночь, и сейчас, в эту минуту тоже, где-нибудь в парке или на окраине кого-то убивают или насилюют. Но если только об этом и рассказывать, это ведь не будет вся правда о Москве, так? Понимаешь, там очень все сгущено».

Бродским и Солженицыным дело не ограничивалось. Уж как все любили «деревенщиков»: Белова, Астафьева, Распутина! Посягнула Руня и на них. Говорила мне («Вам Белинский этого не говорил, а мне говорил...»): «Как же ты не слышишь: это харканье, это хеканье, эта ненависть к городу, к интеллигенции!..»

Уже не антисемитизм им в строку ставила — шире брала. И Серманы, и мои родители любили к случаю поминать формулировку, кажется, Тамары Мотылевой про Кочетова: он не антисемит, он мракобес более широкого профиля.

Прошло много лет, Руня уж давно была в Израиле, когда Наташа Роскина, жившая в соседнем с нами доме, позвонила как-то вечером и, ничего не объясняя, велела срочно зайти. У нее (на одну ночь, как водится!) лежала переписка Эйдельмана с Астафьевым. Астафьева я читать любила, «антиинтеллигентскость» его меня не смущала: я ценила его юмор в этом плане — до сих пор вспоминаю его рассказ, как не ко двору он со всей своей семьей пришелся на Новый год в Доме творчества писателей в Дубултах и как единственная доброжелательная к ним женщина представилась им: «Я — теща Лазаря Карелина». Так он потом в течение всего рассказа «тещей Лазаря Карелина» ее и называл.

И вот я читаю это полное злобы астафьевское письмо: «Свои у нас будут песни и танцы, свои комментарии к Лермонтову и Достоевскому... А что Ваш отец был в лагере, так это плата за то, что еврей Юрковский [sic!] расстрелял царскую семью...» (Если помните, Эйдельман ответил: царскую семью расстрелял не еврей Юрковский, а большевик Юровский.) В общем, так эта дикая злоба, исходящая от писателя, который был мне во многом — не подберу слова: созвучен, что ли? — оказалась для меня неожиданна, что я взяла и расплакалась. И потом не раздумала: Руня там, в Иерусалиме, небось, не плачет, переписку эту читая: никакой для нее неожиданности, все закономерно...

\* \* \*

Как складывалась собственная Рунина литературная судьба? Сперва расскажу о том, что в ней было связано с моей мамой.

Когда они познакомились, мама уже была опытным журналистом, а Руня еще и не начинала свой литературный путь, но читателем профессиональным и глубоким она была с юности и дала маме совет перед самой посадкой, когда мама писала свою первую книжку «Мой класс» — про молодую учительницу. Руня рассказывала мне, что успела прочесть первый вариант «Моего класса» и сказала маме: «Знаешь, ты обязательно должна ввести эпизод, где героине будет за что-нибудь стыдно». (Руня была убеждена, что стыд — это очищающее чувство. Очень впоследствии сердилась на Америку, где считается, что стыд — чувство негативное и его надо в себе изживать. Написала об этом в рассказе «Ах, Самара-городок...»: «И верю в стыд и в совесть, и в поговорку “ни стыда ни совести”, и даже в раскаяние, и — признаться ли? — не стыжусь этого. Хотя это не дает человеку чувства внутреннего комфорта».) И вот в лагере в библиотеке видит она только что вышедший «Мой класс», начинает его читать и доходит до следующего, нового для нее эпизода. Речь идет о первом послевоенном годе. Героиня повести Марина Николаевна не любит своего ученика, одиннадцатилетнего Савенкова: он груб, неопрятен, заносчив. Отец его погиб на фронте, семье приходится туго. М.Н. вместе с ребятами решает, кому дать ордер на ботинки. Кто-то говорит, что у Савенкова башмаки прохудились. Другой говорит: но у него двойки. М.Н. говорит: «Это неважно». Савенкову дают ордер на башмаки — он удивлен безмерно, не ждал: с двойками-то. И вот он приходит в школу в новых ботинках. На перемене он не вышел из класса. М.Н. заглянула в класс и увидела, что Савенков поставил ногу на батарею и вытирает новый ботинок носовым платком. Главка кончается словами: «Я осторожно закрыла дверь. Мне было глубоко, мучительно стыдно».

Руня рассказывала, что она это ощутила как подарок от мамы и была этим подарком счастлива.

Когда она вернулась из лагерей, мама связала ее с журналом «Юность». Руня ездила от них в командировки, писала для журнала какие-то очерки, а потом стала писать свое, и, слава богу, возлюбил ее «Огонек» (пусть и софроновский — вот Ахматова считала, что все равно где публиковаться) и стал печатать.

С конца 50-х годов пошли и у Руни свои книжки, а в начале 60-х мама и Руня даже соавторствовали: написали вместе пьесу под названием «Два звонка». Героиня пьесы Алена со всеми в ссоре: ушла от родителей к друзьям, от друзей еще куда-то, по-моему, пошла работать и жила в общежитии, но характер-то остался при ней. И кто-то ей рассказывает байку про ворон: вороны-вороны, вы куда летите? Да здесь люди нами недовольны: гадим мы им сверху на головы, вот мы в другое место летим. Вороны-вороны, а задницы с собой берете?

Руня говорила, что она в этой Алене себя видит, что у нее в юности был кошмарный характер одесской невоспитанной девчонки. Она сказала мне: «Меня всю жизнь воспитывали Илюша и Генри».

Пьесу приняли где-то там такое, где пьесы в СССР принимали. По-моему, было такое слово «репертком». Где-то в стране она иногда шла, и какие-то маленькие деньги время от времени капали. Но в Центральном детском театре в Москве пьесу не взяли, и Руня винила в этом нас с мамой. Они должны были идти в ЦДТ на обсуждение, но я вдруг заболела какой-то жуткой ангиной с черт знает какой высокой температурой. Мама на обсуждение не пошла, осталась со мной; Руня должна была одна отстаивать пьесу перед коллективом театра, и что-то там не задалось. Руня сердилась страшно, говорила, что ничего бы со мной без мамы не случилось, и приводила в пример Короленко, у которого вообще дочка умирала, а он поехал защищать мултанских вотяков. Но я была рада, что мама у меня до Короленко не дотягивает.

\* \* \*

Герой одного из детективов англичанки Рут Ренделл — писатель, между прочим, — будучи в депрессии, страдает оттого, что совсем недавно перечел «Джейн Эйр» и «Унесенные ветром», слишком хорошо их помнит и поэтому не может снова их взять в библиотеке и перечитать. А больше ничего ему читать не хочется. Без всякой депрессии и я, и моя дочка Анюта точно так же бываем счастливы, когда опять пройдет время и мы можем перечитать Рунины книжки. Много помним наизусть и то и дело цитируем. Сама Руня про свои вещи говорила: «Я пишу доброкачественное читиво». Доброкачественное, безусловно. Читиво? Это и так, и не так. Так, потому что до эмиграции Руня, мне кажется, не давала себе воли писать в полную силу: все равно не напечатают, а тогда зачем? А может, мешали великие образцы: слишком хорошо она знала, что такое большая лите-

ратура. Но — и не так. Не просто читиво. Все равно в любой ее вещи была она, Руня, ее, и только ее голос, ее видение, ее наблюдательность, ее тонкость, ее доброта и — процитирую Ахмадулину — «привычка ставить слово после слова».

Руня очень дорожила письмом от читательниц с Песочной\*: больные раком женщины благодарили ее за «Солнечную сторону». Мой друг-правозащитник был и остается большим поклонником ее творчества (не одни только женщины читали и почитали Руню!). Перед тем как его посадили в первый раз, он успел прочесть в «Огоньке» начало одной ее детективной повести. Все полтора года, что он отсутствовал, он вспоминал эту повесть и гадал, что же там будет дальше. Вернувшись, он в первую же нашу встречу дал мне задание найти номера «Огонька» с продолжением и не успокоился, пока не дочитал. Я сообщила об этом Руне. Она была тронута. Вот тогда-то она и сказала про «доброкачественное читиво».

\* \* \*

Особый разговор — это испанская тема в Рунином творчестве. Мне кажется, из того, что было напечатано у Руни в Советском Союзе, это наименее удачные рассказы. Многого она сказать не могла, а то, что оставалось, было слишком как-то романтизировано, и несколько торчком стояли испаноязычные вкрапления: все эти бакалао, хефе, новио и т.д. Мы с мамой даже как-то написали пародию на испанские рассказы Руни. По-моему, нам удалось схватить интонацию. Из всего текста помню только диалог Хефе с Руней: «Я видел портрет твоего новио: у него усталое лицо и мешки под глазами». — «Идиот! Это Эренбург!» Руня очень смеялась.

Совсем по-другому (суше? жестче?) пишет Руня об Испании в эмиграции.

\* \* \*

Году в 65-м (еще мама была жива) Руня написала рассказ, по-моему, без особого внутреннего редактора — под названием «Мягкая зима». Это про молодых людей с трагическим, я бы сказала, мироощущением — таких же, что окружали ее в Ленинграде. Кажется, проглядывались там и прототипы, но я их плохо угадывала: не мой город. Руня цитировала там Аполлинера и кого-то еще в этом роде, не заботясь о том, поймет «широкий» читатель, о чем речь, или нет. (Мама прочла и сказала: «Вот так и надо писать: интеллигентно».) Один из героев кончает с собой, выбрасываясь из окна. Помню последние слова: «...вниз, вниз, вниз...» \*\*

---

\* Онкологический центр под Ленинградом.

\*\* Ну вот, подвела меня память, повела по пути наименьшего сопротивления. Нина Серман поправляет: рассказ действительно кончался тем, что герой выбрасывается из окна, но последние слова были: «Вверх! Вверх! Вверх!»

Рассказ, естественно, опубликован не был. Но я надеялась, что Руня опубликует его, уехав. В первый же день, как мы увиделись (после 15 лет разлуки), я спросила про «Мягкую зиму». Оказалось, рассказ был среди рукописей, которые были с кем-то из Ленинграда посланы, но до Серманов не дошли: пропали по дороге. А восстанавливать Руня не стала. И так мне жалко эту интеллигентную «Мягкую зиму»...

\* \* \*

Лично я верила в Рунин талант и возможности — изо всех сил. Когда она написала несколько повестей с частично детективным сюжетом, я сказала ей: «За границей вы, наверно, были бы такой Агатой Кристи». «Не знаю, кем бы я была за границей, — заявила Руня, — но знаю одно: я была бы очень богатой женщиной». Однако перед самым отъездом она заговорила по-другому: «Это поздний вдох, но его нужно было сделать». Помолчала и добавила: «Да, но служить-то надо было бы русской литературе...»

\* \* \*

Расскажу, как на моих глазах Руня раз и навсегда приняла решение уехать.

В 1975 году уезжали Ниночка с мужем. Я приехала из Москвы их провожать. Поскольку это был будний день, я, хоть у меня и были на работе так называемые библиотечные дни, решила заработать отгул и ходила для этого в воскресенье на овощную базу. Почему? А потому что в аэропорту нередко фотографировали провожающих и, неизвестно откуда беря информацию, посылали фотографии на работу тем, кто был снят. Я шла на это, но хотела уж если страдать, то за «политику», а не за прогул.

И вот мы в аэропорту, ребята проходят таможеню. Мы уже попрощались, поцеловались, и они теперь за красным бархатным жгутом: нам туда ходу нет. Багажа у них только Ниночкина сумочка, а в сумочке — однотонник Шварца, который я ей к отъезду подарила, и чемодан: в нем главное место, по-моему, занимает купальная простыня, которую опять же подарила им к отъезду я. Я горжусь, что они под завязку нагружены моими подарками.

Но таможенники не поверили, что люди могут навсегда уехать в другую страну с таким ничтожным багажом, и заподозрили (или сделали вид, что заподозрили), что у них где-то спрятаны какие-нибудь бриллианты. Перерыли и сумочку, и чемодан, произвели личный досмотр. Ничего, конечно, не нашли. И сказали: «Или вы оставите багаж и поедете с пустыми руками, или мы вас задержим и самолет улетит без вас». А ведь они оба уже остались без жилья, без паспортов — ужас! Руня кинулась к ним, то есть до самого бархатного шнура: «Оставьте, оставьте все: мы вам все дошлем. Так даже смешнее!» Ниночка колебалась, но муж ее был тверд: «Если Ниночка захотела какие-то вещи взять с собой, она имеет право: с



какой стати она должна их оставлять?» Так и не улетели в тот день. Руня шла из аэропорта вся белая и говорила: «Загородка как для зверей. Это лагерь. Надо немедленно отсюда уезжать!» До этого момента она не была уверена. А тут решила.

Ребята улетели через неделю. Все эти дни Ниночка жила с родителями, а муж — у друзей. Руня получила дочку в полное распоряжение еще на целую неделю и примирилась с обстоятельствами. «Мы забыли, какая Ниночка прелестная и как с ней хорошо», — говорила Руня.

Второй раз я уже не приехала их провожать: отгулов у меня больше не было.

\* \* \*

Я не забросила своих наполеоновских планов по поводу Руниной литературной судьбы, считала, что раз уж она уехала и живет там в эмигрантской среде, то самое время ей сесть и написать роман про людей, снятых с места и выбитых из привычной колеи, — типа «Унесенных ветром». Мы очень с ней любили этот роман. Согласно Руне, сам Жирмунский утверждал, что ни одна книга не производила на него такого впечатления, как эта. А уж ему было с чем сравнить.

За роман Руня в эмиграции не взялась, написала замечательные воспоминания, наконец-то не оглядываясь на редактора, да и ни на кого не оглядываясь! Но романа мне все-таки жалко...

И чтоб закончить эту тему — Руня и литература. Вот что еще говорила Руня перед отъездом: «Доживать свой век я буду в богадельне. Буду говорить тамошним старушкам: “Вы знаете, ведь я была писательница...” А они будут за спиной у меня крутить пальцем у лба и говорить: “Мишугине!”»

\* \* \*

Глубокие отношения с Руней сохранились и в третьем поколении. Когда должна была родиться моя дочка Анята, мамы уже не было в живых, моя старшая сестра Галя и Сашина мама Елена Сергеевна жили не с нами, я была одна женщина в доме и очень волновалась, как я буду ухаживать за ребенком, когда я ничего этого не умею, и особенно как буду оставаться с ним одна. Мамина младшая подруга (и Рунина тоже) Наташа Долинина сказала: «Я приеду [из Ленинграда], как только ты родишь, и буду жить у вас месяц. И всему тебя научу». И приехала, и прожила у нас весь май месяц и начало июня, оставив в Ленинграде своих детей, близнецов Таню и Юру, которые кончали школу и сдавали выпускные экзамены. Такого не забудешь!

Но вот незадача: Руня обиделась — почему я не ее позвала? Она бы приехала. Короче говоря, роман у Руни с Анятой начался не сразу. Но вот когда Аняте было три года и мы жили летом на даче в Пушкине (подмос-

ковном), Руня и И.З. приехали на месяц, побыть с нами, с моим папой (оказалось, что это было его последнее лето), посмотреть близлежащие интересные места — Загорск, Переславль-Залесский и т.д., а главное, отпустить нас с Сашей на неделю в город Тольятти, куда загремела на все лето со студентами моя подруга — преподавательница итальянского языка. На даче оставались и мой папа, и Анютина няня тетя Дуся, но Руня была — вместо мамы! В это лето и завязался пожизненный роман между Руней и Анютой. Еще не родилась первая Рунина внучка Сашенька, и все бабушкинские чувства до поры до времени были отданы Анюте. В наше отсутствие Руня вела про нее дневничок. «Одну запись из этого дневника я приведу:

— Ты ведь тоже моя мама.

— Разве Анюточка?

— У меня две мамы: одна в Москве, другая тут.

*Вот как бывает с мамами, которые уезжают надолго.*

Только недавно я поняла, что последняя фраза — это и о себе».

\* \* \*

Однажды мы сидели за столом — Руня, я и мои подруги, — и зашел у нас разговор: что кого в жизни больше всего интересует. Широкий спектр: литература, политика, путешествия, мужчины, наконец. Руня сказала: «А меня больше всего интересуют дети».

\* \* \*

В марте 1971 года у «младших Серманов» — Марика с Наташей — родилась дочка Сашенька, которую Анюта страстно полюбила, и эта дружба третьего поколения наших семей тянулась вплоть до эмиграции всего клана Серманов к концу 70-х годов.

Маленькая Сашенька была очень смешная. Одно лето мы с Анютой неделю гостили в Зеленогорске, где старшие Серманы жили на даче с четырехлетней Сашенькой. Марик и Наташа наезжали на выходные. Хозяйскую дочку, девочку лет семи, звали Оля. Сашенька, завидев ее, всякий раз выкрикивала странную фразу: «Ольга! Пальто и шляпу!» Оля страшно обижалась. Я спросила Руню, откуда такая фраза. Оказалось, что это «Слон» Куприна. Когда отец больной девочки решает достать ей слона, он кричит служанке: «Ольга! Пальто и шляпу!» Сашеньке эта фраза запомнилась, а тут и Ольга подвернулась.

«Странно, — говорю, — я этой фразы не помню. Но у меня есть своя любимая фраза из «Слона»...» — «Стой, — говорит Руня, — я сама тебе скажу!» И говорит: «Может быть, позвать к тебе Катю или Женечку?» Ну, кто помнит Руню и ее интуицию, тот ничуть не удивится, что она мою фразу отгадала. «Откуда вы знаете?» — спрашиваю. «А потому что я сама ее люблю». Меня действительно эти Катя и Женечка, невесть откуда взя-



**Руфь Александровна и Илья Захарович с внучкой Сашей.  
Зеленогорск, 1973 г. Фото М. Сермана**

вшиея (даже неизвестно, Женечка — мальчик или девочка) и так же неизвестно куда девшиися, дразнили с детства своей загадочностью.

Интересно, что у каждого своя любимая, совершенно нерелевантная для сюжета фраза из «Слона». У Ниночки Серман это фраза, которую говорит отец девочки в ответ на опасения владельца слона, что, мол, возможно, придется ломать дверь и позволит ли это хозяин дома: «Позволит. Я сам хозяин этого дома». (Ее потрясло, что у дома может быть хозяин.) Одна моя подруга, известный литературовед, всерьез утверждает, что из всей литературы помнит главным образом то, что относится к еде, поэтому из «Слона» навсегда запомнила «большой круглый фисташковый торт», который съел слон. А на математика и лингвиста в душе Владимира Андреевича Успенского в детстве производило сильное впечатление, что хозяин зверинца, немец, спрашивал: «А сможет ли один слон войти в один дом?»

Серманы-старшие с семьей Марика уехали в Иерусалим, где и родилась у Марика с Наташей их вторая дочка Лиза. Сабра! Но через несколько лет младшие Серманы уехали в Нью-Йорк, где с тех пор и живут. Пока девочки были маленькие, Руня и И.З. каждое лето приезжали в Америку и жили с детьми на даче под Нью-Йорком, в Катскильских горах (которые русские иммигранты дружно называют Кастильскими), в месте под названием «White Lake» (Белое озеро), где жило много русских, в частности Довлатовы, с которыми Серманы очень дружили. Неподдалеку была летняя



**Р.А. с внучками Сашей и Лизой Серман. Нью-Йорк, 1983 г.  
Фото М. Сермана**

колония хасидов, про которых Довлатов сказал, что они — черно-белый фильм в мире цветного кино. Чистая правда.

Про русскую колонию в «White Lake» Руня написала рассказ «Лето 90-го года» — это было последнее лето жизни Довлатова. Довлатов там назван просто Писателем, Рунина внучка Лиза — Таней, а сама Руня распалась на несколько бабушек.

Когда мы приехали в феврале 1991 года в Америку, девочки — Анюта и Сашенька — были уже взрослые, воспитанные в разных культурах, по-разному росшие, и отношений таких близких, как были у них в детском возрасте, не возникло, что и неудивительно. А вот с Руней у Анюты отношения сразу наладились такие, будто они и не расставались на 15 лет.

Лето 91-го было первым, когда никто из сермановских девочек на дачу не поехал: Саша была уже взрослая, 11-летняя Лиза отправилась в летний лагерь, но свято место пусто не бывает, старшие Серманы все равно уже были к лету в Америке, и на даче поселились вместе с ними мы с Сашей Вентцелем и Анюта. И жили так три лета подряд, потом Анюта вышла за-

муж, и еще три года мы жили с Серманами летом без нее. Сразу скажу: жить с Руней вместе было не так-то просто — все должно было быть только «по ее». Посуду я мыла слишком долго. «Пусти, я сама домою!» К серьезной готовке я вообще не допускалась (но Руня действительно превосходно готовила, и на всех кухнях, где я ее видела, священнодействовала), мне разве что доверялось (скрепя сердце) вымыть и нарезать овощи для салата, да и то что-то я резала слишком крупно, а что-то слишком мелко. Тем не менее, когда летом 94-го года Саша должен был на несколько дней съездить по работе к себе в Новый Орлеан (на машине) и я тоже собиралась, Руня вдруг заявила: «С Вентцелем поеду я: хочу посмотреть город, познакомиться с Анютой и познакомиться с Бенджамином. Нет-нет, ты, Сашка, останешься с дядей Илюшей и будешь его кормить». Дядя Илюша, надо сказать, мою готовку очень хвалил и охотно уступал мне мытье посуды.

Однажды был у нас с Руней конфликт — короткий, правда. В одно из лет у нас почему-то скопилось очень много вещей. Привезенные из Москвы книги, купленная в «White Lake» одежда и всякое такое. Руня все время твердила, что нам это в машине не увезти и надо пойти на почту и то, что не сразу будет нужно, отправить в ящиках в Новый Орлеан. Я как бы и соглашалась, но паковать и ехать на почту нам было лень, и мы как-то это все откладывали. В конце концов Руня просто раскричалась, а я в сердцах сказала: «Тетя Руня, с вами можно жить, только если во всем вас беспрекословно слушаться!» — «Вот и не надо со мной жить!» — отрезала Руня. Ну куда денешься — стали мы паковать ящики, это оказалось долгое дело, мы еле успели перед самым отъездом все их отправить, а когда к отъезду набили машину под завязку тем, что осталось, Руня торжествовала: «Видишь, как я была права!» Я раскаялась, а Руня зла никогда не держала, и осадка от нашей перепалки (я надеюсь...) у нее не осталось.

Но все это такие мелочи!

Эти шесть лет (в смысле «summers») с Серманами были просто волшебные. Серманы дарили нам каждое лето такое общество, о котором можно было только мечтать. Как в Ленинграде. Во-первых, они сами: Руня и И.З. Как говорится в традиционных чтениях на еврейскую Пасху: «Если бы Господь дал только это, нам уже было бы достаточно!» Но и бесчисленные гости: уже не такой молодой (как и мы, впрочем: «Взгляни — мы такие же сами») «молодой Ленинград» в лице Ефимовых и Беломлинских, Вайли, славист Марк Раев с женой Лилиан, славистка Лена Рив, Гантманы (писатель Агафонов с красавицей женой Тамарой), Татьяна Толстая с мужем, античником Андреем Лебедевым, любимые ученики Наташи Долининой Ося и Лена Осташевские — кто только не приезжал к Серманам на уик-энд! С Вайлем была смешная история. Он увидел на столе так называемый «грейпфрутный» ножичек — ножик со специально изогнутым лезвием — и сказал: «Руфь Александровна, у вас тут ножичек погнулся, я его сейчас разогну» — и, не успев никто слова сказать, разогнул-таки этот

ножичек... «Я силен, чего скрывать, я пятаки могу ломать!» И это человек, проживший 15 лет в США и имеющий прямое отношение, что называется, к индустрии питания, автор (вместе с А. Генисом) замечательной книжки «Русская кухня в изгнании»... Пришлось покупать новый такой ножичек.

\* \* \*

Два с половиной года Саша Вентцель преподавал то в Мэриленде, то в Миннесоте как приглашенный профессор. Анюте приходилось переходить из университета в университет. Все мы от этой цыганской жизни устали. Зимой 1993 года Саша поехал на интервью в Новый Орлеан, в университет Тулейн. В Тулейне, оказалось, преподает русскую историю Сэм Реймер, близкий друг Серманов, — он стажировался в Ленинграде и подолгу там жил, а Серманы, как известно, общаться с иностранцами не боялись. Мы тоже его несколько раз видели — и в Ленинграде, и в Москве. (Анюта, как выяснилось, долгое время думала, что это и есть американский дядя Сэм.) Немедленно Руня позвонила Сэму, напомнила о нас и попросила поговорить в Тулейне: не какой там Саша математик, разумеется, а какая мы хорошая семья, какие интеллигентные люди, что никаких, мол, склок от нас не предвидится — все то, что подчас даже важнее для американцев, чем профессиональные качества кандидата. Сэм поговорил, Саша прошел интервью, мы переехали в Новый Орлеан, где Саша преподает в Тулейне до сих пор, а Сэм и его жена Наташа — наши ближайшие друзья. Настоящие, по российским меркам! — что большая роскошь в Америке. А все через Руню!

Приехав в Новый Орлеан, мы сразу пригласили Сэма с Наташей к себе. Мы с Сэмом болтали напропалую, вспоминая общих знакомых, а Наташа общалась в основном с Анютой. Уходя, она пригласила нас всех на двадцатилетие своей (и Томаса Венцловы) дочки Маши. Я пришла к ней пораньше, чтоб помочь со всякими салатами, и Наташа как бы между прочим сказала: «Вы вот, Саша, переводите с английского, а у меня есть друг, Бенджамин Шер, он переводчик с русского на английский, только что вышел его перевод “Теории прозы” Шкловского. Вам надо познакомиться». Я, не будучи Руней, ничего такого не заподозрила: переводчик так переводчик. Познакомиться? Отчего же не познакомиться.

Когда мы все пришли к Реймерам, там было полно народу: вся их русская компания. Американцев только Сэм, Бенджамин ну и, пожалуй, сама именинница, красавица Маша. Бенджамина Наташа сразу усадила на диван рядом с Анютой, где они и просидели, разговаривая весь вечер, а я, как водится на американских а-ля-фуршетных вечеринках, переходила от одних гостей к другим и знакомилась. Наконец вечер подошел к концу, все стали расходиться, и тут я вспомнила, что так и не познакомилась с коллегой. Подошла к Бенджамину: мол, вы переводчик, я переводчик, давайте познакомимся. Он остро на меня взглянул и спросил: «Are you Appa's

mother?» Не нужно было быть Руней, чтоб понять, куда ветер дует. Через два месяца Бенджамин сделал Анюте предложение. Она пришла со свидания, сообщила новость нам и тут же позвонила в Иерусалим Руне, которая знала, что появился в нашей орбите некто Бенджамин. «Тетя Руня, — сказала Аня, — Бенджамин сделал мне предложение. Как вы думаете, выходить мне за него замуж?» Руня задала всего один вопрос: «Он добрый?» — «Очень добрый». — «Выходи!» Так Руня осенила крылами брак и следующего за нами поколения. Бенджамин судьбоносным диалогом Анюты и Руни был потрясен и написал своей сестре в Австралию, что и вопрос, и ответ были в типично русском духе (понимай: типичном для великой русской литературы).

По тому, что я пишу, видно, как помогли нам Серманы в Америке буквально во всем. На каждом шагу мы ощущали их дружескую поддержку и участие. Но если речь шла не о куске хлеба и крыше над головой, Руня могла быть и сурова. Расскажу такую историю. В Москве я всю жизнь работала. Хотелось, конечно, работать и в Америке, но с этим у меня не заладилось. Когда попадалась какая-то работа — переводы, редаKTура, — я за нее всегда хваталась, не отказывалась ни от чего. В Тулейне бы мне преподавать русский язык, но даже ставки почасовика — по-советски сказать — не было у них. (Возьмут, возьмут меня почасовиком на осенний семестр 2005 года, должна я буду приступить к работе 31 августа, а 29-го ударит по Новому Орлеану ураган «Катрина», зальет чуть не весь город водой, не будет осеннего семестра, и всех временных преподавателей немедленно уволят. Так я ни одного дня и не попреподаю, что очень будет всех знакомых смешить: «Неужели, — скажут, — ты так не хотела выходить на работу, что устроила ураган?!»)

В 1993 году Е.Г. Эткинд, который был связан с русской летней школой в Вермонте («Норвич»), предложил мне следующим летом выступить у них на конференции по Державину: «Сделай доклад, будет ясно, кто ты и что ты, зацепишься, и можно будет о тебе разговаривать. Может быть, тебя возьмут в летнюю школу преподавать русский». Я говорю: «Я же не литературовед, я лингвист. Какой я могу доклад делать — о глаголах движения у Державина?» — «А почему бы нет, — говорит Е.Г. — У Державина глаголы движения как раз очень значимые и характерные. И у тебя есть год. Неужели за год ты не сможешь подготовить доклад?»

Ну, дело известное: студента спрашивают, знает ли он китайский, а он отвечает: «А когда сдавать?..» И вот приезжаем мы в «White Lake», и я радостно рассказываю Серманам о моем предстоящем участии в конференции по Державину (через год), а там, глядишь, и вообще зацеплюсь в летней русской школе. Но Руня пришла в негодование: да как ты можешь делать доклад по Державину?! Ты не специалист, ты вообще не литерату-

ровед, как ты могла согласиться, как Фима мог тебе это предложить — и т.д. Было над чем задуматься.

Конечно, и для Руни, и для И.З. профессионализм — это святое, размышляла я, но рассказывали же они о своей приятельнице из штата Орегон (где И.З. несколько семестров читал лекции), которая в Ленинграде вообще была маникюршей, но в Америке прекрасно преподавала в университете русский и студенты ее обожали. Кроме того, что у нее был 25-летний любовник (а ей было 40) и она в шлеме гоняла вместе с ним на мотоцикле, подробностей я не помню, но помню, что Руня очень ею восхищалась. Может, дело было в том, что маникюрша все ж таки преподавала свой родной русский язык, а я собиралась что-то лопотать о неродном мне Державине? И то сказать, И.З. чуть не всю жизнь положил на Державина, а тут я с бухты-баряхты лезу вроде бы тоже в державиноведы.

Эткинду я немедленно написала, что в конференции участвовать не смогу, и объяснила почему. Он очень сокрушался. Но дело в том, что мне наши отношения с Серманами были куда важнее, чем это мое мифическое державиноведение. И я ничуть об этой несбывшейся реальности не жалею. Напротив, я благодарна Руне: скорее всего, она меня уберегла от большого позора.

\* \* \*

Вот о чем жалею — что поздно мы впервые выбрались в Израиль: у Руни уже был второй инсульт, и она совсем не говорила. В сентябре 2003 года мы поехали в Иерусалим на 90-летие И.З. Руня сидела в кресле с колесиками, очень серьезная, но, увидев Сашу Вентцеля, заулыбалась: то ли узнала, то ли просто он ей понравился. Вечером набилось в комнату множество народу. Был очень хороший вечер: произносили тосты, читали стихи в честь И.З., одна его аспирантка даже сочинила оду под Ломоносова. Произнесли тост и за Руню. Она сидела в кресле, безмолвная и неулыбчивая, и очень внимательно на всех смотрела. Казалось бы, сердце должно было разрываться от этого зрелища, но нет: как-то все это было естественно и по-человечески, и всем было хорошо, и все вспоминали разные истории про этот гостеприимный дом, когда была здорова и весела его великолепная хозяйка. Так хорошо написала Нина Королева: «Золотая Руня»...

*Новый Орлеан,  
США*



*Василий Агафонов*

## Руфь

Лето года 84-го, жаркое и душистое, коротал я у Белого озера. Утром поспешал к его сонным водам. Выглаженные ночным покоем, они еще не ломали стройные отражения сосен. Я заходил в воду, шевелил мелкие камешки, вглядывался в водовороты песчинок. Верткие рыбешки кружили у моих ног. Холод, содрогнув колени, вставал у бедер. Наконец поднимал я ладони, расплескивал синие кроны сосен и, полнясь тугой прохладной свежестью, летел к центру озера.

Дни между тем стояли чудесные. Раскинув легчайшие облака, они наполнили первозданною синью. Безмерно высокие, отрешенным оком взирали они на землю, где платаны, осыпанные золотистой пылью полудня, едва шевелились. В воздухе, полном истома, мысли легко покидали меня. Я с удовольствием отпускал их на волю. Мера пространства и таинство времени незаметно складывались про запас. Я был уверен, что вспомню о них в скудные свои дни.

И вдруг на почте я столкнулся с Руней. Ее доброжелательная повадка, быстрые, воробьиные глаза, веселый голос были необыкновенно естественны и приятны. С милой улыбкой она приняла мою помощь (была с тяжелой сумкой), и мы зашагали к ее недалекому поселению. С этих пор география моих скитаний резко переменялась: в сумерки я частенько спешил к домику, где Руфь Александровна и Илья Захарович широко принимали гостей. Гости обычно собирались на кухне этого мелкого строения, выкрашенного рябой зеленью. Домовладелец Феликс пышно наименовал его Green Hall, точнее, об этом сообщали белесые литеры над ветхим крыльцом. Смешное, детское пристрастие американцев к истеблишменту вы встречаете на каждом шагу. В Нью-Йорке некуда повернуться от Оксфордов, Кембриджей и Вашингтон-холлов. Эти наименования торжественно объявляются с фронтонов и арок бесконечных доходных домов, и можно быть уверенным, что чем невзрачнее и грязнее пристанище, тем весомее его титул.

На кухне, половину которой занимала чугунная печь, бывало тесно от людей. Литература и все, что с ней связано, обсуждались пространно и горячо. Я с удовольствием вслушивался в беседу, пил чай и помалкивал.

Тяжесть неясных тревог, похмельные сожаления — все выглаживалось в домашнем уюте этих милых посиделок, и чувства мои становились радужно невесомы.

Мне почему-то захотелось передать атмосферу того первого Катскильского лета, но на этом с лирическими отступлениями мы закончим и прямо оборотимся к незабвенной Руне. Как-то на посиделках у генерала Григоренко я увидел прелестную девочку. Она, семена вокруг стола в хромовых сапожках, была весела, расторопна и всячески услужала гостям. Это была Саша Серман. А позднее мы (жена Тамара и аз грешный) крепко сошлись с ее родителями Марком и Наташей. С ними и попали на дачу, куда в начале 80-х годов из неблизкого Израиля приезжали Руфь Александровна и Илья Захарович пасти внучек, одновременно погружаясь в литературно-лингвистические заботы. Соседствовал неподалеку и Сережа Довлатов. Часто заставляли мы такую картину: у печки возвышалась фигура Довлатова. Он, со всегдашним успехом, рассказывал забавные истории, случавшиеся в кулуарах русского отдела Радио Свобода, или раздавал уморительные, не без яда, характеристики ближним и дальним знакомым, словом, «держал площадку». Где-нибудь сбоку перетапывался Гриша Поляк, издатель и неизменный ходатай по делам. Прочие случившиеся лица охотно сопровождали истории поощрительным хохотом. Если Довлатова не было, то Руфь «раскручивала» очередного знакомца. Никто не умел так доброжелательно, так «вкусно» выслушивать жизненные обстоятельства самых незамысловатых людей. Положительно ей нравилось раскрыть «нутро» собеседника его же собственными усилиями. Благожелательная улыбка не покидала ее лица, коротко стриженная голова поптичьки склонялась набок и кивала в такт уже ничем не сдерживаемым откровениям. Но бывали и «гроздь гнева». Ехали как-то по одной из проселочных дорог от местного озера. На пыльной дороге сидел рябчик. Он не спешил улетать и встрепенулся, только оказавшись под машиной. Мы извлекли его мертвого. Внучка Саша забилась в горе. Руфь резко приказала ей замолчать, и во излечение истерики птица была оципана, сварена и съедена.

Почти каждый weekend мы уезжали на дачу и всякий раз заезжали проведать «стариков Серманов». Садились за стол, пили одну-другую походную рюмку водки, выкладывали свежий номер «Нового Русского Слова», сообщали и принимали новости. Неизменно присутствовал и луковый хлеб. Я как-то признался, что «вкус в нем нахожу», и с тех пор его при okazji брали в недалеком еврейском магазине. Ежели гостей и задержавшихся на постой знакомых не было, то встречал нас дружный стрекот пишущей машинки: Руфь отбивала очередной рассказ, эссе, статью или воспоминание. Работа прерывалась, плыли на кухню, пили чай, держали необязательный, но душу выглаживающий разговор. Если визит наш слу-

чался днем и стояла жара, то охотно и плотно шагали к озеру, где у домика некоего Марголина, с обводами колесного парохода, арендовался закуток озерного берега и небольшая скамья. С правой руки на деревянном настиле возвышался рыбный ресторан, и там же заезжие катера таскали желающих на водных лыжах.

Летние каникулы у Белого озера продолжались и после того, как выросли внуки. Место приосело, пропиталось живым духом, и был даже проект купить его окончательно. Но владетельный Феликс что-то не то намудрил с бумагами или водопроводом, и дело пришлось оставить. И однажды грустный Илья Захарович объявил, что приедут они в последний раз или не приедут вовсе. Мы вместе вернулись в Нью-Йорк, обнялись, и жизнь покатила нас в разные стороны.

*Нью-Йорк,  
США*

*Л.М. Лотман*

## **Она была человеком моего поколения**

Я люблю мое поколение. Оно вошло в историю в ее судьбоносный период, участвовало в трагических событиях, было причастно к величайшим ошибкам и падениям, но и к преодолению сил зла, победам и триумфам. Эта эпоха создала множество характеров людей, действовавших в сложных исторических условиях и по-своему отвечавших на вызовы времени. К творческим людям этого поколения я отношусь с симпатией и любовью. Определить их черты можно, сославшись на образы, созданные на сцене Иннокентием Смоктуновским, в поэзии — Булатом Окуджавой и Владимиром Высоцким, а также некоторыми другими художниками этого периода.

Руфь Александровна Зевина (Зернова) принадлежала к такого рода людям. Образованная, много читавшая и склонная к занятиям литературным трудом, она умела понимать современную литературу, интересовалась политикой и критически осмысляла сведения, которые мы о ней получали. При этом она была эмоциональным человеком, стремившимся к счастью и полноте жизни.

Приехав в Ленинград из Одессы и поступив в университет, что было непросто (на филологическом факультете конкурс составлял семь человек на место), она оказалась в студенческом общежитии в комнате со стенами, весьма небрежно окрашенными и облупленными, в которых должны были жить пять девушек. Первым чувством, которое она испытала, было категоричное нежелание слиться с демократической средой пролетарского студенчества. Перед своими соседками по комнате она стала, со свойственным ей артистизмом, изображать одесскую даму. Когда меня с ней познакомили, она ходила по комнате в большом боа из чернобурой лисицы и походя роняла французские фразы, цитируя афоризмы классиков эпохи Просвещения. Мне она тогда не понравилась. Я не жила в общежитии и наивно приняла ее артистическое представление за чистую монету. Простые девушки, ее соседки по комнате, гораздо быстрее меня раскусили смысл ее поведения, то есть не стали искать в нем смысла, как и во французских фразах, которых они не понимали. Они быстро пришли к выводу, что она немного «воображуля» и начиталась романов, но в общем хорошая веселая девчонка и товарищ, с которым можно дружить. От

них я слышала только хорошие отзывы о ней, и это неудивительно, поскольку, как только она садилась за стол и с ней рядом оказывались собеседники, готовые ее слушать, надэтим столом как бы раскрывался волшебный шатер доброжелательства, гостеприимства, веселых бытовых рассказов и песен. В то время литература была не столько письменным и печатным жанром, сколько разговорным устным. Руня была мастером беседы.

Большим впечатлением нашей студенческой жизни была гражданская война в Испании. Фашизм мы ненавидели, он как туча надвигался на Европу, и тут впервые открылась возможность вступить с ним в открытую борьбу. Студенчество волновалось. Кроме идейного неприятия национал-социализма, кроме подавленного стремления к активности в возбужденности молодежи проявилось и желание почувствовать себя личностью, в действии осуществляющей свою собственную волю, свои убеждения. Многие заявили о желании стать добровольцами и уехать в Испанию для участия в военных действиях. Руня горела этим желанием. К «революционному порыву» у нее примешивалось и острое ощущение ограниченности в движении в пространстве как лишения. Манила даль невиданного и неизведанного. Осуществление этого порыва стало важным эпизодом ее жизни. Помимо зрелища столкновения мировых сил, предвестия еще более значительных катаклизмов, Испания оказалась ей близка и в своей динамике, и в консервативных, традиционных проявлениях. И над всем этим веял дух справедливости, нравственной оправданности нашего вмешательства. Впоследствии это придавало поэтический ореол ее встречам с ветеранами Испанской войны и ее резким, но впечатляющим столкновениям с такими «традиционными» испанцами, как знаменитый тореадор Домингин и испанские артисты (сошлюсь на прелестный рассказ Руни «Бронзовый бык», сборник «Солнечная сторона»). Руня присутствовала при отступлении испанских республиканцев через границу Франции и описала свои непосредственные впечатления в очерке «Два дня в Восточных Пиренеях». Это было трагическое поражение борцов с фашизмом, но все понимали, что история «на марше» и что впереди ждут большие испытания. Ветер Европы овеял наших участников борьбы и Руню в их числе. Вспоминая спутников, с которыми она переходила испано-французскую границу — испанских солдат-республиканцев и беженцев, французских журналистов, русского летчика, польскую сестру милосердия и других, писательница Р. Зернова заканчивает свой очерк уже в 1962 году словами: «И сколько еще таких, чью душу разбудила Испания. Не поздно ли? Нет, не поздно. Ничего не кончилось... Я не знаю, что из этого прорастет, а что умрет, не давши побегов. Но я чувствую: мы все связаны навеки. Мы два дня жили вместе на этой земле» (сборник «Свет и тень»).

Во время Великой Отечественной войны мы с Руней оказались далеко друг от друга, в разных концах нашего необъятного отечества. Я в блокаду была уволена из аспирантуры и работала в военном госпитале, а затем в детском доме, учрежденном для сирот, оставшихся без родителей в блокадный голод. С детским домом я оказалась в эвакуации на Волге. Руня же, если мне не изменяет память, была в Ташкенте. В конце 40-х годов, в тяжелое для русской культуры и науки время в Ленинграде, мы были вместе с мужем Руни, моим университетским товарищем и другом Ильей Серманом, в аспирантуре Академии наук, и все перипетии уничтожения целых направлений науки и литературных авторитетов происходили на наших глазах. Мы с огромным волнением и огорчением переживали эти события. Илья осуждал поход против культуры, не смягчая своих выражений, откровенно, что боялись делать большинство наших собеседников.

Семья Ильи Сермана и друг их дома ученый-германист Ахилл Левинтон стали жертвами целенаправленной слежки за кружками ученых и писателей, вторжения в их домашние встречи и беседы. Судебный процесс над этими талантливыми людьми, нашими друзьями, которым были предъявлены самые опасные «расстрельные» статьи обвинения, на несколько лет стал кошмаром нашей жизни, а их освобождение через пять лет — большой радостью. Сразу после их освобождения я предложила им снять с нами дачу в Зеленогорске, и с тех пор мы много лет подряд снимали вместе дачу. Руня была очень хорошей соседкой. Мы с ней много спорили на отвлеченные темы и почти никогда не вступали в конфликты по поводу конкретных хозяйственных дел. Вскоре после возвращения из ГУЛАГа она стала писать рассказы и повести, которые, появляясь в печати, имели значительный читательский успех. Незадолго до этого в литературе прогремело имя талантливой беллетристки Веры Пановой, которая удивила, а затем и покорила читателей способностью увидеть обаяние каждодневного быта простых людей, живущих в обстановке постоянного психологического напряжения, материальных трудностей и мелких неприятностей на работе и дома. Талант Руни — Р. Зерновой — был сродни направлению творчества В. Пановой. Рассказы Руни — искренние, светлые, проникнутые верой в солидарность и доброту людей обыкновенных, живущих заботами и надеждами «среднего слоя» общества, — не были сентиментальны, не украшали картину современной жизни, но внушали бодрость и веру в жизнь. У Руни возникли читатели-поклонники, писавшие ей трогательные, а подчас и смешные письма о своих проблемах и просившие совета. Образовались и связи в писательской среде. Она любила художественную интеллигенцию, и на даче у нее часто бывали посетители, многие из которых были интересны и значительны. Ее друзьями стали Фрида Вигдорова, Наталья Долинина, И. Грекова, А. Бек и другие талантливые пи-

сатели. Впоследствии она была в дружбе и с Сергеем Довлатовым. Она быстро оценила новое явление в искусстве — авторскую песню, как значительное событие. На даче она постоянно устраивала импровизированные концерты, на которых пели ее дочь Нина, сама Руня и другие любители, певицы и певцы — дачники. Репертуар состоял из авторских песен. Перед моими глазами стоит яркое воспоминание: молодой красивый Александр Городницкий с таким же, как он, красивым молодым морским офицером, его сослуживцем, сидят на веранде Серманов на диване, на коленях Городницкого устроился мой пятилетний сын Антоша, о котором Руня написала детскую книжку «Про Антона», и звучат песни Городницкого, только что сочиненные, с комментарием — рассказом автора оключениях, плавании по чужим далеким морям и бурным рекам. Все очень в духе Руни, вечно мечтавшей о движении в пространстве.

Мысль о Руне Зевинной (Зерновой) для меня неразрывно связана с представлением об обаянии и особенностях моего поколения, и невольно в памяти звучат строки Окуджавы:

Чувство собственного достоинства — это просто портрет любви.  
Я люблю вас, мои товарищи, — боль и нежность в моей крови.  
Что б там тьма и зло ни пророчили, кроме этого — ничего  
Не придумало человечество для спасения своего.

*Санкт-Петербург,  
Россия, 2005*

## Слово на вечере памяти Р. Зерновой

Так случилось, что я как бы дважды познакомилась с Руфью Александровной Зерновой. Первый раз я была много младше ее, называла ее по имени-отчеству. Я была в это время начинающим литератором, причем андеграундным, а Руфь Александровна в качестве общественной нагрузки была приставлена к группе андеграундных литераторов то ли наставником, то ли руководителем — не знаю кем, но устраивала им в маленькой гостиной ленинградского Союза писателей чтения, обсуждения и, как правило, принимала приглашение заведомо опьяневшего от сознания собственной гениальности виновника торжества на посиделку в уютном зале писательского ресторана. Надо сказать, исполнять обязанности, которые приняла на себя Руфь, было делом совсем не легким. Я даже думаю, малоприятным. «Андеграунд», конечно, красивое слово, но со временем мы приобрели еще одно название — «вторая литературная действительность». Так стали называть тех, кто никаким образом не вписывался в официальный литературный процесс. Некоторые, конечно, стремились вписаться, но и у них шансов было мало, а остальные даже и не стремились. Не только писать что-то такое, что могло быть напечатанным, но и читать то, что печатают в официальных изданиях, в среде «второй литературной действительности» считалось зазорным. Вот и получилась такая скверная неравноправная ситуация, когда Руфь Александровна в силу взятых на себя обязательств должна была читать то, что ей приносили нестриженные, плохо мытые, яростные, наглые до невозможности, самоуверенные, самовлюбленные, фанатичные, но совсем не обязательно одаренные представители этой самой «второй действительности» — действительность вообще-то вряд ли бывает первой и второй, что-то тут должно было оказаться не совсем действительностью. А вот они — эти воспаленные сознанием собственной отверженности авторы — читать писательницу Зернову демонстративно не желали. Но не отказывались от ее забот, от тех вечеров, что она им устраивала, и даже от ее гостеприимства. Мои рассказы Руфи Александровне отнес Юра Гальперин. Был такой литератор (самый стриженный и умытый из всех). Потом он же сказал мне, что Руфь Александровна хочет сделать мой вечер. Никогда до этого ничего



подобного со мной не случилось. Я должна была прийти в Союз писателей познакомиться с Р.А. Я надела красную юбку и черный свитер. На Руфи Александровне, когда я увидела ее в первый раз, были красный свитер и черная юбка.

Я вспоминаю об этом вовсе не так уж случайно: дело в том, что и тогда, и много лет спустя, когда мы встретились уже здесь, в Нью-Йорке, встретились совсем ровесницами (годы стерли возрастную разницу, да и время моего ученичества прошло и уже она стала для меня просто Руфой), меня всегда поражало существовавшее между нами сходство вкусов при полном несходстве натур. Природой ей было дано то, в чем напрочь отказано мне: каждое ее движение, каждое слово всегда дышало естественностью. Но, как бы это ни выглядело нелепо, мне хочется сказать еще об одной особенности той первой встречи. Ее большие глаза излучали такой особенный свет, что показались мне голубыми. Руфь много и всегда очень любовно в своих рассказах описывает внешность женщин, с которыми ей довелось столкнуться. Сама для себя она только пигалица, маленькая, можно даже подумать, невзрачная. Но она была совершенно особенно хороша собой: скулы приподняты, большой сочный рот, небольшой, аккуратной лепки нос, а главное — это сияние темных больших глаз с такими голубыми белками, что сияние казалось голубым. Вот так она осталась в моей памяти в ту первую встречу.

В рассказах о том, что ей довелось пережить, мне тогдашней сильно не хватало драматизма, и я все пыталась ее: «Нет, но вы скажите мне: это как же — оказаться в тюрьме, в лагере, когда маленькие, когда муж...» — «Ну понимаете, я ведь одесситка. А одесситы все, как правило, умеют считать. Вот я и высчитала, что сроков своих мы не отсидим — сроки у нас большие, но он-то не протянет так долго, должен сдохнуть... Значит, была надежда». Вот так просто. Когда я помянула о несходстве наших с ней натур, я имела в виду именно эту мне недоступную простоту и естественность. Естественность в человеке — это вообще талант; естественность пишущего человека — талант неоценимый. Перечитывая книги Р.А., я снова и снова поражаюсь этой ее способности писать о чудовищном как об обычном. В трагическом видеть обыденное, совершенно естественно принимать как данность всякое событие жизни, подчас такое, о котором и греческие стоики не сумели бы говорить спокойно. И единственное, о чем она говорит всегда с волнением, — это встреча с человеком, с личностью. Тюрьма, лагерь, сорок километров пешим строем, офицеры, разглядывающие обнаженных женщин, — это ладно, это все тогда была норма жизни, неотъемлемая часть системы, но вот человек, сохранивший в этой системе свою душу, свой талант, свою совесть, — вот это чудо. И встречей с ним нельзя не поделиться, со всей щедростью, не жалея красок.

Писатель жил в Руфи задолго до того, как появилась первая ее книга. И это было ее счастьем, ее спасением.

«Я стояла перед неизвестными мне, потеющими в своей парадной форме, и видела не себя перед ними, а больше общую картину — их и нас и как я когда-нибудь — когда-нибудь — это опишу».

Вот так вот о том, что, не приведи бог, случилось бы ну, к примеру, со мной, и я бы такого вокруг наворотила, такими страшными словами замучила бы читателя, а ведь на самом деле так-то просто оно куда страшнее.

Из рассказа в рассказ она одаривает нас теми светлыми мгновениями, вспышками человеческих радостей, которые помогали выжить в крошечной тьме. Это песни, это лагерная самодеятельность, это стихи — она как бы говорит: если там, где жить нельзя, мы все-таки выживали, потому что были стихи, песни, творчество, то как же в вашем сегодняшнем дне, когда все это — ваше, только руку протяни, только шаг навстречу сделай, — как же вам не быть счастливыми?! Нет, она именно этого нигде не говорит, ее совершенная естественность включает в себя еще одно пленительное и крайне редко встречающееся свойство — никогда ни к чему не подталкивать собеседника, никогда никого ни в чем не упрекать. Ни в жизни, ни в литературе. Если она написала о Татьяне Григорьевне Гнедич, что та учила, не уча, то то же самое можно сказать и о ней самой. И тогда в Ленинграде, возясь с нами, непризнанными гениями, и в каждом разговоре, и в каждом своем рассказе — учила и будет учить, не уча.

Заканчивая рецензию на книгу Н.Я. Мандельштам «Мое завещание», Р.А. цитирует строчки Ахматовой: «Когда человек умирает, изменяются его портреты» — и дальше пишет: «Смерть автора утяжеляет его слово, определяет окончательно его вес. Так сказать, с точки зрения вечности».

Бесспорно, эти слова можно отнести и к творчеству написавшей их. Но вот сам ее образ для меня остается навсегда неизменным. Неизменно притягательным и любимым.

*Нью-Йорк, США*

## Дачные этюды

Не знаю, как для других, но для нас, росших в Ленинграде, только летом и начиналось все достойное внимания. Остальные месяцы казались одним серым днем, когда заставляют утром в темноте вставать, мыть лицо и руки ледяной водой, бежать по дворам сквозь арки нашего огромного дома в школу, а потом возвращаться, опять в темноту, и сидеть за бесконечными арифметическими примерами. В мой первый школьный год утром впереди бежал спешивший на работу папа, громко певший реалистическую песню Шостаковича «Нас утро встречает прохладой», а потом припев «Не спи, вставай, курнявая»\*. Он провожал меня в школу, потому что нужно было переходить большую дорогу на углу Кировского и Скороходова. Там действительно было сильное движение — и однажды, много позже, возвращаясь с пионерского сбора, я таки попала под машину, но отделалась ссадинами и синяками. Самое неприятное было то, что смотреть на это происшествие сбегалась вся улица и мне потом казалось, что меня покажут в какой-нибудь кинохронике, чего я боялась как ужасного позора. Поэтому я еще долго ежилась, когда в кино перед началом сеанса показывали кинохронику.

Лето было не просто каникулами, лето было дачей. Как только кончался учебный год, мы заказывали большой грузовик, погружали туда все необходимое и уезжали на дачу. Собственных дач, конечно, не было ни у нас, ни у большинства наших знакомых. Даже Жирмунские (семья академика, признанного ученого с мировым именем) долго снимали дачу в Комарове, и только потом у них появилась существующая до сих пор дача на Кудринской улице. Родители и их друзья не имели обыкновения ездить в отпуск на юг и, несмотря на постоянные дожди, выбирали Карельский перешеек. Объясняется это, по-видимому, не материальными причинами (за три месяца в Зеленогорске или в Комарове приходилось немало платить), а тем, что все они продолжали в отпуске свою работу, более того, использовали отпускное время, когда не нужно было «являться в присутствие», для интенсивных научных штудий и литературного творчества. В основном

---

\* Глагол «курнять» был изобретен студентами филфака в 30-х годах и широко использовался ими. Он имел широкое значение: «мурлыкать, любить, ласкать».



**Зеленогорск, 1960-е гг. Слева направо: Лариса Найдич; О.Л. Фишман, Н.А. Новокрещенова (сестра Р.А. — Ляля), Нина Серман, Марк Серман, Руфь Зернова, И. Серман, Георгий (Гаррик) Левинтон, Г.Я. Векслер, Лена Новокрещенова — дочь Ляли**

это были люди гуманитарных специальностей. На дачу привозили не только всякий скарб, но и необходимую литературу, пишущие машинки, словари; на верандах в Зеленогорске, Комарове, Ушкове шли постоянные дискуссии, обмен мнениями, обсуждения замыслов и заготовок. Традиции дачной жизни существовали и до революции. В финских поселках Куоккала (ныне Репино), Келомякки (ныне Комарово), Терийоки (ныне Зеленогорск) летом поселялись петербуржцы. Было принято общаться, ходить друг к другу в гости, обсуждать новинки культурной жизни. Семьи, проводившие лето в этих излюбленных местах отдыха, давно рассеялись по всему свету, и облик этих дачных мест совершенно изменился, но традиция дачного интеллектуального общения сохранилась. Д.С. Лихачев пишет по этому поводу: «Культура дачного общества была повторением русской культуры в целом, но в меньшем масштабе. Она носила разговорный характер. Мнение каждого вырабатывалось в беседах с друзьями, иногда в спорах, которые не вели к вражде, но создавали интеллектуальную индивидуальность каждого»\*.

\* Лихачев Д.С. Воспоминания. СПб., 1995. С. 71.

Среди участников нашей дачной филологической жизни были Шоры — Владимир Ефимович Шор, переводчик, преподаватель иностранных языков в Горном институте, и его жена, переводчица Инна Яковлевна Шафаренко; Левинтоны — Ахилл Григорьевич Левинтон, литературовед-германист, и его жена Ольга Лазаревна Фишман, китаист; Левины — Юрий Давыдович Левин, англист, литературовед и переводчик, и его жена Минна Исаевна Дикман, литературовед, редактор издательства. Наезжали и жившие в Ушкове Эткинды — литературовед, лингвист, переводчик Ефим Григорьевич Эткинд и его жена Екатерина Федоровна; и жившая в Комарове Нина Александровна Жирмунская, литературовед и лингвист, специалист по немецкой и французской литературе. Периодически приезжали московские друзья Серманов Раскины — Фрида Абрамовна Вигдорова, писательница и журналистка, и Александр Борисович Раскин, писатель и киносценарист. Иногда снимали дачу в Зеленогорске и другие Раскины — Борис Леонидович, литературовед, занимавшийся французской литературой, и Дора Львовна, преподававшая в школе русскую литературу. Появлялась Наталья Григорьевна Долинина, педагог, литературовед, писательница, с сыном и дочкой. Одним летом соседствовали с нами Елизавета Викторовна Ланда и ее муж Павел Рувимович Биркан, оба германисты. Сознательно отказываясь от эпитетов «замечательный», «выдающийся» и т.п., я утверждаю, что все они были и прекрасными, и замечательными, и необыкновенными. А в центре всего этого дачного мира неизменно были Илья Захарович Серман и Руфь Александровна Зевина (Руфь Зернова) — дядя Илюша и тетя Руня. У всех были дети примерно одного возраста, и у нас, у детей, сложилась своя компания, куда входили и сермановские дети: Марик и Ниночка, Юля Шор, Гаррик Левинтон, Миша Левин, Вера и Аля Жирмунские, часто приезжавшие их двоюродные сестры Маша и Наташа Барские, Лена Донская, Коля Вахтин. Периодически жил у Серманов и родственник Ильи Захаровича Кирилл (Кира) Векслер — прекрасный мальчик, очень друживший с Мариком. Гостила и моя двоюродная сестра Наташа Образцова. Реже появлялись другие: Маша и Катенька Эткинд, несколько старшие Миша Косман, Костя Азадовский, Миша Мейлах. Потом, когда мы уже стали взрослее, появились Лиза Берг, Лариса Волохонская, а вскоре и красивая девочка Наташа Новохацкая, впоследствии ставшая женой Марика. Были у нас свои занятия и увлечения, менявшиеся по мере нашего взросления. Мы отнюдь не были маленькими взрослыми и часто предпочитали игру в мяч разговорам со старшими. Но тем не менее постоянное общение и совместные занятия взрослых и детей не только остались в памяти, но и во многом определили и интересы, и характеры, и всю последующую жизнь.

Серманы появились, когда я уже была в школьном возрасте — кажется, во втором классе. Они не были в числе тех, кто приходил к родителям на Петроградскую, когда меня, еще дошкольницу, загоняли спать за ширму, а я смотрела в щелку и слушала бесконечные литературные разговоры. (Мама сердилась и говорила: «Тебе все нужно слышать!») Серманы всплыли неожиданно, появившись откуда-то. Мы сняли, как обычно, дачу в Зеленогорске, но не там, где раньше, а в новом, очень красивом месте. На улице было всего несколько домов — два на нашей стороне и огромная, скрытая за забором, таинственная усадьба напротив. Говорили, что она принадлежала знаменитому портному Берковичу, ее так и называли — «дача Берковича». Кто-то рассказывал, что один раз видел этого Берковича по дороге с вокзала, но, как ни странно, больше о нем или о его семье ничего не было известно, жителей дома напротив никто не знал. Дальше улица превращалась в дорогу, которая шла между лесом и лугами, где росло множество ромашек и колокольчиков — столько цветов было там только в нашем детстве, потом они стали исчезать из-за наступления города, даже, говорят, были занесены в Красную книгу. В нашем доме, последнем на этой красивой улице, одна маленькая комнатка оказалась несданной, свободной. И вот в один довольно холодный летний день у нас появились дяденька, тетенька и мальчик. Помню клетчатое пальто тетеньки, холодный зеленогорский пляж, куда мы пошли гулять, башню из песка, тихие разговоры. Все было овеяно тишиной, какой-то тайной. Я не знала, откуда они появились, где были раньше, почему до этого никогда не были у нас дома, но по своей тогдашней привычке доходить до всего самой ничего не спрашивала. Первое впечатление, связанное с Серманами, — тишина, шепот, всеобщие тихие разговоры, скорее молчание, совершенно не соответствовавшие ни их характеру, ни нашему последующему общению. Молчание, тишина, но ни в коем случае не перешептывание, не шептание за спиной.

Вскоре в маленькой комнате поселилась семья Серман, приехала и бабушка Генриетта Яковлевна, а через месяц — Ниночка, которая в июне была в пионерлагере, — большая высокая девочка, с удовольствием рассказывавшая о пионерской жизни и певшая песни («Есть лагерь, который я вижу во сне» на утесовский мотив). Эти «позже других» и «высокая девочка», сегодня потерявшие всякий смысл, почему-то остались у меня в памяти. Удивительным образом вся семья поместилась в маленькой комнатке. Я сразу подружилась с Мариком, тихим, послушным мальчиком, которого все полюбили. Особенно восхищалась им моя бабушка — Анна Исаевна. Ей нравилось, что он ничего не требует и не капризничает, что кидается помогать взрослым, не дожидаясь просьб или приказов с их стороны. Безмолвное «вырастешь — узнаешь» витало в воздухе, безмолвными были и вопросы, и ответы. Марик рассказывал, что жил в Одессе у

другой бабушки; он был в восторге от грибов, которые были для него в новость (в Одессе грибы не растут, меня это очень удивляло). Он собирал грибы радостно и вдохновенно, заботился о том, чтобы никто не вырывал грибницу («А то на этом месте больше грибов не вырастет»). Однажды он нашел целый выводок маслят в канаве, на нашей чудесной улице, напротив дома. Эта радость запомнилась мне, потом я часто заглядывала в канавы, в том числе и в ту же самую, но — увы! — чудо не повторилось ни в тот год, ни позже. В первые дни мы с Мариком подолгу пасовались мячом на тропинке в нашем дворе, играли почти молча. Постепенно Марик стал превращаться в обычного мальчика, иногда озорного, иногда послушного. А я, услышав, как соседский мальчик Леня говорил Марику: «Были репрессии, многие возвращаются», поняв, что Марик жил в Одессе у бабушки без родителей, а Ниночка — в Ленинграде у другой бабушки тоже без родителей, стала реконструировать ситуацию.

Большое удовольствие доставлял нам находившийся недалеко от дома водоем — нечто среднее между прудом и лужей. Думаю, что он был рукотворным: работал какой-нибудь бульдозер и оставил яму в мягком грунте. Здесь, в грязной илистой почве, жило множество насекомых; особенно интересны были головастики, за которыми мы наблюдали каждый день — в научных целях даже брали их домой, в банке с водой и илом из лужи. До сих пор их превращение в лягушек, вдруг начинавших прыгать, кажется мне чудом. Марик так хорошо изучил облик этих юных существ во всех деталях, что слепил из пластилина лягушку, настолько похожую на настоящую, что моя прабабушка — баба Люба, которой к тому времени уже перевалило за 90, испугалась и вскрикнула, увидев ее на полу в кухне. Баба Люба была единственным человеком, придиравшимся к Марику. Ей почему-то казалось, что он имеет какое-то влияние на нашу домработницу. «Катьку сманивает», — говорила она, неизменно называя домработницу именем предыдущей. Но на бабу Любу никто не обижался (и была она в принципе добродушной). Бывали случаи, что на Марика нападала и я — из-за мух. Он ловил их и замуровывал в стену, в щели нашего дома, что я считала жестоким. Причем, думала я, эта жестокость может потом развиться во взрослом возрасте. Но ни Серманы, ни мои родители не подхватывали моего педагогического порыва; пытки мух продолжались, не смотря на мои протесты.

Чуть ли не в первый день нашего пребывания у лужи к нам подошел маленький мальчик и сразу заговорил с Мариком так, как будто продолжал начатый разговор. Меня он сначала как бы не замечал. Потом мы все трое проводили время то у лужи с головастиками, то в лесочке или на лугу у дома, то на нашем участке. Мальчик этот был Гаррик Левинтон, уже тогда известный в зеленогорском филологическом обществе. А знаменит он был сначала тем, что знал столицы всех стран мира и достаточно было

сказать «Бразилия», «Перу» или «Люксембург», как он тут же без запинки выдавал названия. Кроме того, он мог стоять на одной руке. Делалось это так: его папа Ахилл Григорьевич выставлял руку, а Гаррик, опираясь на нее своей рукой, переворачивался вверх ногами. Этот цирковой трюк, который мы наблюдали в большой компании на зеленогорском пляже, кажется мне сегодня еще более удивительным, чем тогда. У нас не было принято целенаправленно заниматься спортом, физическая сила не культивировалась. Гаррик впоследствии стал кабинетным ученым — теоретиком. Его спортивные успехи, по-видимому, именно тогда достигли своего апогея. Характерно, что славился Гаррик скорее цирковыми трюками, а не необычной для своего возраста начитанностью и эрудицией. Он свободно цитировал Блока, любил читать наизусть «Незнакомку», вскоре стал рассказывать нам о том, как лучше читать Диккенса (возьмите роман Диккенса и легкую развлекательную книжку для чтения в перерывах), но в этом не видели ничего особенно удивительного. Интересовали нас всех тогда все же больше всего головоастки, у которых в какой-то момент отваливались хвосты, после чего они начинали прыгать.

Дружба Серманов и Левинтонов играла важную роль и в моей жизни. Лишь позже я узнала, что дружба эта скреплена общей трагедией — арестом Ильи Захаровича, Ахилла Григорьевича и Руфи Александровны по обвинению в антисоветской деятельности (эти обстоятельства описаны в одном из лучших рассказов Руфи Александровны «Элизабет Арден»). К Ахиллу Григорьевичу я иногда решалась обратиться с германистическими вопросами, которые стали волновать меня уже в подростковом возрасте. Например, однажды я наивно заявила, что мне непонятно окончание «Фауста» — «Chorus mysticus» — «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis» (по-видимому, остальное мне казалось вполне ясным и некоторую темноту этих заключительных строк я считала досадным недоразумением). Ахилл Григорьевич прочел мне целую лекцию, указав на море литературы, толкующей эти строки. Теперь мне кажется, что довольно рано он стал считать меня будущим товарищем по германистическому цеху (как жаль, что тогда я стеснялась воспользоваться этим и побуждать его читать мне лекции, что, как мне кажется теперь, он делал бы с удовольствием). По-видимому, его трогала в числе прочего и моя юношеская любовь к Гете. 28 августа я обычно праздновала день рождения Гете; иногда мы покупали торт в честь «новорожденного», а чаще всего отмечали этот день походом в лес за грибами («Гете был сторонником слияния с природой», — резонно поясняла мама). Хорошо помню последнюю встречу с Ахиллом Григорьевичем в ветреный день на Пушкинской площади, когда я шла из университета. Его скептическая, всегда кривоватая улыбка превратилась в широкую и приветливую, мы говорили о германистических делах; точного содержания разговора я, к сожалению, не помню. Вскоре Ахилл



Григорьевич внезапно умер от остановки сердца. Эта смерть, так же как и длительная болезнь и смерть его жены Ольги Лазаревны, казалась мне следствием того ужаса, который они пережили, — не смерть, а гибель, убийство. Ахилл Григорьевич, написавший много работ о немецкой литературе, известен больше всего не как литературовед, а как автор ставшей действительно народной песни «Жемчуга стакан», бытующей во многих вариантах («Стою себе на месте, держу рукой карман»). Сам он говорил об этом с большим сожалением, хотя эту песню ценил. Безумно жалко, что этот талантливейший человек рано ушел из жизни, что он не преподавал в университете (даже во времена хрущевской «оттепели» еврея, конечно, не могли взять), не имел учеников. Далекое не всем удалось, как Серманам, как бы прожить несколько жизней, внося в каждую последующую опыт предыдущих, который дал им закалку, не оставив их при этом морально и физически ущербными.

Другой частый гость нашей дачи, Владимир Ефимович Шор, тоже знал о моих филологических склонностях. Однажды он долго разговаривал с моей мамой о занятиях и интересах детей. Уже тогда было ясно, что многие из нашей детской компании станут филологами\*, а Гаррик даже переделал популярную тогда песенку «Девушка в платье из ситца / Каждую ночь мне снится...» на «Рукописи страница / Каждую ночь мне снится. / Не разрешает мне мама моя / Филологом становиться». Последнее, конечно, было поэтическим преувеличением.

При первом знакомстве с Владимиром Ефимовичем дети с опаской и любопытством смотрели на его черную перчатку (еще в юности он потерял руку), но к этой его особенности быстро привыкали. А больше всего запомнился взгляд его очень добрых, темных, пронизательных глаз. Он работал на кафедре иностранных языков в Горном институте, откуда, как

---

\* Из нашей дачной детской компании действительно вышли филологи и люди, причастные к литературе. Гаррик (Георгий) Левинтон занимается фольклористикой и этнологией, а также русской литературой Серебряного века. По стопам своих родителей пошла и Юлия Шор: она переводит с английского, преподает на кафедре общего языкознания, в частности читает курс теории перевода. Вера Жирмунская-Аствацатурова преподает русский язык и литературу, пишет пособия для студентов и литературоведческие статьи, занимается историей Петербурга. Лена Донская преподает русский язык в США, написала учебник. Нина Серман, литературовед и переводчик, живя в Лондоне, уже в течение многих лет работает на радиостанции Би-би-си, где готовит передачи о литературе; Наташа Новохацкая, живущая в Нью-Йорке, работала и преподавателем, и переводчиком, и менеджером, пишет рассказы. Николай Вахтин — лингвист и этнолог. Но есть и люди других специальностей. Александра Жирмунская — художник, преподаватель рисунка; Марк Серман — кинооператор и фотограф-художник в Нью-Йорке, Миша Левин — математик, Кирилл Векслер — химик, Маша Эткинд — архитектор (живет в Торонто), Наташа Барская стала фармацевтом, а ее сестра Маша — инженером. Мой брат Антон Лотман стал врачом.

известно, вышло много писателей и поэтов. Они были его учениками, советовались с ним, приносили ему свои стихи, слушали его рассказы о литературе. У Городницкого, который тоже учился у Шора, есть стихотворение «Комаровское кладбище», где об этом рассказывается\*. Владимир Ефимович рано умер. Говорят, что у него была мечта, которую он так и не осуществил, — увидеть Париж.

Вскоре лето стало означать для нас не просто дачу, а дачу, совместную с Серманами. Обычно мы снимали полдома или дом и у нас была общая большая кухня. Почти всегда это было в Зеленогорске, лишь один раз мы почему-то жили в Рошино. (Тогда в том же доме жила и тетя Ильи Захаровича — Мария Яковлевна с сыном Сашей, Александром Хаймовичем Горфункелем, историком и литературоведом, специалистом по итальянскому Возрождению, невесткой Розой, искусствоведом, сотрудницей Эрмитажа, и маленькой внучкой Машенькой.) На нашей даче обычно были два места всеобщего сбора: для гостей — сермановская веранда, для семейного общения — большая кухня. Кухня была такой просторной из-за (а в данном случае действительно лучше сказать «благодаря») смекалки хозяев дома. Чтобы не было неприятностей, например какого-нибудь уплотнения, изъятия жилплощади и т.п., они преобразовали самую большую комнату в кухню: там стояли газовая плита и большой стол, и через нее проходили и на нашу, и на сермановскую половину. На кухне разговаривали до поздней ночи, спорили о литературе и о жизни, жарили котлеты, резали свежие нежные листья салата, к которому добавляли редисочку, лук и укроп, а к концу лета помидоры и огурцы, обедали по очереди, мыли посуду. Перед сном на кухню приносили таз, грели воду для мытья ног, которое казалось почти ритуальным. Вот сменяются персонажи, как в кино или в какой-нибудь игре: над тазиком склоняется то Саша Раскина, то Наташа Новохацкая, то еще девочка — имени не помню, — ученица Доли-

---

\* А. Городницкий посвятил Владимиру Ефимовичу следующие строки:

И вспомню я над тишиной могил,  
Услышав звон весеннего трамвая,  
Как Шор в аудиторию входил,  
Локтем протеза папку прижимая.

Он кафедрой заведовал тогда,  
А я был первокурсником. Не в этом,  
Однако, дело: в давние года  
Он для меня был мэтром и поэтом.

Ему, преодолевая легкий страх,  
Сдавал я переводы для зачета.  
Мы говорили битый час о чем-то,  
Да не о чем-то, помню — о стихах.

ниной. Как сменявшие друг друга многочисленные гости помещались в маленькой комнате и на веранде, где и самим-то хозяевам должно было быть тесно? По-видимому, просторная, но холодная веранда давала большие возможности для того, чтобы вместить оставшихся на ночлег гостей. Через много лет тетя Руня выговаривала мне: «Почему к тебе не приходят люди? Дети должны видеть твоих знакомых, слышать их разговоры». Неудобство нашей дачной жизни составляла деревянная уборная. То, что она находилась в конце участка, противоположном дому, казалось естественным; мешало другое: нужно было пройти по тропинке, а на ней мальчишки часами чинили свои велосипеды (велосипеды у них были такие, что чинить их можно было всю жизнь). И как же пройти незаметно? А они еще начинали нарочно поддевать: «Ты куда идешь?» Тетя Руня объясняла: «А ты что, хотела казаться неземным существом, которое туда не ходит?» Она вообще спокойнее относилась к неразрешимой проблеме, с самого детства грозно нависшей надо мной, — противоречию между духом и телом. И она, и Ниночка могли, например, сказать: «Сегодня мне нельзя нести ведро с водой», что с точки зрения моих мамы и бабушки было недопустимо. Даже дядя Юра (мамин брат, Юрий Михайлович Лотман), отличавшийся простым и веселым нравом, считал, что дух человека правит его телом. Тем не менее некоторая суровость воспитания, свойственная нашим родителям, разделялась и Серманами. Если Ниночка никогда не заслуживала порицания, то Марик, который в детстве был очень послушным, в переходном возрасте мог и провиниться. Если он непозволительно поздно возвращался или допускал другие вольности, тетя Руня устраивала ему взбучку. Она, как мы заметили, держала наготове треснувшую чашку или блюдечко и бросала их об пол, выражая непослушному сыну свое негодование. Так что ни о каких вольных нравах или распушенности и речи не могло быть. Много позже, уже в Израиле, в одном из разговоров тетя Руня, часто ездившая в то время в Америку, порицала американцев за плохое воспитание. Она объясняла американскую позицию следующим образом: «Молодой человек встал мне на ногу и стоит. Ему так удобно, а обо мне он не думает. Зачем? Ему же хорошо!» Так что в конечном счете принципы воспитания, как и многие другие принципы и привычки, у Серманов и у нас совпадали. Недаром посторонние удивлялись нашей большой дачной семье, а непосвященные мучились в догадках, кто кому кем приходится; тем более что мои родители к тому времени развелись, и получалось, что у нас странное, но при этом очень дружное сообщество, состоящее из одного мужчины, женщин разных возрастов и детей.

Жизнь наших друзей-соседей постепенно улучшалась. У дамской половины семейства стали появляться красивые туалеты, обсуждавшиеся всей дачей. Нужно сказать, что жили мы все не только скромно, но даже аскетично. Страсть к красивой одежде не была тогда популярной среди

интеллигенции. Тем не менее, когда в зеленогорском магазине появились импортные бархатные женские брюки, тетя Руня приобрела их первой и поражала всех своим модным видом. Правда, мужчины не очень-то модничали. Илья Захарович отнюдь не выделялся своей одеждой, а у Марика были одни-единственные штаны, которые он носил в будни карманом вперед, а на праздники — карманом назад. Самые красивые туалеты мне шила бабушка, с большой выдумкой переделывая старые платья и костюмы (на дачу привозилась старинная швейная машинка фирмы «Зингер»), а модными тогда жатыми ситцевыми купальниками, которые тетя Руня, Ниночка и я купили в ларьке на пляже, я очень гордилась. Несмотря на всю эту скромность, у Серманов было принято обсуждать внешность людей, чаще, правда, незнакомых. Илья Захарович и Руфь Александровна говорили, что надо учиться создавать словесный портрет человека, и приводили соответствующие примеры. Мы восхищались красотой утонченных брюнеток, которых встречали на улице или на пляже. От Серманов я впервые узнала о конкурсах красоты, проводившихся за границей. Они живо обсуждали эти приятные и далекие от политики события, читая о них во французских и итальянских газетах, которые, как ни странно, можно было купить в киосках Союзпечати в Зеленогорске. Эти конкурсы и вообще обсуждение красоты вызвали у нас полемику, в результате которой мы в конце концов пришли к консенсусу. Основным оппонентом была моя бабушка, подвергавшая сомнению правильность восхищения красотой: ведь красота дается природой, не являясь заслугой человека, она не имеет отношения ни к интеллекту, ни к душевным качествам. Моя мама приняла сторону Серманов, сказав, что, в конце концов, и талант дается природой, и приведя рассказ Чернышевского о том, как в маленьком городе все ходили смотреть на одну красавицу как на местную достопримечательность. Моя мудрая бабушка сдалась. Почему так запомнились эти, казалось бы, малозначительные разговоры? Думаю, что это были уроки свободы. Красота, да еще почерпнутая из итальянских и французских газет, по самой своей сути противоречила официальной советской идеологии, проповедовавшей аскетизм, слияние с массой, единообразие, приводившие к безрадостному существованию. И это был не единственный урок свободы, который я получила от Серманов. Почему свободой веяло от этих людей, прошедших сталинские лагеря, а теперь живших обычной советской жизнью? Думаю, что здесь сказывались и разумный, спокойный характер и мудрость Ильи Захаровича, и особый склад и жизненный опыт тети Руни. Она была западным человеком в лучшем смысле этого слова, человеком, выращенным интернациональной Одессой, с детства глядевшим «на море и обратно», а в юности побывавшим в Европе — и не туристом, а участником войны за свободу в Испании. Она видела, знала, понимала и чувствовала так, как это делает свободный человек. Что касается

страхов и свойственного нам всем ожидания неприятностей (ср. у Окуджавы: «Диктор телевизионный катастрофами пугал»), то мерилом всему были пережитые война и лагеря. Тетя Руна учила не задумываться о возможных будущих неприятностях. Она говорила, что строит планы только на ближайшие три дня, чему, в свою очередь, научилась от подруги, которая объясняла: «Потому что я варю суп на три дня».

Пребывание на пляже было почти что ритуальным занятием. Считалось, что загорать очень полезно, а к морю относились с благоговением. Серманы приучили меня купаться летом в любую погоду, невзирая на температуру воды. «Если холодно, хотя бы окунись». При том что я всегда мерзну, это умение я сохранила и однажды в уже довольно солидном возрасте поразила большую компанию тем, что, проходя мимо озера, сняла плащ и кофту и полезла в воду. Серманы ходили на пляж с гурьбой детей разных возрастов. Они брали с собой хозяйского мальчика, заходили за какими-то детьми, которых я сейчас уже не помню; и говорить нечего о том, что и я, и Гаррик, а потом и мой маленький брат Антон были в этой большой компании. Посторонние принимали нас за огромную многодетную семью — редкость в советских условиях — и умилялись. По дороге покупали в киоске иностранные газеты. Однажды их еще не успели завезти и продавщица сказала тете Руне: «Пришлите позже кого-нибудь из детей, ведь у вас их так много». Был запомнившийся период, когда Серманы завели еще один обычай: по дороге на пляж они покупали всем детям мороженое. Для меня это было внове: как это есть по дороге? Бабушка не давала мне есть «на ходу» — уж если мороженое, так в кафе. Но только я успела научиться, как обычай был отменен. Дядя Илья и тетя Руна подсчитали деньги — оказалось, что грядет дефицит. Детям было прямо сказано: «Все, никакого мороженого, денег нет».

Если на пляже все собирались вокруг Серманов, то во время прогулок по лесу не обходилось без моей мамы. Она коренная петербурженка, в детстве проводила лето вместе с сестрами и братом в Сестрорецке, возле тогдашней границы с Финляндией. Тогда она и научилась разбираться в грибах и ягодах. Случалось так, что ее родители — мои бабушка и дедушка — уезжали на всю неделю, а детям не хватало оставленной еды, что они, разумеется, скрывали от взрослых. Вот они и выходили из положения с помощью «даров леса». (Рассказы об этом меня очень вдохновляли: «Нам бы так!») Да и потом, в послевоенные годы, мама любила ездить вместе с моим папой или с дядей Юрой за грибами на Карельский перешеек, где тогда еще сохранялись следы войны (воронки, канавы, оружие, мины, а иногда и трупы) и было довольно страшно — но грибов и ягод было очень много. Мама показала нам Линдуловскую — корабельную рощу, за Рощином, основанную еще Петром Первым. Мы стали туда часто ходить за грибами и для того, чтобы посмотреть на чудесные, уходящие

в небо лиственницы с розоватыми стволами. Однажды мы шли большой компанией по лесу, и все дети — я, Ниночка, Марик — хотели идти рядом с моей мамой, спорили и даже толкались, а проходившая мимо женщина сказала: «Надо же, как дети любят свою маму!» Нас опять приняли за одну большую многодетную семью!

Дачное домашнее хозяйство требовало, естественно, много времени. У нас основной удар брала на себя бабушка, которая героически стояла у плиты, несмотря на свое больное сердце; но обычно была и домработница. У Серманов домашнее хозяйство, которое они стремились по возможности упростить, распределялось между членами семьи. Хорошо помню, как Илья Захарович ходил в домовую кухню и приносил в кастрюльках и бидончиках готовые обеды для всей семьи. С поварихой, работавшей там, Серманы познакомились, и однажды, когда я была в старших классах, рекомендовали меня давать частные уроки русского языка дочке этой женщины — она готовилась поступать в авиационный техникум. Девочка оказалась смышленной, экзамены сдала хорошо, а я впервые получила заработанные собственным трудом деньги. Посуду обычно мыла Нина, при этом она пела, так что получался целый концерт, иногда мы мыли посуду одновременно и я становилась ее слушательницей. Посуду мыли в тазиках, воду приходилось выливать на улицу, около крыльца. В этом месте вырос красивый желтый цветок (то ли ирис, то ли лилия), который мы называли «сливуй», так как на него сливали воду. Поскольку кухня была общая, иногда мы по ошибке менялись посудой. Наши родители купили в Зеленогорске одинаковые пластмассовые розетки для варенья, казавшиеся мне очень симпатичными (вроде под хрусталь). И вот получалось так, что все розетки перекочевывали то к нам, то к Серманам, и постоянно приходилось их искать и подсчитывать. Это вызывало ужасный смех у наших бабушек, и они сочинили песню — пародию на ту, которую пела молодая Алиса Фрейндлих в сделавшем ее знаменитой спектакле «Время любить»: «Что-то очень непонятное носится в эфире». Дальше шло про летающие розетки. Только позже я поняла причину этого юмора. Несмотря на демократизм наших бабушек, пластмассовые розетки казались им малоподобающей для семейного пользования посудой. Для Генриетты Яковлевны, которая раньше жила в Германии, нормой был бы мейсенский фарфор, а для Анны Исаевны, выросшей в Сибири, где знали толк в хороших вещах, — кузнецовский. Впрочем, понятие о ценности материала меняется. Баба Люба скребла кастрюли серебряными ложками, зато берегла от воров сковородник, повторяя: «Он чугунный».

Постоянно происходил и обмен кулинарными рецептами; когда бабушка заболела, мне приходилось срочно осваивать кулинарию. Впервые я стала готовить самостоятельно в драматический момент, когда у мамы не было отпуска, а бабушка внезапно тяжело заболела и попала в больницу

и я осталась одна с маленьким братом. Но когда обед у меня был уже готов, наступило обеденное время и для Серманов и, конечно, Антошка сел за стол с ними, а мой обед был ему уже не нужен. Уговоры были бесполезны. Зачем же я так старалась? Вечером меня ждал еще один удар. Приехали Юрий Давыдович Левин и тетя Минна — их-то я знала с раннего детства и очень любила. Антошка тоже их, конечно, знал и, когда лил дождь, говорил: «Идет дядя Левин» (ливень). Они жили тогда не в Зеленогорске, а в маленьком поселке Ильичево, куда нужно было добираться на автобусе. Тетя Минна исходила из теории, что отдыхать нужно в глуши, подальше от цивилизации. Поселок был известен тем, что там скрывался Ленин; но, кроме славы, там ничего не было, за всем приходилось ездить в Зеленогорск. Тетя Минна все знала и все умела организовать в любых условиях — даже запрещенные стихи Ахматовой ей удавалось провести через цензуру в издательстве «Советский писатель», где она работала. До нее сразу дошли слухи о затруднениях в нашей семье. Она срочно продиктовала мне несколько кулинарных рецептов — до сих пор помню, что там был помидорный суп. А потом наши гости принялись уговаривать Антона поехать к ним на несколько дней. Антошка, конечно же, согласился, несмотря на мои увещания и сетования по поводу приготовленного обеда. Он всегда считал — и с полным основанием, — что все знакомые хотят его видеть у себя и нельзя отказывать им, хотя бы из сострадания. Однажды, возвратившись домой от наших соседей по лестнице, он сказал: «Как мне их жалко!» Обед я доела сама, но кулинарные навыки пригодились.

Маленький Антон пользовался любовью у друзей наших родителей у Левиных, у Бориса Леонидовича и Доры Львовны Раскиных, а особенно, конечно, в сермановской семье и всегда был в центре всех событий. Надо сказать, что он с самого раннего детства умел привлекать к себе людей интересными рассказами, выдумками, хорошим отношением ко всем. До сих пор у меня перед глазами стоит картина: Илья Захарович на пороге дачи с сеткой, в которой две огромные дыни, и маленький Антошка, бегущий навстречу со словами: «Какой дядя Илюша добрый!» Хитрость, лесть? Нет. Однажды у нас, детей, возник почему-то спор: кто добрее — мужчины или женщины? Я колебалась, склоняясь скорее ко второму, а сермановские дети решительно говорили: «Мужчины!» Сказывался опыт их семьи, где основной «воспитательный удар» брала на себя мама, прибегая к разработанным ею методам (упоминавшееся выше треснувшее блюдечко, которое при необходимости со звоном летело на пол).

Антон стал вскоре героем детской книжки тети Руни, так и называвшейся — «Про Антона» — и основывавшейся на реальных событиях. Для создания рисунков художница брала фотографии нашего Антона, только нос немного переделала — еврейского мальчика не пропустила бы цен-

зура. Книжка получилась хорошая, знаю, что ее с удовольствием читают и дети, и взрослые. Жалко, что ее не переиздавали. Уже после отъезда Серманов в Израиль эту книгу читали по радио (редакторы забыли о бдительности). Читали в лицах хорошие актеры, вот только бабушка «для порядка» говорила простоватым говорком, чтобы не подумали, что речь идет об интеллигентах.

Когда Антон только начинал говорить, он называл всех «своими» именами: Генриетту Яковлевну звал ДигинЕтина, няню Марию Адамовну — МадАнина. Генриетте Яковлевне так понравилось ее имя, что она даже подписывала им письма. О Марии Адамовне — особый рассказ: она заслуживает того, чтобы стать героиней если не романа (для этого в ее жизни не хватало шаблонных деталей), то, во всяком случае, повести. Была она финкой-ингерманландкой из Гатчины, и даже фамилия ее была Финне (один филолог сказал мне, что фамилия эта шведского происхождения). Говорила она по-русски не то чтобы с большим акцентом, но с некоторыми особенностями лексики и грамматики. Больше всего это проявлялось во фразеологизмах, которые она обильно использовала. «Что каменишься, как банный лист!» — говорила Мария Адамовна, когда Антон не хотел одеваться. «Пристал как нищий к городовому», — пресекала она капризы детей. Часто ее рассказы или замечания начинались так: «Вот моя мама тоже, как вы, была такая же идиотка». «Не нужно на это обижаться, — поясняла моя мудрая бабушка. — Наоборот, она сравнивает нас со своей мамой, это же почетно». Из-за плохого состава воды в Гатчине Мария Адамовна, как и многие жители этого района, страдала базедовой болезнью. Болезнь повлияла и на характер: была она взбудораженной, непредсказуемой и громкой. Во время войны Гатчина была «под немцем», фашисты отправили Марию Адамовну чинить шпалы на железной дороге, а немцы-мародеры чуть было не отобрали у нее все имущество. Коронным ее рассказ состоял в том, как немец тащит у них гуся, а мама кричит: «Ой-ей-ей, где мой Маруська?» — и завершался словами «А Маруська тут, а Маруська здесь!», которые произносила юная Мария Адамовна, и позорным побегом немца. Мария Адамовна, безусловно гордившаяся своей победой, сопровождала свой рассказ соответствующими телодвижениями: она подбоченивалась, при словах «тут» и «здесь» выставляла вперед то одно плечо, то другое, показывая свою полную готовность к боевым действиям. Гатчинских финнов немцы «репатриировали» в Финляндию, а потом, после войны, их передали в Советский Союз, и они сразу же оказались в ссылке. Наша смелая Мария Адамовна бежала и долго нелегально жила в Эстонии, на хуторе, где работала у хозяйки, мужа которой забрали. Была Мария Адамовна худой, сильной, выносливой, жилистой. Работала замечательно — могла быстро намывать полы, постирать, напечь пирогов, выкрикивая при этом свое коронное ругательство: «Ну маткин берег!»



Внешность ее была такой же необычной, как все остальное: одно ухо от рождения загнуто, кончик носа картошкой, так как однажды она упала со стога сена прямо носом на вилы. Глаза зеленые, живые, с огоньком. Во время одной из операций Марии Адамовне перерезали какую-то жилку, и, когда она засыпала, раздавался громкий свист. Наша соседка по коммунальной квартире называла это: «Подъезжаем к Бологому». Дети Марию Адамовну очень любили, но терпеть ее было трудно из-за взрывного характера. Только моя мама и бабушка могли долго иметь с ней дело — и потому, что ценили в ней работающего и порядочного человека, и потому, что выхода не было.

Очевидно, младшие мальчики пользовались у нас особым статусом. Все любили умненького, веселого и очень доброго Гаррика, а больше всех, по-видимому, тетя Руня. Но она, как мне кажется, была сурова именно со своими любимчиками. Лишь много позже она, например, призналась, что ее любимым ребенком был младший — Марик, а что из детей знакомых она с особой нежностью относилась к Гаррику, хотя в те годы не давала спуску ни тому ни другому. Когда тетя Руня после многих лет увидела на какой-то научной конференции взрослого Гаррика, у нее слезы потекли ручьем. Любимцем Серманов был и маленький Антон, а мои мама и бабушка особо любили Марика. Поскольку он, как все подростки, всегда был голодный, они стремились его угостить. Он был неприхотлив и радовался не только какому-нибудь лакомству, но и полезной капустной кочерыжке. Если не было сладкого, мы с Мариком делали бутерброды с маслом и сахарным песком, которые были плохи тем, что, когда мы смеялись, они легко осыпались (а мы, как назло, все время смешили друг друга). Однажды мама подарила Марику деньги, чтобы он купил себе все, что хочет (летом у него был день рождения). Марик сиял от радости; он проявил благородство, решив купить что-то для общего пользования. Он принес огромный кулек леденцов и порошок для изготовления лимонада. Из порошка ничего хорошего почему-то не вышло, и Марик в конце концов высыпал его в рукомойник, а леденцы долго лежали на общем кухонном столе, не пользуясь особым спросом. Позже мама помогала Марику в драматический момент, когда он готовился поступать в университет на востфак. Евреев туда, разумеется, не брали, но могли сделать исключение, тем более что Марик шел как производственник: последние годы он учился в вечерней школе и работал на кораблестроительном заводе. Требовалось знать наизусть всю русскую историю — начиная с древнейшего периода, когда «наши предки» жили в лесах, и до последних съездов КПСС. Я до сих пор считаю, что запомнить все это невозможно. Мама была мастером придумывать «мнемонические правила». Я помню, как она учила Марика истории народолюбцев: «Вот идешь по Невскому от Адмиралтейства. Какая улица будет слева? Правильно, молодец. А потом какая?» Сегодня

этим улицам возвратили их исконные названия, так что эта мнемоника не годится, но и история несчастных террористов, убийц-романтиков, надеюсь, не занимает больше такого места в школьной программе.

Наши родители не были спортивными людьми, но некоторые спортивные игры все же были распространены. Взрослые — и Илья Захарович, и Левинтоны — иногда играли между собой и с нами в настольный теннис (вскоре у нас на участке появился теннисный стол, правда, плохой, с огромными щелями, что требовало особого искусства игры). Чемпионом среди взрослых была Ольга Лазаревна Фишман (тетя Ляля). Может быть, китайский характер этой игры или китайские шарики, использовавшиеся в ней, вдохновляли ее. Тетя Ляля Фишман была специалистом по китайской литературе, ученым и переводчиком высочайшего класса и при этом добрейшим человеком, обожаемым всеми детьми. Играли мы со взрослыми и в волейбол, иногда в игре на нашем дачном участке принимал участие Илья Захарович, а на пляже для игры в мяч собирались люди разных поколений. Нужно сказать, что летом я наслаждалась движением: бегала, прыгала, играла в мяч. Теперь я понимаю, что зимой у меня был дефицит движения: школьную физкультуру я терпеть не могла, в спортивные секции не ходила — я стеснялась, боялась спортивных снарядов, ненавидела спортзал с пыльными матами и запахом пота. Бегать в коммунальной квартире было невозможно, а на прогулках мы чинно ходили либо по саду, либо по улицам. Любила я прыгать и всегда прыгала от радости — просто так, прыг-скок, с чем постоянно боролась дома (соседи услышат). На даче к моей беготне относились благосклонно. Илья Захарович говорил: «Лора не прыгает, а летает». Не случайно еще раньше Георгий Михайлович Фридлендер, с которым мы были дачными соседями еще в моем дошкольном возрасте, прозвал меня «водяной комар» («водяной», потому что он ходил со мной на пляж, где мы купались) и даже написал стихотворение об этом самом комаре на двух языках — по-русски и по-немецки. А дядя Юра (мамин брат) дал мне прозвище Блоха. Мы шли за пределы участка, на улицу, чтобы играть в мою любимую круговую лапту. Я часто выходила в финал, бегала и ловила мяч за всех. Гаррик говорил, что угнаться за мной — все равно что... и дальше шло красивое литературное сравнение (нечто вроде «поймать серну», «обогнать страуса»).

Но погода в Ленинградской области такая, что пол-лета приходилось сидеть дома. В сочиненном нами зеленогорском дачном гимне типичное холодное дождливое утро описывалось так: «Встаем мы с кряхтеньем и скрипом, / Напялив четырнадцать кофт. / Сидим за столом, уж накрытым, / А Гаррик под окнами ждет». Серманы учили нас разным «тихим играм»: например, в монетку, или «Добчинский-Бобчинский», когда кто-то один получает монету и прячет ее между пальцами или под ладонью. Играли в эту игру обычно, когда шел дождь, на кухне или, тепло одевшись, на ве-

ранде. Чтобы монетка не звенела, приносили легкое одеялко, обычно использовавшееся для глажки, расстилали его на столе. Иногда с нами играли и взрослые, и тетя Руня выкрикивала своим хрипловатым голосом: «Бобчинский-Добчинский, руки на стол!» Играли в отгадывание слова — в «виселицу», и однажды Марик загадал мне слово, которое я, как ни старалась, не могла понять, в результате чего он и нарисовал мне противную виселицу с висящим на ней человечком. Слово это было «колодезь» — в милой региональной форме, по-видимому, привезенной из Одессы. Я, уже тогда склонная к лингвистике, заинтересовалась, почему не «колодец», и вовсе не из-за того, что меня задел проигрыш. Но он не объяснил, очевидно, смутившись, и маленький человечек так и остался висеть. Вместе со взрослыми мы играли в увлекательные, развивавшие фантазию словесные игры, например загадывание знакомых: «А если бы она была цветком, то каким?», «А если бы она была вазой, то какой?». Во время такой игры всех насмешил маленький Антошка, спросив: «А если лошадьёю?» Играли и в карточные игры, и в «чепуху»: задавали вопросы, а потом перепутывали ответы, что вызывало всеобщий смех. Однажды я подошла к игре серьезно и задала тете Руне, которая играла со мной в паре, ученый вопрос. Я тогда начинала читать по-немецки классическую литературу и спросила: «Кто такой Гетце?» (мне попались в руки труды Лессинга, где он полемизировал с этим деятелем). Тетя Руня тоже не знала, но находчиво ответила: «Безусловно, немец». После перетасовки этот ответ соединился с вопросом «Кто такой сволочь?». Мы очень смеялись. Никаких антинемецких настроений у нас не было.

В гости я тоже часто ходила с Серманами — на детские праздники с Ниночкой и Мариком. Летом праздновали день рождения Али Жирмунской, в Комарове собирали взрослых и детей. Тетя Руня дружила с Ниной Александровной с детства — обе они из Одессы. Они очень любили друг друга, хотя были разными: веселая, удалая, прямая тетя Руня и сдержанная, серьезная Нина Александровна. Обе женственные, но по-разному: тетя Руня — обаятельная, улыбающаяся, с короткими рыжеватыми волосами, с нежными веснушками на румянном лице, и Нина Александровна, красивая классической красотой античной камеи, — крупные седые кудри вокруг смуглого лица. Тетя Руня рассказывала, что она была первой подружкой дочери, которую приняли в доме Сигалов — родителей Нины Александровны. Через много лет тетя Руня, жившая уже в Израиле, тяжело пережила известие о трагической гибели Нины Александровны. «Не уберегли Нину!» — сокрушалась она и даже добавила весьма крепкое слово, которое я услышала от нее впервые. И правда, не уберегли. Нина Александровна попала под машину около университета, спеша после работы за какими-то продуктовыми наборами в момент большого дефицита продуктов. Я была с детства знакома с Верой и Алей Жирмунскими еще и

благодаря Елене Мануиловне — нашей общей любимой учительнице немецкого языка, которая давала нам частные уроки и два раза в год собирала нас у себя дома, устраивая грандиозные выступления на немецком, к которым мы готовились несколько месяцев. У Жирмунских было весело, взрослые проявляли выдумку для детских развлечений. Помню, как однажды Нина Александровна положила на стол у каждого прибора записки, где в стихах указывалось, для кого предназначается соответствующее место, например: «Круглолицый, словно шарик, здесь усядется наш Марик». Иногда к детям приходил и сам Виктор Максимович Жирмунский, папа Веры и Али. Уже в детстве мы знали, что он — ученый мирового класса: у него учились и мои родители, и Серманы, и большинство их друзей, и Нина Александровна, ставшая впоследствии его женой. Когда я поступила в университет, Жирмунский уже не преподавал, но мне посчастливилось учиться у Нины Александровны, преподававшей нам германистические дисциплины.

Несколько раз мы ходили с Серманами на детские увеселения и зимой, например на елку в ИРЛИ (Пушкинский Дом). После этих праздников взрослые задавали мне вопросы: «Тебе понравилось?» — «Да». — «Было весело?» — «Да». — «Было много детей?» — «Да». — «А кто из детей тебе понравился?» — «Ниночка и Марик». Взрослые смеялись.

В Ленинграде на общение не хватало времени. Серманы приходили к нам на дни рождения, приносили необычные подарки. Иногда мы встречались в театре — тогда было много интересных гастролей, на которые мама меня стала брать очень рано, лет с двенадцати. Помню дядю Илью и тетю Руню на спектакле Жана-Луи Барро «Гарольд и Мод», когда сам Барро выскочил по ходу действия в зал и оказался рядом с ними. Все мы были в восхищении, а тетя Руня рассказывала нам про пьесу, которая, оказывается, была к тому времени уже знаменитой. В другой раз мы встретили Серманов на спектакле Эфроса «Ромео и Джульетта», к которому мы все отнеслись, как я помню, критически. Изредка к нам в гости приезжал Марик. Мы ходили по Петроградской стороне, по любимым местам моих прогулок: Кировский проспект, Большой проспект с пересекающими его таинственными улочками — Полозова, Подковырова, Бармалеева, Подрезова, Плуталова, а потом, когда уже исчерпываются все тайны и выходишь к площади, — Ординарная. Этимология этих названий различна: одни из тех, в честь кого они были названы, — купцы, другие — революционные деятели, может быть, таких купцов и изничтожившие, а Ординарная, знаменующая собой конец всех этих тайн, значит «простая, обычная». Мне часто хотелось заблудиться в этих улицах и переулках, которые, казалось бы, даже своими названиями были предназначены для этого, но я неизменно попадала на какое-нибудь знакомое место. С Мариком мы заходили во все стоящие внимания магазины. Книжный. Мы смотрим книги, Марик

почти все читал. «Как, и воспоминания летчика Водопьянова? Они же только что вышли из печати!» — «Читал». Я восхищалась. Так много читать я не успевала, долго сидела над уроками. Плакаты, открытки. Сюда я прихожу во время каждой прогулки. Мама дает немного денег, я покупаю одну или две открытки, я их коллекционирую. Школьные принадлежности. Тетрадьми прямо на улице торговал странный дяденька. Елена Толстая, которая в детстве жила рядом с нами, тоже помнит его; она описывает в рассказе «Виконт Дображелон», как он содрогался, будто недоодел свой ватник\*. Мне казалось другое: протянет тетрадку, мол на тебе, девочка, а потом обратно — не хочу давать, и весь дрожит, потом опять протягивает. «Пляска святого Витта», — говорили родители. Надо же! Ну и название! Святой! В ювелирном магазине мы с Мариком рассматриваем кольца, серьги и браслеты, а подвыпивший дядька, тоже глазеющий на драгоценности, дружелюбно замечает: «Что вы здесь делаете, ребята? Вроде бы кольца покупать вам еще рано».

Если в первый год появления Серманов на нашем горизонте они были овены какой-то тишиной и тайной, то впоследствии они все больше и больше становились центром шумного и разнообразного общества. Положение их упрочилось: Илья Захарович получил место в ИРЛИ, то есть стал сослуживцем моей мамы, Руфь Александровна стала публиковаться в популярных журналах, например в «Огоньке», затем вышла ее книга. Иногда она подготавливала репортажи (один раз было что-то связанное с бригадой молодых рабочих, о которых она рассказывала нам очень доброжелательно), делала переводы. И опубликованные литературные произведения, и устные рассказы приоткрывали завесу и наконец снимали табу, хотя и не давали связного биографического повествования. Я много лет не решалась спросить, кто написал донос, и лишь недавно заговорила об этом с Ильей Захаровичем, а он в ответ никого не назвал, сказав, что просто дома установили прослушку. Постепенно всплывали отдельные истории: например, впечатляющий рассказ тети Руни о том, как уголовники спасли своих сокамерниц, в том числе и ее, почувствовав, что вот-вот упадет потолок. Серманы не склонны были ни героизировать свою жизнь, ни обвинять кого-то. То, что рассказывали они, особенно тетя Руня, — яркие эпизоды с действующими лицами, представлявшими собой сильные характеры, интересные личности. Впоследствии эти устные рассказы часто ложились в основу ее литературного творчества, но написанное лишь частично могло передать ее интонацию, тембр голоса, улыбку, хотя все равно производило большое впечатление.

На зеленогорской кухне допоздна шла литературная жизнь. Дядя Илья и мама обсуждали институтские дела, говорили о своих литературовед-

---

\* Толстая Е. Западно-восточный диван-кровать. М., 2003. С. 57.

ческих планах. Мы, серьезные девочки, рассказывали о прочитанных книгах. Помню, как Ниночка, прочитавшая книгу Николаевой «Битва в пути», рассуждала со взрослыми о вопросах любви и семейной жизни. Мы с Ниной помогали друг другу и в обучении иностранным языкам. Она в старших классах уже хорошо знала английский и стала интенсивно заниматься французским, готовясь поступать на французское отделение. Так что иногда мы с ней для практики говорили по-французски, в котором она меня быстро обогнала. А я обучала ее немецкому, читая с ней стихи Гейне. На даче у нас были книги на разных языках: мы с мамой постоянно покупали и взрослые, и детские книжки из ГДР в магазине на Невском, напротив «лотмановского дома», где мама провела детство и где жили ее сестры — мои тети — и моя кузина Наташа. А у Серманов были и книги из «капиталистических стран», которые тогда купить было невозможно. Помню полученную от них веселую английскую книжку «Daddy Long Legs» (первую неадаптированную английскую книжку, которую я прочла) и французскую «Mop oncle et mop curé», которую, кажется, дала мне моя учительница, а тетя Руня тоже очень любила и весело обсуждала со мной. Я много занималась немецким и французским именно летом, когда не мучили арифметикой, а потом геометрией, химией и прочим. Занятия эти состояли в чтении книг на этих языках.

Тетя Руня становилась популярной писательницей, читатели писали ей письма. В основном они были благожелательными, иногда молодые девушки советовались по жизненным вопросам. Особенно мне запомнилось одно письмо. В нем девушка по фамилии Жукжукова просила совета, стоит ли ей заниматься филологией и куда поступать. Мы обсуждали это письмо все вместе и решили, что лучше всего — в Тарту. Она поступила, кажется, на вечернее отделение. А потом мы спрашивали о ней у дяди Юры. Помню, что он прислал письмо, где говорилось об этой девушке весьма благожелательно, а на полях были нарисованы два жука — в той твердой, мастерской манере, в которой он рисовал. Лишь изредка приходили критические отзывы. Какой-то брюзга усмотрел нечто безнравственное в одном из тети-Руниных рассказов и вопрошал: «Есть ли у вас дети? Если есть, то что они скажут...» и т.д. Мама написала по этому поводу стихотворное послание от имени читателя, начинавшееся: «У меня возник вопрос, / Есть ли у Зерновой пес. Есть ли у нее сожитель? / Есть ли сын, собака любитель?» Дело в том, что у тети Руни был рассказ про собаку — «Сильва».

О том, сколь знамениты стали наши родители, свидетельствует такой эпизод. Мы с Ниной, Мариком и Гарриком гуляли по Зеленогорску и почему-то зашли на почту, где как раз в тот момент расположился книжный киоск. Естественно, мы кинулись к книгам. Я увидела том Григоровича, открыла и с гордостью показала всем: «Предисловие и подготовка текста

Л.М. Лотман». В ответ на это Марик взял в руки том Нодье: перевод Руфи Зерновой. Тогда в игру вступил, вытащив напоследок свой козырь, Гаррик. Уж не помню, какой перевод Ахилла Григорьевича там был, но что-то было. Мы радовались и смеялись и потом долго вспоминали этот эпизод. Вот уж действительно, было «времечко», когда мужик нес с базара Григоровича и Нодье.

На веранде у Серманов стали собираться гости. Большинство из них были молодыми литераторами. Знаю, что приходили Борис Голлер, Нина Королева, Лина Глебова, Геннадий Шмаков, Александр Городницкий и многие другие. Появление гитары стало событием, которое без преувеличения определило тот праздник, который навсегда остался с нами. Нина Серман училась в музыкальной школе, но главное не это, а то, что природа дала ей абсолютный слух, приятный голос, не говоря уже о литературном вкусе и прекрасной памяти. В ее репертуаре сначала преобладали стилизации блатных песен. «Когда качаются фонарики ночные», — пела Нина (как я позже узнала, на стихи Глеба Горбовского), а мы все подхватывали: «Когда на улицу опасно выходить». «Мне девка ноги целовала, как шальная», — подпевал Гаррик, и взгляд невольно опускался на его исцарапанные, разбитые колени: он катался на велосипеде, много бегал и часто падал. Репертуар Ниночки постепенно обогащался. В ее исполнении я впервые услышала песни Окуджавы, которые мы полюбили, выучили наизусть, могли слушать бесконечно. Были и другие песни — смешные, например про Петрову — «Жил граф Родериго с графиней Эльвирой», или грустные, например «Подари мне на прощанье билет на поезд куда-нибудь». Тетя Руня тоже умела замечательно петь, но пела редко. Мы обожали в ее исполнении песни, которые она пела с хрипотцой, с большим темпераментом: «Ой, ой, ой, я несчастная девчоночка». Либо одесские: «Гром прогремел, пан Горбачевский погорел» или «Сегодня шумно в доме дяди Зуя». На последнюю была сочинена пародия, посвященная драматическому поступлению Марика в университет: «Сегодня шумно в доме тети Руни, / Узнал сегодня весь честной народ, / Что Марик занимался втуне / И в университет не попадет».

Пенье и слушание песен вечерами стало нашим любимым занятием. Когда к Серманам пришел Городницкий, все были поражены. В свой первый приход он привел с собой сослуживца, моряка необыкновенной красоты в какой-то белой морской форме. Сослуживец, можно сказать, был вещественным доказательством тех необыкновенных рассказов о морских путешествиях, которые мы услышали от Городницкого. Оба были воплощением настоящего мужского достоинства. Облик Городницкого соответствовал содержанию его песен: бравый, мужественный, удалой. Когда на веранду прибежал маленький Антошка, он посадил его себе на колени и продолжал петь, Нина аккомпанировала на гитаре. Тогда мы узнали и по-

любили его песни: о Беренике, о черном хлебе, о деревянных городах, о Канаде. Не помню, летом какого года произошло еще одно событие: на веранде у Серманов появился большой магнитофон, предмет, с которым я до этого не сталкивалась и к которому относилась с благоговением. Принадлежал он кому-то из знакомых. Магнитофон был принесен с одной целью: слушать песни Галича. С Галичем и его женой Анжелиной Серманы были знакомы лично; песни его были под официальным запретом — еще более строгим, чем песни Окуджавы и Высоцкого. Серманы рассказывали, как боится за Галича его жена. Слушание пленок тоже было сопряжено с некоторой опасностью. Когда однажды хозяева дачи привели кого-то из чужих, тетя Руня возмутилась. Через много лет Серманы показали мне книгу стихов Галича, переведенных на английский, как образец серьезного, талантливого перевода\*. Книга посвящена двоим людям, обозначенным инициалами I.Z. and R.A. Я сразу догадалась, кто имеется в виду.

Серманов всегда любили, к ним шли как на большой праздник, их приглашали в гости и радовались каждому их появлению всегда и всюду, будь то в Питере, в Иерусалиме, в Париже или где-нибудь еще. Тетя Руня однажды сказала мне: «И почему меня любят люди?» И сама ответила: «За веселый нрав». Думаю, что не только за это, а еще и за талант, яркость, интерес к людям и доброжелательность. Тетя Руня и дядя Илья были верными, преданными друзьями; многим они помогли, и готовность помочь была их принципиальной жизненной позицией.

Самыми желанными в доме Серманов были их друзья из Москвы — Фрида Абрамовна Вигдорова и ее муж Александр Борисович Раскин, приезд которых был праздником. Я к тому времени уже читала книги их обоих, очень любила повесть Фриды Абрамовны про школу «Мой класс» и знала, кроме того, что Александр Борисович — один из сценаристов знаменитого фильма «Весна». А потому сразу стала смущаться. Мое стеснение прошло, когда я оказалась с тетей Фридой вдвоем на пляже (другие, очевидно, застряли где-то в пути и подтягивались). У нее был такой же жатый купальник из ситца, как у всех нас; она стала со мной разговаривать, и сразу возникло ощущение, что мы давно-давно знакомы. Александр Борисович поразил меня тем, что профессиональным ухом юриста услышал и оценил фразу, брошенную моей бабушкой: «Ах, как жалко, что у меня нет бабушки!» По-моему, он даже включил ее потом в какую-то из своих книг. А еще пели песню «Ответ на Магадан», которую Александр Борисович в свое время сочинил на возвращение дяди Илюши. Это была переделка знаменитого «Ванинского порта», где вместо душераздирающего «И в шумные двери вокзала / Встречать ты меня не придешь. /

---

\* *Galich Alexander. Songs and Poems. Translated and edited by Gerald Stanton Smith. Ardis: Ann Arbor, 1983.*



Я знаю, мне сердце сказало»: было «И в шумные двери вокзала / Пришли мы в 6.40 утра, / Как справочное нам сказало». И было это правдой. Кто мог тогда знать, как трагично сложится вскоре судьба Раскиных! Фрида Абрамовна, которая была не только писательницей, но журналисткой, а главное — всеобщей защитницей, хлопотавшей за гонимых и попавших в беду, внезапно заболела раком и умерла. Говорили, что это «рак загнанных»: болезнь началась после того, как сама Фрида Абрамовна стала подвергаться преследованиям из-за того, что она заступалась за Иосифа Бродского, писала письма в его защиту, а главное, сделала запись процесса Бродского и передала свои конспекты за границу. Вскоре умер и Александр Борисович. У Руфи Александровны есть рассказ о Фриде Вигдоровой, где она называет ее абсолютно прекрасным человеком.

Саша Раскина, дочка Фриды Абрамовны и Александра Борисовича, — старше Марика и даже Нюночки. Она стала приезжать в Зеленогорск, когда мы были подростками, а она была уже замужем. Замуж она вышла рано, муж — тоже Саша — Саша Вентцель. Чтобы не путать, их называли Саша-девочка и Саша-мальчик. Саша-девочка не бегала с нами и по солидности, и потому, что ей не разрешалось. У нее было с рождения что-то с сердцем, и ее папа за нее боялся. Саша считала себя очень неспортивной и говорила: «У меня неуклюжая грация». Она была не менее остроумна, чем ее папа: придумывала смешные стихи, пародии, статьи в нашу дачную стенгазету, названную, по-моему, по инициативе Ильи Захаровича, «Бесед(к)а», была то редактором, то режиссером. Хорошо помню, как она пела придуманную ее папой пародию на Городницкого: «Над Китаем небо сине, / Меж трибун вожди косые. / Хоть похоже на Россию, / Только все же не Россия».

В течение нашей дачной жизни было поставлено несколько спектаклей, где мы играли разные роли. Режиссерами были то моя мама, то Саша Раскина. Мама и бабушка создавали прекрасные, запомнившиеся на всю жизнь костюмы из того, что было под рукой, причем мама сочиняла, а бабушка осуществляла, и они вдвоем создавали настоящие произведения искусства. Однажды были замечательно разыграны шарады (режиссером была моя мама, а костюмы помогала делать бабушка). В шараде «Кармен-сита» («Кармен-сито») я изображала Кармен, Гаррик — Хозе, а Марик — Эскамильо. Сюжет становился вполне прозрачным — Гаррик тогда был еще маленьким и худеньким, в то время как Марик уже значительно подрос. Роман между нами вспыхивал мгновенно, и бедный Гаррик приносил сито и говорил: «Вот твоя любовь». На мне была рыжая футболка с обремененным воротом, черная юбка, а на голове бабы-Любин кружевной черный платок. Наша интерпретация сюжета «Кармен» понравилась зрителям — а были они весьма сведущими в вопросах искусства. Вторая шарада была «Мушкетер» («Мушко-тер»), где главную роль исполняла Нина. Коллизия

состояла в том, что молодой человек (Гаррик) стер на ее лице мушку, означающую равнодушие, и поставил мушку, означающую любовь. Я, изображавшая мамашу, выбегала с криками: «Кто тер тебе мушку?» В третьей шараде — «Восток» («Воз-ток») — участвовали и Нина, и Марик, и Гаррик, и я и изображалась восточная семья с двумя женами, обслуживающими одного мужа. По ходу действия техника достигала все больших вершин, и в финале все вместе с ослом, роль которого взял на себя Гаррик, мчались в космос на корабле «Восток». Позже был создан еще один спектакль, поставленный Сашей-девочкой, Сашей-мальчиком и Гарриком и посвященный поступлению Марика в университет. В основе была трагедия в стиле Эсхила, называвшаяся «Прометей неподкованный». Прометеем, естественно, был Марик, Саша-девочка изображала орла, прилетавшего мучить его английским языком (она действительно готовила Марика к экзамену по английскому), а Саша-мальчик был грозной фигурой, называвшейся Сила и Власть. Еще мы все пели цитировавшуюся выше песню «Сегодня шумно в доме тети Руни».

У нас гости тоже иногда бывали, хотя и гораздо реже, чем у Серманов. Приезжала Елизавета Николаевна Купреянова с сыном. Ее очень ценили и мама, и Илья Захарович — они вместе работали в ИРЛИ. Елизавета Николаевна занималась Толстым (известна ее книга «Эстетика Толстого»), раньше она работала в Ясной Поляне, так что хорошо знала и обстоятельства жизни Толстого, и его земляков — яснополянских жителей (она говорила, что одна половина деревни похожа на одного толстовского деда, а вторая — на другого). Елизавета Николаевна собиралась куда-то уезжать, и мы по ее просьбе приютили ее кошку с двумя котятками. Эта серая кошка по имени Мурка, внешне ничем не примечательная, была совершенно особым существом. Дело в том, что у нее был муж. Раньше он жил где-то рядом с ней, и они встречались на улице или еще где-нибудь, но потом Елизавета Николаевна переехала в другой район. И вот верная супруга Мурка периодически исчезала, а потом появлялась и через положенное время приносила рыжих котят. С двумя рыжими котятками она и прибыла к нам. В честь Елизаветы Николаевны мы назвали одного князем Андреем, а другого Пьером Безуховым. Мурка уехала через пару месяцев обратно, Андрея мы пристроили в одну соседскую семью, а подросткового Пьера, который сначала был таким маленьким, что прятался в домашней тужурке, привезли после окончания летнего сезона домой, в коммунальную квартиру на Петроградской. Его пришлось переименовать в банального Рыжика, потому что соседка воспринимала кличку Пьер как кощунство и издевательства над Львом Толстым. Рыжик прожил долгую и, по-моему, довольно счастливую жизнь. Он рос вместе с Антоном, регулярно выезжал на дачу, а зимой гордо восседал у нас на подоконнике, озирая окрестности. Лишь в почтенном для котов возрасте он начал болеть; мы лечили его

как могли, вызывали врачей, кормили, как велел ветеринар: покупали ему фарш (перечисляя продукты, которые нужно купить, мама обычно говорила «фарш коту», и Антон утверждает, что в детстве он считал это одним словом — «фаршкоту»), а позже, когда здоровье его ухудшилось, кормили его исключительно рыбой. Но наступил момент, когда Рыжик уже не мог двигаться, и пришлось прибегнуть к бурно обсуждаемой сегодня медицинской эвтаназии. Антон учился тогда уже в медицинском институте и тяжело переживал бессилие медицины перед неизлечимой котячьей болезнью. Ветеринар отнесся с пониманием к страданиям юного медика и обещал проследить за соблюдением медицинской этики по отношению к коту-ветерану. Для Антона это был первый в его медицинской практике случай, когда он — врач — вынужден был сдать перед болезнью.

Приезжал к нам на короткое время и дядя Юра. Как всегда, он спешил и бывал у нас на даче лишь накоротке. В те годы он был еще бодр, молод и не так безумно замотан, как потом, когда он при каждом своем приезде буквально разрывался между библиотеками, чтением корректур, лекциями и общением с редакторами издательства. Юрий Михайлович был давно знаком с Ильей Захаровичем — еще с тех пор, когда дядя Илья учился вместе с моей мамой в университете, а дядя Юра — в школе. Рассказывают, что дядя Илья был уже серьезным студентом, а дядя Юра — озорным, хотя уже и весьма эрудированным школьником. Илья Захарович протянул руку и представился: «Серман», в ответ на что Юрий Михайлович полез под кровать, притащил кота и, представив его, сказал: «Кацман». Я уже не помню, вели ли они на даче ученые разговоры, но на детей у Юрия Михайловича в те годы всегда было время: он учил меня кататься на велосипеде, возился с Антоном, приговаривая: «Антошку я тетешкаю, я занятый Антошкой». Помню, как кто-то решил сфотографировать его с детьми и он схватил меня и посадил себе на голову, а рядом скакали Марик и Миша Левин.

Григорий Абрамович Бялый, знаменитый литературовед и лектор, всегдашний собеседник и советчик мамы, снимал дачу между Зеленогорском и Комаровом, на Курортной улице. Изредка мы ходили к нему в гости. Помню, как мы искали его дачу, а остроумная Ниночка шутила: «Что-то там черненькое белеется».

Один визит нам запомнился надолго, и отнюдь не интересными беседами. Бабушкина дальняя родственница тетя Нюра Койранская приехала к нам в гости с самыми лучшими намерениями. Была она по специальности санитарным врачом, о своем служебном долге помнила всегда и всю жизнь боролась с не соблюдающими гигиену людьми и с микробами. Ходила она с сеточкой, в которой было множество пакетиков — в каждом в отдельной бумажке был кусочек хлеба, или несколько ягод, или что-то подобное. Услужливый Марик сразу кинулся помогать тете Нюре и, когда

она захотела что-то купить, повел ее в магазин. Вернулась тетя Нюра с сознанием исполненного долга, а Марик — тихим и подавленным. Выяснилось, что она зорким глазом обнаружила нарушение правил санитарии (кажется, весы были грязные) и позвонила на санэпидстанцию. Все сочувствовали Марику. Особенно жалела его моя бабушка: она чувствовала себя виноватой и возмущалась поведением своей родственницы-правдоискательницы. Марик с тех пор за версту обходил тот магазин, хотя расположен он был в очень живописном месте.

Постоянно приходила к нам и друг нашего дома Цецилия Владимировна со своим больным сыном, учеником моей бабушки Володей. Володя, к тому времени высокий и могучий молодой человек, в детстве перенес энцефалит и остался дефективным. Моя бабушка обучала его в школе, где она работала, и дома, куда Володю приводила либо его мама, либо няня Анна Ивановна, беззаветно преданная этой семье и даже иногда сидевшая рядом с Володей на уроке в школе и расталкивавшая его при необходимости. Моя бабушка научила Володю читать и писать и подружилась с его мамой. Володя, мирный и добрый парень, с явными природными склонностями к литературе и музыке, иногда ходивший с нами в лес и сопровождавший наши прогулки громким гиком «Эй, ухнем!», составлял часть нашего пейзажа, мы хорошо относились к нему, а Цецилия Владимировна любила всех нас. К Володе по-доброму относились и жители Зеленогорска: когда он появлялся в гараже, где стояли грузовики и отдыхали работяги, шоферы приветствовали его, а иногда катали на своих машинах. Володя был искренне предан нашей семье, а когда умерла моя бабушка, он долго молча сидел в ее комнате (мы тогда только что переехали в отдельную кооперативную квартиру). Умер он в нестаром возрасте, лет за 40, внезапно и тихо, от сердечного приступа, и мы с Антоном хоронили его, как бы выполнив свой долг перед бабушкой. Цецилия Владимировна была еще жива, так что ее миновало то горе, которого она опасалась: Володя не остался без нее. История Цецилии Владимировны произвела впечатление на тетю Руню, и она написала рассказ «После елки», где судьба этой женщины была переплетена с жизнью одной актрисы. Рассказ был напечатан в «Огоньке», и мы боялись показывать его Цецилии Владимировне. Но неожиданно она сама обнаружила этот номер журнала на нашей кухне, тут же прочла, а потом говорила нам, что рассказ очень страшный, но сильно написан. Будучи человеком тонким и понимающим в литературе, она, к счастью, не обиделась, что затронули ее горе.

Наши бабушки пользовались всеобщим авторитетом. У Генриетты Яковлевны не было привычки поучать окружающих, но она часто весьма недвузначно высказывала свое мнение. Однажды не хватило фарша для кота, и я решила оставить решение проблемы на следующий день — пусть побудет один вечер на диете. Генриетта Яковлевна горячо вступи-

лась за Рыжика, сказав: «Иди немедленно в магазин». — «Но я же и за продуктами для нас сегодня не пойду!» — «Для себя можешь пойти потом. Человек может потерпеть, а животное — нет». Мне запомнилось, как Генриетта Яковлевна, раскрасневшись, говорила нам, детям: «Если бы я только увидела этого человека, если бы я его встретила, я бы кинулась на него, я бы вцепилась в него!» Имелся в виду, очевидно, человек, донесший на Илью Захаровича и Ахилла Григорьевича, но кто это, я так и не решилась спросить, а больше она ничего не рассказывала. Когда Марик заболел тяжелым гриппом, а Генриетту Яковлевну хотели изолировать, чтобы она не заразилась, она сказала: «Вы когда-нибудь видели, чтобы бабушка заразилась от внука?» Другие жители нашей дачи тоже не были мнительными и не любили говорить о разных болячках и обращать внимание на мелкие недуги. Однажды летом тетя Руня так долго терпела боли в боку, которые она считала печеночными, что потом пришлось срочно ложиться в больницу: оказалось, что это был запущенный аппендицит.

Не только Генриетту Яковлевну, но и мою бабушку — Анну Исаевну — все уважали. Даже Рыжик признавал ее «вожаком стада». Время от времени он приносил ей трофеи — мышку или птичку без головы, которых аккуратно клал возле бабушкиной кровати. Очевидно, в нем просыпался древний инстинкт, сохранившийся еще с того додревнеегипетского времени, когда его предки не были изнежены вниманием человека. Бабушка его понимала; в ней, в свою очередь, просыпалась древняя женщина, хвалившаяся на не дошедшем до нас языке перед своими соплеменниками. С гордостью в голосе она восклицала: «Он охотник!»

Несмотря на, казалось бы, элитарное положение наших родителей (быть ученым в академическом институте считалось очень престижным, а члены Союза писателей, куда вступила тетя Руня, были особой кастой), воспитывали нас в большой скромности, что тогда считалось необходимым. «Я» — последняя буква алфавита, не высовывайся, жди, пока тебя пригласят, — эти малоприменимые сегодня слоганы если и не произносились постоянно, то витали в воздухе. С другой стороны — школьное: «Вообразуля первый сорт приезжает на курорт. Из курорта уезжает — еще больше воображает». Быть вообразулей — это последнее дело, таких дразнили. Ни Марик, ни Нина, ни я, ни наши друзья, например Вера Жирмунская или Юлия Шор, вообразулями, конечно, не были. Однако Гаррик, который не без гордости относился к своим экстраординарным знаниям, мог и выскочить. Однажды он пришел со своими родителями в Союз писателей и выступил, высказав свое мнение по поводу одного перевода. Об этом стало известно всей даче, мы, естественно, были взбудоражены этим необычным событием и отнеслись к нему сугубо отрицательно. Марик скакал перед носом у Гаррика и ехидно дразнился: «Гаррик, выступи!» Я с немой осуждением молчала. Подвела итог тетя Руня, сказав: «Это позор

для нас всех. Забудем об этой истории». Сегодня я думаю, что мы несправедливо напустились на Гаррику. А как же Н.С. Трубецкой, который в детстве начал писать серьезные научные работы, а Лермонтов, а Моцарт, в конце концов? «Не высовывайся!», «Не лезь, куда тебе не положено!» — проповедовалось даже свободолюбивой тетей Руней. Мне потребовалось много времени, чтобы избавиться от привитого в детстве идеала забитости, с которым сегодня далеко не уйдешь. Гаррику, правда, наши нападки, по-моему, не повредили. Впоследствии, через много лет, Илья Захарович признавал, что в наше время излишняя скромность не годится, приходится заявлять о себе, а иногда и чрезмерно хвалить себя и своих протеже. Он рассказывал, что его положительный отзыв на одну научную работу был воспринят как отрицательный только потому, что там не было пышных похвал. Наши родители не только требовали скромности от нас, но и сами были далеки от какого бы то ни было снобизма. Хотя они, безусловно, знали себе цену, они не кичились ни своей эрудицией, ни своим положением. Уважение ко всем людям, независимо от возраста и от социальной принадлежности (уж не говоря о национальности — разделение людей по этому принципу со стороны наших родителей и представить себе нельзя было), было свойственно всем «нашим взрослым». В устных рассказах, а позже и в своем творчестве тетя Руня описывала разных людей, в том числе своих солагерниц, даже воровок, с долей уважения. Она рассказывала и об одном милом, интеллигентном человеке, который пришел инспектировать лагерь и говорил с ней о литературе и театре. Уважительное и доброе отношение к людям было свойственно и моим родителям, и тартуским Лотманам. Мама располагала к себе людей всюду: и в поезде, и в магазине, и даже в очереди в баню, а домработницы говорили про нее: «Не пошла бы, но хозяйка очень симпатичная». наших тартуских родственников дядю Юру и тетю Зару любили все, будь то профессор, студент, молочница или продавщица. То же касалось и московских друзей Серманов — Фриду Абрамовну, по-моему, любила вся страна, и все искали у нее защиты в случае разных невзгод. Презумпция равенства людей распространялась и на разные возрастные категории. Помню, как серьезно говорила с нами, например, тетя Ляля Фишман, которая однажды сказала мне, 14- или 15-летней: «Ты умеешь быть взрослой, а я вот до сих пор не научилась». Я, действительно воспринимавшая себя как взрослую рядом с маленьким Антоном и гордая этим, чувствовала себя польщенной. С детьми говорили серьезно и требовали с них тоже серьезно. Вопросы, которые задавали дети, обсуждались взрослыми, и теперь я жалею, что мало пользовалась возможностями этой «летней школы», где можно было получить консультации высочайшего уровня и о русской, и о немецкой, и об испанской, и о французской, и даже о китайской литературе, не говоря уже о разных жизненных проблемах.

«Наши взрослые», воспитывая нас, не были назидательными или авторитарными. Моя мама не только очень живо рассказывала об истории литературы, живописи, философии, но даже помогала детям запомнить скучные правила, сочиняя смешные стихи и рассказы, которые часто запоминались на всю жизнь. «Не зубри, а придумай мнемоническое правило», — говорила она. Помню, как один раз в школе почему-то нужно было наизусть выучить личные местоимения, к которым после предлогов добавляется «н» (чтобы кто-нибудь случайно не сказал «к ему» вместо «к нему» или «у ее» вместо «у нее»). Правило подавалось как список слов, и мама тут же сочинила рассказ гардеробщика, который описывал свою работу — «его — ему, ее — ей», а в финале хвастался, как он доволен «ею» и «ими». Образ этого удовлетворенного своей работой добродушного человека в синем халате, которого я тут же начинала себе представлять, врезался в память. Иногда появлявшийся у нас папа тоже вносил свой вклад в нашу мнемонику. Однажды он пришел, когда я перед контрольной по географии мучилась с запоминанием тогдашних английских колоний. И он тут же придумал про каждую. Колонии эти вскоре получили независимость, но их список так и сохранился в моей голове. «Уганда — там сильна антисоветская пропаганда. У-гады!»

Отсутствие какой бы то ни было назидательности у тети Руни выразилось в ее полной свободе суждений и гибкости. Она не стеснялась высказать что-то идущее вразрез с интеллигентской традицией. То вдруг говорила, что вообще не любит стихов, то начинала критиковать какой-нибудь предмет всеобщей любви, например, шокировала рассказом, как некрасива была Ахматова, когда она (тетя Руня) пришла в юности посмотреть на великую поэтессу. «Не может быть, тетя Руня! Ахматова — и некрасива». — «Да, очень. Тогда у нее была базедова болезнь. Потом это прошло». После горячих споров тетя Руня могла признаться, что была не права или несправедлива, могла вдруг изменить свое мнение. Ее непоследовательность не раздражала, а скорее импонировала собеседникам. Она была очень женственна и изящна в этих спорах и в признании своей неправоты, и хотелось быть благодарным ей за то, что она всегда была «настоящей». Непреложной истины нет и не может быть — вот к чему можно было прийти после горячих споров... Но, несомненно, есть доброта, милосердие и сочувствие к людям. Вот от этого отказываться нельзя, и этот принцип на нашей даче никогда не нарушался. Недаром тетя Руня написала в рассказе о Фриде Абрамовне Вигдоровой о принципе, которым, очевидно, руководствовались они обе. Если человек приходит к тебе со своими неприятностями (как теперь говорят, проблемами), не стремись к справедливости суждения — ему этого совсем не нужно в данный момент, и не за этим он к тебе пришел, — а посочувствуй.

Именно из-за неприязни к менторским замашкам Серманы недолюбливали некоторых людей с авторитарным характером. Тетя Руня признавалась, например, каким мучением было для нее хождение в школу, где учился Марик. В отличие от моей мамы, которая кротко относилась к школьным учителям, понимая сложности их работы и жизни, тетя Руня лишь с большим трудом сдерживала себя в общении с людьми, которые «все знают». Но к настоящим школьным учителям — энтузиастам обучения и воспитания детей и знатокам своего предмета — Серманы относились с особой нежностью и уважением. Когда на дачу приходила Наталья Григорьевна Долинина, которая с юности дружила с Серманами и была хорошо знакома и с моими родителями, с нею обсуждали не только ее литературные планы, но и с не меньшей серьезностью школьные дела и судьбы учеников. И литература, и педагогика были делом ее жизни, и в Зеленогорске мы общались не только с ее семьей, но и с ее учениками. Конечно, любили у нас на даче и долининских детей — особенно обаятельную Таню, которую тетя Руня сравнивала с Наташей Ростовоной. В семье Серман была еще одна учительница, пользовавшаяся всеобщей любовью, — племянница Ильи Захаровича Яна, Марианна Артемьевна Данилова. Она преподавала литературу в школе и была замечательным учителем, способным заинтересовать учеников и пробудить у них творческое, самостоятельное мышление. В физико-математической школе, где работала Яна, она организовывала спектакли, литературные встречи, становилась для своих учеников не просто учителем, а родным, близким человеком. Когда Яна приходила к Серманам, дети собирались вокруг нее, и она выдумывала игры и шарады, пела песни. У нее был абсолютный слух и настоящий певческий голос — сопрано, и она пела в университетском хоре Сандлера. Одну из ее шарад я запомнила. Это было слово «поза»: дети сначала проходили шеренгой по стульям, потом заходили за них, а потом принимали разные позы. Интересно, что одной из учениц Яны была Ира Казовская, которая стала в Израиле аспиранткой Ильи Захаровича в Еврейском университете. Вот так: сначала училась у племянницы, а потом у ее дяди. Такие бывают случайности!

Одним из наших дачных развлечений было кино. В Зеленогорске было два кинотеатра: «Летний» — в парке у моря — и «Победа» — переделанная финская церковь. Фильмы в Зеленогорске шли первым экраном, то есть еще до появления на экранах Ленинграда. В советское кино в начале 60-х проникали новые веяния, и мы увлекались хорошими советскими фильмами. Были, конечно, и «шпионские страсти», заставлявшие нас — детей, которые уже кое-что понимали в искусстве, — сардонически хохотать (название одного из таких фильмов — «Тени ползут» — мне запомнилось). Фильм о школе «Друг мой, Колька» подкупал прежде всего тем, что там исполнялась песня о барабанщике Окуджавы — «Встань пораньше» на



несколько измененный мотив и переосмысленная, особенно для непосвященных, под пионерскую. Но все-таки Окуджава! Звучит с экрана — и ничего! Но и содержание фильма (дипломной работы никому тогда не известного Александра Митты), направленного против школьного формализма и тирании, радовало, казалось близким и новым. Восхищались мы все и фильмом «Человек идет за солнцем» Михаила Калика, который смотрели дважды всей компанией. Фильм Данелии «Я шагаю по Москве», который вышел на два года позже и по своему настроению напоминает фильм Калика (последний, к сожалению, не завоевал такой популярности, хотя, может быть, и потому, что был тоньше, сложнее) мне запомнился еще и тем, что мы ходили на него большой компанией, включавшей мою бабушку. Из-за болезни она редко выходила «в свет», и этот поход в кино оказался последним в ее жизни. Фильм «Лили», кажется, голливудский, тронул тетю Руню, и она даже плакала, о чем сама говорила, выходя из кинотеатра, с удивлением. Живо обсуждали мы и американскую экранизацию «Войны и мира». Споров не было. Все признали, что Одри Хепберн похожа на Наташу Ростову, очень мила и обаятельна, а все остальное весьма слабо и имеет мало общего с Толстым и с русской жизнью вообще.

Запахи зеленогорского лета — часть моих воспоминаний о детстве. Черемуха — лето начинается, но может быть и очень холодно; есть примета: черемуха приносит холод, а возможно, еще лед не прошел по Неве. Сирень — лето началось, дача, мы все снова вместе, ура! Флоксы — лето в разгаре. Шиповник — может цвести очень долго, до самой осени, но о конце лета еще думать не стоит. Астры и хризантемы — едем в город, скоро 1 сентября, конец дачным радостям. Недавно я гуляла по Петродворцу, погруженная в эти мысли, вокруг цвели флоксы, как вдруг услышала по-французски: «Это же запах моего детства!» Рядом со мной стояла француженка примерно моего возраста.

Вот некоторые жизненные принципы, которым учили меня в течение нашего длительного знакомства Серманы: «Думай о чем угодно: о спряжении греческих глаголов, о немецкой конъюнктиве, о любой лингвистической или другой проблеме, только не о тех бедах, которые могут произойти, но пока не произошли»; «Не старайся всего предусмотреть»; «Не жди в жизни справедливости и не жалуйся на ее отсутствие». «Знаешь, где есть справедливость?» — сказала мне однажды тетя Руна и возвела глаза к небу. Я знала... Еще женское: «Как бы бедна ты ни была, никогда не покупай дешевой косметики и дешевой обуви», «Держи спину прямо. Смотри вперед». А неизменное сермановское спокойное и искреннее «Хорошо» в ответ на вопрос: «Как дела?» — тоже жизненный принцип. И конечно, работа. Стук пишущей машинки, раздающийся с веранды. Новые статьи, переводы, рассказы, которые обсуждаются всей дачей. В иерусалимской квартире я застала тетю Руню уже за компьютером, который она

успешно освоила. Она писала воспоминания и переводы, причем ставила себе ежедневный урок — определенный объем перевода — и это уже в возрасте за 80! Посчастливилось мне и слушать лекции у Ильи Захаровича — правда, недолго. Заменяя Дмитрия Евгеньевича Максимова, он прочел нам на первом курсе несколько лекций о Пушкине. Встречая меня в коридоре университета, Илья Захарович неизменно громко восклицал: «Лора, привет!» — что меня очень смущало. Лекции запомнились. Он много говорил о героях Пушкина, идущих на риск, бросающих вызов судьбе, — например, в «Каменном госте», «Медном всаднике», «Пире во время чумы», «Борисе Годунове». По-видимому, такой характер был близок не только Пушкину, но и самому лектору.

Когда Серманы уезжали в Израиль, я была убеждена, что мы никогда больше не встретимся. Мы приехали прощаться и увидели: разоренный дом, остатки библиотеки на полу, люди — знакомые и незнакомые. Наконец все разошлось, и тетя Руня вспомнила, что кормить нас нечем, но отпустить без угощения не хотела. В холодильнике все же кое-что обнаружилось, и она стала терпеливо жарить гренки. Почему-то очень запомнились эти гренки в разоренном доме, книги на полу, какое-то белье, досушивавшееся на веревке, и ощущение конца большого отрезка жизни. После этого я неоднократно видела наших друзей во сне, возвращающимися и, как всегда, веселыми. А чувство расставания навсегда оказалось обманчивым. Многое очень хорошее и у нас, и у наших друзей было еще впереди. Действительно, прав был Корней Иванович Чуковский, о котором мне так интересно рассказывала тетя Руня: «В России надо жить долго». Впоследствии наша компания рассеялась по всему миру, но Серманам как раз удалось то, о чем говорил Корней Иванович, — продолжать начатое, начинать сначала, но при этом никогда не изменять себе, сберечь себя и сохранить друг друга.

*Иерусалим,  
Израиль*

*Александра Жирмунская*

## **Памяти маминой подруги**

Первое, что я вспоминаю, когда думаю о ней, — это широко распахнутые карие глаза и выражение лица, как будто сейчас будет что-то очень интересное...

Руфь Александровна была самой близкой школьной подругой моей матери, Нины Александровны Жирмунской, и для меня она навсегда осталась тетей Руней. По рассказам мамы, Руня появилась у них в девятом классе. Предварительно она сменила за пару лет шесть школ. Когда школа ей не нравилась, она просто забирала документы и шла в другую, не оповещая об этом родителей. «У нас Руня осела, — говорила мама. — У нас был интеллигентный класс и очень интересные мальчики».

Поначалу тетя Руня, видимо, ошеломила маму. «У нее было платье с молнией от ворота до подола, — мама широким жестом показывала длину молнии, — с двумя замками, сверху и снизу, и любимой шуткой мальчишек было неожиданно дернуть за замочек. Я ее считала слишком эпатажной, а она меня, по-видимому, занудой». Так примерно говорила мама. Но очень скоро они подружились, их сблизила любовь к литературе и начитанность. Все это происходило в Одессе в середине 30-х годов. Вместе они приехали в 36-м году в Ленинград и поступили на филфак (тогда еще ЛИФЛИ), Руня — на немецкое, а мама — на французское отделение. «Руня лучше знала французский и поэтому пошла на немецкое отделение, а я наоборот», — объясняла мама. Дальше их судьба складывалась по-разному, в соответствии с характерами. После второго курса Руня поехала военной переводчицей в Испанию. Мама вспоминала, как они встретили ее весной 39-го года и как потом вместе провели лето в Одессе. После Испании она начала работать, кажется, перешла на заочное. Потом началась война, и они с мамой оказались вместе в эвакуации в Ташкенте. Мама вспоминала, как стала свидетельницей на их бракосочетании с Ильей Захаровичем. Случайно узнав, что Руня с Ильей отправились в ЗАГС, она туда побежала и поспела вовремя. Они забыли прихватить три рубля на регистрацию. «Так что теперь, Рунечка, в случае развода с вас три рубля», — шутила мама.

Я хорошо помню тетю Руню с Ильей Захаровичем со своего восьми-девятилетнего возраста, то есть смутно помню и раньше — у мамы на дне рождения, в гостях у Барских (Сергей Михайлович Барский был маминим братом, и они дружили еще с Одессы). А вот примерно с 57-го года помню уже ясно. Мы снимали тогда дачу у маршала Воронова в Комарове на огромном романтическом участке над морем. И туда в июле, на мой день рождения, приезжали мамыны друзья с детьми — Серманы, Левинтоны, Шоры, Эткинды, Донские. Мама готовилась к этому событию два дня, пекла торты, пирожные, сочинялись шуточные стихи для гостей. Мы играли в детские игры, а взрослые вели литературные беседы. Я очень любила маминых друзей, они были блестяще одаренные люди. Остроумные шутки, каламбуры, эпиграммы, литературные игры для детей — все это было в обиходе. Но к тете Руне нас, детей, особенно тянуло. Она так интересно обо всем рассказывала, у нее была какая-то цепкость к деталям жизни, ее вкусу, запаху. Даже одевалась она не так, как другие, — ярче, свободнее. И она очень серьезно говорила с нами обо всем.

В памяти возникают картинки. Вот мы идем с пляжа по Кавалерийской улице, мне девять лет, я увлечена балетом, и тетя Руня подробно рассказывает мне о форме стопы Улановой (она видела слепок у знакомой скульпторши) и о том, как в Одессе учили танцам. Вот мы ставим с девочками Барскими и Ниночкой Серман оперу-балет собственного изготовления «Жемчужина» в беседке над обрывом, под коллективное пение амурских и дунайских волн (были тогда такие популярные вальсы). На это жуткое действие согнаны родители. Дядя Сережа Барский в таких случаях ворчал: «Опять они будут надевать штаны на голову», а тетя Руня в первых рядах зрителей серьезно обсуждает драматургию и режиссуру, и, похоже, это ей действительно интересно.

Мы с сестрой любили ездить к ним на Золотой пляж в Зеленогорск. Это было уже на пару лет позже, когда нас одних отпускали туда на велосипедах. До сих пор, когда я там оказываюсь — сейчас очень редко, — глядя на полупустынный теперь пляж, я вижу их всех: Серманов, Левинтонов, Шоров, Лорочку Найдич. Тогда огромный пляж гудел и шевелился, не было свободного места, но мы как-то сразу находили их.

Сейчас, перечитывая тети-Рунину книгу, прочла, что она сама считала, что жизнь больше слышит, чем видит. А меня как раз поражала ее цепкость к зрительным деталям — цвету неба, облакам, камням. В воду она входила не спеша, как-то изумленно глядя на облака и камни. Она учила нас плавать. Сама она любила делать заплывы на глубину. На берегу, греясь на солнышке, мы играли в волейбол, в «картошку» и, конечно, много разговаривали. Когда тетя Руня хотела что-то рассказать, она говорила негромко, но очень внятно и как-то таинственно: «Слушайте, слушайте». Всегда два раза, и все замирали, предвкушая захватывающий рассказ.

Обсуждались книги, фильмы. У Серманов всегда было много современной западной литературы. Они не пропускали ни одного интересного фильма, которые в то время иногда демонстрировались один-два раза, а потом исчезали. В связи с этим вспоминаю один эпизод. К нам на дачу пришли Серманы посмотреть фильм «Ночи Кабирии», который тогда впервые показывали по телевизору. Мама находилась в некотором сомнении насчет того, смотреть ли его детям. Тетя Рита (жена Сергея Михайловича Барского), будучи театральным режиссером, склонялась к положительному решению. Тетя Руня подвела итог — всем смотреть необходимо, за что я ей и благодарна. Когда появились ее первые рассказы «Сильва», «Скорпионовы ягоды», нам они очень понравились своим живым языком, наблюдательностью, и мы гордились, что у нас есть знакомая настоящая писательница. Мы находили в ее рассказах множество натуральных деталей. Так, яблоня в «Скорпионовых ягодах» — это наша комаровская яблоня, которая вдруг зацвела в конце августа, а одесский пляж в «Солнечной стороне» явно списан с зеленогорского. Конечно, мы пытались угадать и прототипы ее героев.

Впервые песни Окуджавы, Галича, Городницкого я услышала у Серманов. Помню как сейчас один летний вечер. Мы пришли вместе с пляжа или приехали к ним на велосипедах и засиделись. Тетя Руня пригласила нас обедать. Было тихо, уютно, жужжали пчелы, и тетя Руня процитировала: «...Небо меркло. Воды струились тихо. Жук жужжал». Откуда это?» Наступило смущенное молчание, и она огорченно сказала: «Дети не читают Пушкина. Это “Евгений Онегин”». Потом в полутемной комнате мы слушали песни Галича, Городницкого, Окуджавы. Пела Ниночка чудным мелодичным голосом, а тетя Руня иногда брала гитару и по-своему пела какую-то фразу более низким, грудным, тоже негромким голосом. Тетя Руня пела много и шуточных песен, и «блатных». Она восхищалась Вертинским, а как-то раз даже затянула «Железняк» протяжно и торжественно.

Воспоминания 60-х годов возникают светлыми и счастливыми картинками — наверное, потому, что мы были очень юными и защищенными своими семьями. Но вот наступили 70-е. Я сейчас смотрю на книжку 74-го года «Немые звонки» с дарственной надписью маме: «Дорогому сорокалетнему другу — от сорокалетнего друга, с сорокалетней любовью» (40 лет — возраст дружбы). На фотографии в книжке молодое улыбающееся лицо, а мне вспоминается в эти годы ее другое лицо — притихшее и напряженное. Время было уже очень тяжелое. В 71-м году не стало моего отца, через полгода один за другим ушли из жизни Ахилл Григорьевич Левинтон и Владимир Ефимович Шор — ближайшие друзья. Потом начались отъезды близких друзей, в 74-м году из страны выдворили Ефима Григорьевича Эткинда, у Серманов готовились к отъезду дети. В это время, насколько я помню, Серманы появлялись у нас почти всегда с На-

тальяей Григорьевной Долининой и Ольгой Лазаревной Фишман, вдовой Ахилла Григорьевича, они все очень поддерживали тогда друг друга.

Хорошо помню последний мамин день рождения перед их отъездом, они в этот день всегда у нас бывали. Уже было ясно, что решение принято, но думать об этом не хотелось, а тетя Руня как раз хотела, чтобы мы не боялись думать. Помню, как она сказала: «Мы трусливое поколение». Я стала спорить: какое же трусливое, Испания, война, лагеря, верность дружбе — где же тут трусость? Но она повторяла: «Трусливое поколение». Потом сказала: «Но мы же растем, мы взрослеем, мы принимаем решение».

После отъезда Серманы присылали маме открытки из разных мест, где они бывали, у нас они все хранятся до сих пор. Вот одна из них, из Вероны, с видом «дома Джульетты»: «Chere amie, où est notre jeunesse, où est notre fraîcheur? Meilleurs vœux. Les Sermans».

В феврале 90-го года мы с мамой оказались в Париже, в гостях у Ефима Григорьевича Эткинда, и как-то утром мама сказала: «Сегодня Руин день рождения». Мы решили ей позвонить, и впервые за 13 лет они услышали голос друг друга. После этого они стали обмениваться открытками. Я отчетливо помню, как в октябре 91-го года мама сказала: «Вот теперь я освободилась и могу наконец написать настоящее письмо Руне». Это было длинное и грустное письмо, в котором она писала о последних днях их общей подруги, Александры Львовны Андрес, о ее мужестве, о своей жизни, о беспокойстве за нас — снова начинался шквал отъездов наших друзей... Письмо оказалось прощальным. Оно лежало у мамы на столе в день ее гибели 31 октября, и тетя Руня получила его, когда мамы уже не было в живых.

После маминей смерти мне очень остро хотелось поговорить с тетей Руней, расспросить ее об их общей молодости, но они все не приезжали, а у нас не получалось выбраться в Израиль. И вот летом 98-го года Серманы впервые после отъезда приехали в Ленинград, теперь уже Петербург, и почти сразу, с самолета, пришли на вечер памяти моего отца, Виктора Максимовича Жирмунского, организованный редакцией журнала «Звезда». Их появление было полной неожиданностью, все наперебой бросились обнимать и приветствовать их, Илью Захаровича попросили выступить, и, несмотря на усталость, он выступил, немногословно, но очень весомо. Через несколько дней я пришла к ним повидаться на Петроградскую, где они гостили у Ирины Ефимовны Ганелиной. Весь день шел проливной дождь, но встречу не хотелось откладывать, и я пришла с промокшими ногами. Тетя Руня перерыла все чемоданы и не успокоилась, пока не снабдила меня теплыми носками, и такой теплотой от этого повеяло, как в детстве. Еще два лета после этого они приезжали в Дом творчества в Комарово, и мы с сестрой опять, как в детстве, приезжали туда

на велосипедах и засиживались у них допоздна. Говорили о книгах, о политике, они рассказывали об Израиле, мы много говорили о детях. «Я соскучилась по облакам. У нас ведь нет облаков, нет полутона» — это после возвращения с залива, «Здравствуй, дружок» — это при встрече. Зашел разговор о религии, и она сказала, что совсем неверующих людей не бывает. В детстве меня очаровывало ее озорство, артистизм, а теперь я увидела, что, может быть, основное — это ее доброта, домашность и мудрость. Она не забыла навестить ни одного из старых друзей, поехала одна на другой конец города, чтобы проговорить целый день с моей тетей Ритой, которая уже не могла выходить. Она сделала нам замечательный подарок — две свои последние книги, в которых наблюдательность, остроумие и память соседствуют с человеческим состраданием и мудростью.

Наш последний разговор по телефону был накануне Нового 2001 года. Мы поздравили друг друга и надеялись на скорую встречу, через две недели мы с мужем должны были быть в Израиле. Но когда мы приехали, тетя Руня была уже в больнице. Мы навестили их на следующий день после ее выписки, посидели с Ильей Захаровичем и Ниночкой — с Ниной мы не виделись с ее отъезда и вот так встретились. Но с тетей Руней поговорить уже было нельзя.

*Санкт-Петербург,  
Россия*

*Джеральд Смит*

## Руня

В мае 2006 года я участвовал в небольшой конференции в Принстонском университете, в рамках серии научных заседаний, устроенных факультетом славистики. Заседания проходили на фоне органично вливавшейся в них выставки картин из Русского музея в Петербурге. Стоя перед знаменитым портретом Ахматовой работы Натана Альтмана, я услышал Рунин голос. Для меня в этом нет ничего необычного — ее голос часто звучит у меня в ушах.

Из всех, кого мне посчастливилось знать за долгие годы и кого я потом имел одновременно счастье и несчастье пережить, именно с Руней мне особенно хотелось бы начать все сначала. Я знал ее больше 30 лет и несколько раз, в разное время и в разных местах, жил с ней под одной крышей, но она никогда передо мной не «раскрывалась», то есть не рассказывала о себе. Да и я никогда не расспрашивал ее о ее жизни, о чувствах, о том, как она оценивает пережитое. Во-первых, мне практически сразу стало казаться, что я так хорошо знаю ее, а она — меня, что задавать простейшие вопросы неуместно. Во-вторых, у нас всегда были более актуальные темы для разговора. А в-третьих и в-главных, ей, такой, как я ее себе представлял, было несвойственно все «выговаривать», мне же — просить ее об этом, прежде всего из страха показаться невеждой или глупцом. Потом, разумеется, Руня много писала о своей жизни, но это было уже после нашего знакомства, и мне не хочется, чтобы узнанное из ее произведений повлияло на то, что я пишу, исходя из непосредственных впечатлений.

Как я уже говорил, мы с Руней были знакомы много лет и временами даже жили бок о бок, но, в сущности, ни разу не разговаривали наедине. У меня в памяти она неотделима от Ильи Захаровича. Это не значит, что они сплавлены воедино, как иногда бывает с давно женатыми людьми. Никоим образом. И.З. и Руня были и остаются для меня двумя совершенно различными, по-своему яркими личностями. К примеру, мне бы никогда в голову не пришло обратиться к И.З. во втором лице единственного числа, тогда как с Руней мы практически сразу же перешли на «ты». Тем, для кого русский — родной, это может показаться естественным, но для



иностранца непостижимо. Впрочем, вместе И.З. и Руня составляли нечто большее, чем две отдельные личности. Умственным взором я вижу комнату, где они сидят бок о бок и непрерывно общаются, не столько словами, сколько взглядами. Я же чувствую, что передо мной два необыкновенно умных, знающих, многое переживших человека, и стараюсь не ударить в грязь лицом.

Говоря «умных», я имею в виду, что не встречал никого, кто бы так понимал людей. Все, что я мог им сказать, они либо уже знали, либо понимали с первого звука. С Руней я познакомился благодаря И.З., а с ним — потому, что в 1960—1970-х годах писал диссертацию о русской поэзии XVIII века. Средоточием специалистов и источников по этой теме была тогда Группа XVIII века при ленинградском Институте русской литературы Академии наук (Пушкинский Дом), а главным в группе был И.З. Согласно договоренности 1950-х годов о «культурном обмене», я как британский университетский преподаватель получил возможность пройти в СССР стажировку для исследовательской работы. Университетских преподавателей принимала Академия наук СССР, хотя я был тогда всего лишь младшим преподавателем, даже без кандидатской степени. В результате меня прикрепили к соответствующим академическим учреждениям: ленинградскому Пушкинскому Дому и московскому ИМЛИ. Кажется, мы с И.З. познакомились в 1969 году, но точно я даты не помню и не могу проверить, так как пишу вдалеке от своих «средств производства». После нескольких официальных встреч в институте И.З. пригласил меня к себе домой, что в то время случалось нечасто. Собственно говоря, И.З. — единственный из ученых своего возраста, кто охотно приглашал иностранцев. Делал это и Михаил Павлович Алексеев, но он был старше и занимал гораздо более высокое положение.

В квартире Серманов на проспекте Газа я провел много вечеров. Эти сборища помнятся мне как первое прикосновение к архетипичному и, как я понял впоследствии, имманентно присущему русской интеллигенции ритуалу. В Англии мне ничего подобного видеть не доводилось. Помню комнаты, где собиралось не меньше десятка людей, в основном примерно моих ровесников, с обильной выпивкой и закуской. Разговор не провисал ни на минуту и был, как правило, общим, но временами внутри него возникали небольшие группки, говорившие о своем. Иногда, особенно к концу вечера, когда уже много было выпито, гости пели, но не помню, чтобы у Серманов кто-то напился и буянил, как часто случалось на сборищах, где не было старших. Предполагалось, что гости приносят с собой выпивку; от иностранцев ожидалось, что они принесут что-нибудь из валютного магазина «Березка»; но как я узнал об этом и прочих правилах — не могу вспомнить. В то время русские считали, что все иностранцы, приезжающие в Россию, знакомы друг с другом, но на самом деле именно на Газа

я познакомился с двумя британскими русистами, которые уже входили в сермановский круг и которых я в Англии никогда не видел: с Элизабет Робсон и Бобом Расселом. Главное — мне тогда в голову не приходило, что все изменится и я увижу Серманов за пределами России. Тогда мы об этом, безусловно, не разговаривали, но задним числом я сообразил, что они уже тогда обдумывали возможность отъезда.

В гостиной квартиры на Газа стояли тома энциклопедии Брокгауза и Эфрона, и помню, как в нее заглядывали после моего рассказа о чем-то конкретном за пределами России, чтобы выяснить, насколько это изменилось с дореволюционного времени. Неоспоримое превосходство дореволюционного справочника, как, впрочем, и всего дореволюционного над послереволюционным, считалось чем-то само собой разумеющимся, хотя, конечно, никаких антисоветских высказываний ни по этому, ни по любому другому поводу не следовало. С тех пор у меня стало привычкой заглядывать в Брокгауза, о котором я до Серманов никогда не слышал. Особенно ярко помню, как однажды мне было велено прочесть в ней статью о моем родном городе Манчестере. Не знаю, кто после отъезда Серманов приобрел библиотеку из ленинградской квартиры, но из какого-то Руниного произведения выяснил, что на вырученные деньги она купила подержанную норковую шубу, о чем рассказывает со свойственной ей ироничностью.

Однажды я побывал у Руни и И.З. в Доме творчества в Комарове. Главное, что помнится из этого теперь, — заговорщицкий Руниин голос по телефону, объясняющий, как добраться в Комарово (полагаю, иностранцам туда ездить было в то время официально запрещено). В тот день мы собирали грибы и потом отнесли на кухню, где нам их приготовили на обед. После обеда Серманы познакомили меня с Виктором Соснорой, который вместе с нами «уговорил» бутылку французского коньяка, привезенную мной из «Березки». Затем мы отправились на могилу Ахматовой, тогда еще с деревянным крестом. (Как пример моего незадавания Руне вопросов могу сказать, что она даже не упомянула тогда о своем знакомстве с Ахматовой, а мне, разумеется, и в голову не пришло спрашивать. Об этом я узнал лишь много лет спустя из ее эссе.) Руня глазами показала мне на чрезвычайно изысканную даму, прогуливавшуюся со спутницей по комаровскому кладбищу, и сказала вполголоса: «Это вдова Альтмана». Я, конечно, понятия не имел ни кто такой Альтман, ни тем более кто такая его вдова, но спрашивать не стал: возможно, собирался спросить позднее, но забыл. Эти-то слова и произнес голос Руни у меня в мозгу весной 2006 года, в художественной галерее Принстона.

У нас с Руней сразу же установились замечательные отношения, по причине, которая может показаться иррациональной или просто пустяковой. Когда И.З. нас представил друг другу, меня изумило и обрадовало ее

имя: мне в голову не приходило, что имя Руфь может носить русская. Будучи неисправимым педантом, я спросил, как ее имя склоняется, и Руна подробно объяснила, добавив, что необразованных русских оно тоже часто ставит в тупик и они превращают его в «Руфу» или «Руфину». Только позднее я сказал ей, что так зовут мою мать, одну из сестер и дочку. Руна явно восприняла это как доброе предзнаменование.

До сих пор я все время употреблял прилагательное «русский» с настоятельностью, которая может показаться подозрительной. Но дело в том, что, когда я познакомился с Серманами, они были для меня русскими, и больше никем. Их определял русский язык, богатый и гибкий, как ни у кого из ныне живущих, и внутреннее родство с российской культурной историей — вещь для меня опять-таки абсолютно новая. Общение с ними показало мне, насколько ограничены были в этом смысле мои учителя, которым — не по их вине — не доводилось общаться с русскими интеллектуалами у них дома. Как уже говорилось, родом я из Манчестера, где существует большая и старая еврейская община. Но я никого в ней не знал, и уж точно до квартиры на проспекте Газа никогда не бывал в еврейском доме. В разговоре с Руней я как-то сказал, что в детстве видел так мало евреев, что запомнил их имена и только позднее, задним числом, сообразил по ним, что эти дети были евреями. Рут (Руфь) Блэк играла Мадонну в школьной инсценировке Рождества, где я был одним из волхвов; позднее, в средней школе, среди моих соучеников были Брайан Леви и Терри Гласстоун. Еще позже, в Лондоне, в бытность мою полупрофессиональным джазменом, я познакомился с Реем Фирстоуном и Мартином Дрю; оба они были изумительными барабанщиками, особенно Мартин, которого теперь знает весь мир.

Если я даже об Англии в этом смысле ничего не знал, то уж и подавно не имел никакого понятия о том, что значит быть евреем в России, в прошлом и в настоящем. За годы моей учебы на отделении русского языка и литературы в лондонской Школе славистики (1961—1964) эта тема, насколько могу припомнить, ни разу не возникала. Я, вероятно, читал рассказы Бабеля о Гражданской войне, но в них повествовалось о некоем абстрактном месте, которое не было для меня Россией. Таким образом, осознание этой жизненно важной сферы, пусть неполное и со стороны, было первым из сермановских даров, и с тех пор я стараюсь об этом не забывать, когда думаю и пишу о современной русской культуре. Я часто себя спрашиваю, особенно когда пишу рецензии на книги: «Что бы сказала Руня?» — и всегда рекомендую моим студентам внимательно проштудировать ее эссе «Наши дороги домой», чтобы получить достоверную и острожно выраженную картину мышления евреев — ровесников революции и вообще еврейского вклада в русскую литературу советского периода. На мой взгляд, это главная из Руниных нехудожественных вещей,

заслуживающая стать классикой. Равноценно ей, по-моему, лишь Рунино предисловие к первому, запоздалому изданию романа И. Грековой «Свежо предание», вышедшему только в 1995 году в издательстве «Эрмитаж»; для меня оно — важнейшее из написанного Руней о литературе, и не только о литературе.

В эссе «Наши дороги домой» есть фраза, от которой, как от фамилии Альтман, у меня в ушах начинает звучать Рунин голос. Описывая первые впечатления от Иерусалима, она упоминает «красоту и значительность здешних лиц» («Израиль и окрестности», с. 273). Читая эту фразу, я сразу переношусь в то время, когда мы с женой, Барбарой Хельдт, гостили у Серманов в Иерусалиме. Мы шли по оживленной центральной улице, и Руня увидела, что я вглядываюсь в лица; встретившись со мной взглядом, она негромко произнесла своим низким, прокурненным голосом: «Да, мой милый. Здесь лица, а не рожи». Пишу это не без колебаний, опасаясь кого-то незаслуженно обидеть; многое из того, что она мне говорила, боюсь, вообще нельзя публиковать.

Вне России Серманы были теми же людьми, которых я знал в Ленинграде, но и другими; во всяком случае, выглядели они по-другому, особенно лица, помолодевшие и не такие напряженные. Однако Рунино замечание насчет лиц высвечивает неотвязно преследующий меня вопрос: зачем Россия так упорно отвергает и выкидывает самых талантливых своих людей, даже тех, кто вначале пытался ей честно служить? Отчуждение практически повсюду — «знак почета» для интеллектуалов, но Россия будто специально культивировала его с саморазрушительным, каким-то даже сладострастным упоением.

Знакомство с Серманами открыло мне еще кое-что, не менее, а то и более важное, чем еврейство. У меня в семье никто не имел отношения к искусству, разве что в качестве музыкантов-любителей — таких было много со стороны отца, да и я, к большому его неудовольствию, вырос музыкантом-любителем. В детстве и отрочестве мне представлялось, что литературу и искусство (если я вообще думал о том, откуда они берутся) создают какие-то необыкновенные существа, не являющиеся людьми в том смысле, в каком людьми были я и мои родные. Я первым в семье пошел в университет и до этого не видел ни одного интеллектуала. Серманы были первыми столичными жителями и профессиональными деятелями культуры, с которыми мне довелось общаться на светском и личном уровне: с И.З. по академической линии, с Руней — как с писательницей. Должен добавить, что вначале я не понимал даже, что она писательница, тем более — какая. Знакомство с ними открыло мне дверь в незнакомую и невероятно захватывающую сферу бытия, с которой я никогда не сталкивался у себя в стране и вообще не видел так близко, как в России и с русскими. В течение многих лет, собственно говоря до 1986 года, когда

меня сделали профессором русского языка и литературы в Оксфорде, я вел странное двойное существование: в России свободно и вроде бы естественно вращался в кругах интеллектуальной элиты, а дома оставался провинциальным выскочкой.

Многие английские и американские ученые моего поколения стали заниматься русской литературой оттого, что обнаружили у русских серьезное отношение к литературе, которое, по их мнению, утеряно на Западе. Это представление окутано туманом заблуждений, невежества, стремления выдать желаемое за действительное, самообмана, некритического проглатывания рекламных стереотипов и т.д. и т.п. Но время от времени действительно встречается русский, воплощающий эту серьезность, и для меня высшим ее образцом была Руня. Она с полной искренностью выразила то, что без конца как попугаи твердят западные студенты и русофилы: «В России считали, что литература не забава, а что это святое дело... Почему — все давно знают: литература вместо всего! Мы на этом выросли и без этого не можем» (там же, с. 286). От Руни я это принимал, но, когда слышу то же самое от людей, не обладающих ее культурным масштабом, у меня начинаются судороги — как всегда, когда Россию изображают странной некоего необъяснимого, уникального духовного превосходства, — и я извел множество бумаги, споря с этим утверждением.

До сих пор не могу взять в толк, как такое отношение к литературе совмещалось с Руниной любовью к Агате Кристи и Дику Фрэнсису (она говорила мне, что Фрэнсис — ее любимый английский романист), а тем более к таким «нечистым» писателям, как Джордж Оруэлл и Владимир Жаботинский. Кстати, именно по поводу Оруэлла мы с Руней чуть не рассорились: я пытался ей объяснить, что для человека моего происхождения и воспитания (обозначив его, вероятно, каким-то чудовищно советским термином, вроде «манчестерского пролетария», который не мог не вызвать ее полного отторжения) Оруэлл — всего лишь интеллигентский позер из высших слоев среднего класса, смотревший на нас свысока, как бы прав он ни оказался насчет официального коммунизма и прочего. Любой оттенок левизны во взглядах западного интеллектуала был для нее смертным грехом — по очевидным причинам. Серманы сделали мне громадный, неоценимый комплимент, познакомив с другими людьми из своего круга. Помимо их детей главным в этом кругу был, как я его называю, дом Раскиных/Вентцелей в Москве. Именно этому дому я более всех обязан пониманием современной российской словесной культуры, не в смысле знания фактов, а в смысле приобретения, как бы это сказать, уверенности в деле ее изучения и преподавания, уверенности, которую дает только общение с людьми, воплощающими глубочайшие ценности данной культуры.

Как я уже говорил, с И.З. мы познакомились потому, что я занимался русской поэзией XVIII века. Но помимо этого я занимался — и, вероятно, с большим воодушевлением — современными песнями под гитару. Впервые я услышал их (это были ранние песни Окуджавы, заложившие основы жанра) от русских, приехавших в Англию в 1962—1964 годы (я работал у них переводчиком). Тогда в такие группы попадали только представители советской элиты. Первые записи этих песен, которыми я обзавелся, были привезены из России в 1960-х годах знакомыми студентами. Сначала, как я уже сказал, был Окуджава, затем Высоцкий и наконец Галич. Песни эти меня заворожили. Позднее, в 1984 году, я написал о них книгу под названием «Песни под семиструнку», а годом раньше издательство «Ардис» опубликовало мои переводы песен Галича. Книга эта вышла с посвящением «И.З. и Р.А.», в знак неопределимой роли, которую они с друзьями сыграли в моем приобщении к этой теме, и меня страшно радует, что хотя бы этот малый знак моей благодарности оба они увидели при жизни. До сих пор храню как сокровище машинописную запись слов «Милицейского протокола» Высоцкого, сделанную мне в подарок Руней и И. Грековой тут же, на месте, в квартире Раскиных/Вентцелей, где я впервые услышал эту песню и был ею сбит с ног. Разумеется, понятно мне в ней было самое большее 75 процентов, и полностью мне все разъяснил импровизированный семинар, проведенный этими невероятно знающими людьми. Итог происшедшему подвел невозмутимый верховный авторитет И.З. (еще один голос у меня в мозгу): «Он понимает идиота как никто».

Именно благодаря Серманам и их кругу я понял значимость этих песен, и как собственно поэзии, и в силу множества других факторов — в частности, их хождения среди тогдашних интеллигентов в качестве некоей «лингва франка», а иногда и моральной лакмусовой бумажки. Опора на Серманов и пр. была мне необходима, поскольку в то время (1960—1970-е годы) слависты за пределами России точно так же, как официальные литературные круги в СССР, считали эти песни второсортными, «позорящими великую культуру» и недостойными внимания уважающего себя исследователя. Как все с тех пор изменилось!

До сих пор я все время говорил о дарах драгоценных, но не вещественных. Но однажды Руня сделала мне подарок драгоценный и при этом вполне вещественный. Речь идет о библиографической редкости — сборнике стихов Ахматовой, принадлежавшем И.З. (с его подписью на титульном листе) и подаренном им Руне вскоре после женитьбы. Руня взяла его с собой на одну из встреч с Ахматовой, и та его ей надписала. Этот сборник Руня подарила мне на 50-летие, примерно совпавшее с моей инаугурационной речью в Оксфорде в апреле 1988 года. С гордостью заявляю, что Серманы присутствовали на этом событии. Руня перепосвятила мне сборник, надписав посвящение на странице против титульного листа.

Я собирался после ухода на пенсию передать это главное мое достояние библиотеке славистики Тейлоровского института в Оксфорде, чтобы оно было доступно для ученых, и вообще для людей, интересующихся русской литературой, а не досталось после моей смерти неизвестно кому, вместе с моими книгами. Но в 2005 году в Оксфорд приехала высокопоставленная сотрудница петербургской Публичной библиотеки; я показал ей сборник, она заметила, что, по ее мнению, ему место — в музее Ахматовой, и выразила готовность собственноручно передать его музею от моего имени. Я согласился, и таким образом «мементо» моих отношений с Руней и И.З. вернулось в город, где эти отношения зародились. Но уже не в Ленинград!

Помимо занятий поэзией XVIII века и песнями я еще в 1960-х годах стал собирать материалы о жизни и деятельности литературного критика Д.С. Мирского; результатом этих изысканий стала биографическая работа под названием «Д.С. Мирский: русско-английская жизнь, 1890—1939», вышедшая в 2000 году в «Оксфорд Юниверсити Пресс». С этой книгой связано бесконечное количество историй, например о том, как в 1976 году я хотел сделать доклад о Мирском в Пушкинском Доме, и мне ответили, что тема эта политически неприемлема — Мирский оставался «несуществующей величиной». К тому времени И.З. уже не было в Ленинграде, и их с Руней отсутствие было одной из причин того, что я вскоре вообще перестал ездить в Россию и не ездил туда более десяти лет. Шедевр Мирского, «История русской литературы», написан в эмиграции по-английски, и на русском языке его не существовало. Хочется думать, что именно благодаря моим славословиям Руня взялась его переводить. Кстати, я настоятельно советовал ей перевести первое, двухтомное издание 1926—1927 годов, а не сокращенное, однотомное 1949 года, которое до сих пор служит стандартным учебником для западных студентов. Руня послушалась, и в 1992 году ее перевод увидел свет в Лондоне. Руно как-то не воспринимается как переводчика, но ее «Мирский» показывает, как замечательно она переводила — причем с английского, который был далеко не первым ее иностранным языком. Правда, для меня финал у этой истории грустный. Я из кожи вон лез, чтобы найти в постсоветской России издателя для этого классического труда в Рунином переводе. В конце концов издатель нашелся; я написал предисловие, которое мастерски, как всегда, перевел мой знакомый, покойный М.Л. Гаспаров. Однако издательство тянуло время, по-видимому, не желая начинать работу без дотации, и в конце концов Рунин перевод был опубликован другим издательством — не знаю, с ее ведома или нет; надеюсь, ей хоть что-нибудь заплатили. Таким образом, мой замысел не осуществился, а с ним исчезла единственная возможность увидеть мое имя на одном титульном листе с Руниным, о чем я горько сожалею.

В «Песни под семиструнку» в качестве образца неофициальной песни до появления «Магнитиздата» включен мой перевод поразительной песни Ахилла Левинтона «Жемчуга стакан» (1948), о которой я узнал, разумеется, из Руниного рассказа «Элизабет Арден», а также из ее устных рассказов об обстоятельствах ее появления. (У меня в книге сразу же за этой песней идут «Фонарики» Глеба Горбовского, которые я услышал в один из вечеров на Газа в очаровательном исполнении Нины Серман.) Из Руниных рассказов «Элизабет Арден» мне дороже всего. Я не только узнал из него многое о ее жизни, чего раньше не знал, но именно тут мне открылось, какой Руня сильный и оригинальный писатель. Получив от нее этот рассказ, я его перевел и послал ей свой перевод, кажется, ко дню рождения, в подарок, как дань любви и уважения. Конечно, следовало нажать на все пружины, чтобы этот перевод опубликовать. Для профессионального писателя, каким она была, это было важно. Но мой перевод так никогда и не появился в печати. Несколько позже, в 1991 году, в Америке вышел добротный сборник Руниных рассказов «Немые звонки», с авторизованными переводами Хелен Рив и других и с прекрасным предисловием. Меня появление этой книги чрезвычайно обрадовало, но каждый раз, созная, что переводы там не мои, я испытываю минутную боль. Среди прочего на задней странице обложки помещена моя любимая Рунина фотография — поясной портрет, сделанный ее сыном Марком. Глядя на этот снимок, я всегда представляю себе, как она говорит, на этот раз по-английски, что-то вроде «Вот как надо, недотепа» — продолжение многочисленных ее высказываний, делавшихся в моем присутствии, но в третьем лице и начинавшихся словами: «Наш невинный англичанин считает...»

Но если опубликовать перевод «Э.А.» мне так и не удалось, то удалось нечто в конечном счете более важное: я рассказал о нем Барбаре Хельдт. Мы с Барбарой познакомились в 1980 году; мы оба русисты, поэтому нам много о чем надо было друг другу рассказать, чтобы прояснить наши отношения. Оказалось, между прочим, что в 1975 году ее как-то позвали на Газа в тот вечер, когда я там был, но она пошла куда-то в другое место; это была одна из многих наших не встреч. То, чего не сумел сделать я, — донести написанное Руней до англоязычной читающей публики, сделали в 1980-х годах Барбара и другие русистики. Благодаря книге Барбары «Устрашающее совершенство» рассказ «Элизабет Арден» вошел в число канонических текстов для западных студентов-русистов; книга Катрионы Келли «История женской литературы в России» упрочила Рунину репутацию, а множество справочников, появившихся на волне феминизма, завоевали ей одно из главных мест среди современных российских беллетристов. Надеюсь, так же обстоит дело и в самой России. Лучшей энциклопедической заметкой о Руне, на мой взгляд, была и остается первая, принадлежащая перу Барбары Хельдт: «Зернова Руфь Александровна



(Рут); муж Серман; род. №: февраля 1919 г., Тирасполь, Украина (так). Прозаик, мемуарист и эссеист» (см.: «Словарь русских женщин-писательниц» под ред. Марины Ледковской, Шарлотты Розенталь и Мэри Зирин (Вестпорт и Лондон: Гринвуд Пресс, 1994. С. 738—740). Крупный русский писатель, вырисовывающийся из тщательно продуманных слов Барбары, — это и моя незабвенная, невозвратимая Руня, насмешливая и сентиментальная, трезвая и суеверная, расчетливая и чрезмерно, импульсивно щедрая, крохотная и очень-очень большая — неумолчный голос у меня в душе.

*Ванкувер,  
Канада*

*(Перевод Н. Ставиской)*

## **Вот такая песня — вот такая Руня**

С Руфью Александровной я познакомился сразу после их с Ильей Захаровичем возвращения из лагерей. Это были не первые из тех, кто вернулся, но первые лагерные (окололагерные) песни. Их пела под гитару Руня (тогда из-за разницы в возрасте и судьбе она для меня была только Руфью Александровной, и никак иначе). Песни были разные, но окончание всегда одинаковое: Руня прихлопывала струны ладошкой и как-то очень значительно говорила: «Вот такая песня...» По-моему, это значило: «Это не я, это песня такая, это жизнь такая...»

Чаще всего это было в доме Носковичей, и в памяти сохранилось много очень похожих кадров, но один из них совсем в другом месте. Мы с Ниной тогда (это было в начале 60-х годов) впервые получили собственное жилье — квартиру в Сосновой Поляне. Ждали гостей, и, когда открыли дверь, на лестничной площадке оказались круглый журнальный столик и два кресла — в креслах сидели Руфь Александровна и Нина Алексеевна, а за креслами стояли Илья Захарович и Виктор Семенович. Как это все уместилось на крохотной площадке хрущевки? А журнальный столик жив и сейчас.

Потом гитара как-то отчасти перешла в руки Ниночки Серман, и это уже была и другая гитара, и другое время.

А потом был отъезд Серманов в 1976 году, и всем казалось, что это расставание навсегда...

Все-таки жизнь богаче наших представлений о ней, и в 1994 году мне удалось поехать в Израиль. Очень хотелось привезти что-то такое, сугубо наше — оказалось, что это комплект струн для семиструнной гитары (и там бывает дефицит!). А в Гостином Дворе этого добра навалом — вот уж повод для торжества! Встречи с Серманами я ждал с некоторым страхом: прошло чуть не двадцать лет, какие они теперь и как на меня посмотрят, за кого примут... Я не очень отчетливо помню сам момент встречи. Кажется, Руня распорядилась, чтобы я позвонил по телефону, перед тем как сяду в автобус, идущий к ним в Рамот, и она встретит меня на остановке,

чтобы я не путался с ивритскими надписями. Она и в самом деле ждала меня на автобусной остановке, и, увидев ее, я понял, что действительно прошло восемнадцать лет. Но это впечатление было недолгим, не дольше того момента, когда вместе с какими-то письмами и еще чем-то я отдал ей пакетик со струнами и услышал восторженный и звонкий голос: «Илюша, Зоря струны привез!» И как-то все встало на место, и восемнадцать лет хоть и прожиты, но не так уж и важны.

Потом, когда меня спрашивали, как они живут, какая у них квартира, обстановка и т.п., мне как-то трудно было об этом рассказать. Все было сразу привычно и как бы обыкновенно, как в Питере. Между прочим, через несколько лет в Ленинграде в случайном разговоре о том, как живут наши соотечественники в Израиле, одна дама стала рассказывать, что была в Иерусалиме в одной совершенно ленинградской квартире, и мы довольно быстро установили, что это был дом Руни и Ильи Захаровича.

Потом уже, еще через четыре года, когда мы были в Израиле вместе с Ниной, она отметила, что на дверях у Серманов нет мезузы, и спросила Руню, а как же, если придет кто-нибудь сильно религиозный, ему же нельзя будет войти в эту дверь. А Руня как о чем-то совершенно очевидном сказала: «Ну и пусть не ходят».

Так уж получается, что во всех воспоминаниях автора слишком много. Боюсь, что и у меня так, и тем не менее... В первый же день пребывания в гостях у Руни и Ильи Захаровича я, естественно, не мог не отправиться к Стене Плача. Я присоединился к какой-то экскурсии и дошел с ними до нужного места, но как-то эти люди были мне чужими (может быть, потому, что никто из них не бросил монетку уличным музыкантам, хотя выглядели они отнюдь не бедно и были обвешаны видеокамерами — в 94-м это было редкостью), и я подошел к Стене один. Я не положил туда записочку, но вспомнил своего дедушку, глубоко религиозного человека, погибшего в блокаду и похороненного рядом с синагогой на Преображенском кладбище: думал ли он, где его внук будет вспоминать о нем? А еще вспомнился рассказ о прадеде, который, как говорила мама, вычертил какую-то замечательную карту Иерусалима, никогда там, естественно, не побывав, но все местные евреи (а жили они в Нежине) очень его за это почитали... Предвидел ли он своего правнука у Стены? И как-то получилось, что стоял я там и думал даже трудно сказать о чем — о родных и близких, о судьбе и жизни, и как-то все в голове складывалось в некую большую ясность и спокойствие. Ни до, ни после я таких ощущений не испытал. Не знаю, сколько прошло времени, может, и совсем немного.

## ВОТ ТАКАЯ ПЕСНЯ – ВОТ ТАКАЯ РУНЯ

---

Потом я, как и все, шел в плотной туристической толпе, глазел по сторонам...

А когда вернулся и, рассказывая о впечатлениях, дошел до этого самого главного, Руня внимательно посмотрела и сказала: «И у тебя получилась молитва...»

Вот такая Руня.

*Санкт-Петербург,  
Россия*

*Вячеслав Домбровский*

## **Руфь Александровна Зернова**

«Память сердца» действительно куда сильнее «рассудка памяти печальной». Почему от многих, постоянно общавшихся с тобой, после ухода почти не остается воспоминаний, а некоторые души даже после случайной встречи оставляют такую память, что продолжаешь слышать их и говорить с ними всю оставшуюся жизнь?

Я никогда не был ни профессиональным литератором, ни околослитературным человеком. И с Руфью Зерновой у нас было только непродолжительное общение, вызванное общей памятью о моей матери и ее лагерной подруге, Груне Левитиной. Плюс общие не только для нас, но и для миллионов соотечественников (не худших граждан СССР) политические тюрьмы и ссылки. Но именно Руфь Александровна познакомила меня с чудесной слависткой и талантливой переводчицей Еленой Рив и воодушевила написать книгу воспоминаний о тех, кто трудно и достойно прожил свою жизнь в нашей «равнодушной отчизне» в самые тяжкие годы. Одним из таких людей была и сама Руфь Зернова. Спасибо ей за ее собственные книги и за ее достойную жизнь. Ведь жить в СССР и никогда не пресмыкаться перед властью, ничего не просить и ни перед кем не заискивать было не только трудно (это трудно везде), но и смертельно опасно. Ведь для того чтобы писать хорошо, нужен просто талант, а для того чтобы писать честно, нужна еще и совесть.

Без прозы и стихов таких писателей, как покойная Руфь Александровна, от будущих поколений ускользнет, как написал Генрих Белль, основное переживание XX века — века тюрем и лагерей, века невиданного ранее физического и духовного насилия, переданного, к сожалению, как эстафета, веку нынешнему. Ибо, как удачно сказал один из писателей, то, что не описано в литературе, как бы и не случилось в жизни...

Для Руфи Зерновой выполнение морального долга было доминантой творчества и поведения. Теперь, после ее смерти, наша доля — корить себя за недостаток внимания и любви к людям при их жизни. Увы, как сказала одна замечательная поэтесса, «ведь только после нашей смерти нас любят так, как мы хотели...»

*Кертланд, штат Огайо,  
США*

## **Руня и русский**

Наш визит в иерусалимский дом Ильи и Руни состоялся в ноябре 1999 года. Руня нас встретила прежняя, мало изменившаяся, оживленная и чуть ироничная. Трогала характерная ее манера: когда она произносила что-то важное, в ее голосе, во взгляде, обращенном на слушателя, соединялись изумление и торжественность.

Я обратила внимание на висевшую на стене картину «Волейболисты», может, и не очень умелую, но задорную, выразительную. Оказалось, что это работа Рида Грачева. Мы за ним, блистательным до его недуга, не знали этого интереса.

Зашел разговор о наших «американских внуках». Я посетовала, что мальчишки забывают или не хотят использовать русский язык. Старший, поражавший нас в свои четыре-пять лет употреблением сложных грамматических форм, вводных слов, так забавно звучащих в устах малыша, перешел на русский эмигрантский (в 800 слов); для младшего, приехавшего в Америку в двухлетнем возрасте, русский язык был чужим. Признаюсь, я опасалась эмигрантского «отторжения», помня про глубокий и искренний Рунин израильский патриотизм, хотя и знала о ее книгах и переводах, постоянно выходивших на русском языке в Израиле. Руня отнеслась к нашим заботам с полным пониманием и сочувствием. И тогда я попросила ее что-то наговорить на магнитофон нашим мальчикам о русском языке.

Руня была человеком, постоянно и напряженно думающим о наличной истории («Чему, чему свидетели мы были») и о людях, оказывающихся не просто в «предложенных обстоятельствах», но в обстоятельствах, обрушивающихся на человека как обвал или потоп. Однако мы знали, что она филолог, литературовед, писатель, с тою же, а может быть, и с большей страстью, чем об истории и о человеке в ней, думающий о русском языке, о языках в своем собственном, напряженно заинтересованном «сравнительном языкознании».

Надо было видеть, с какой готовностью она отозвалась на мою просьбу. Это была блистательная импровизация. Руня говорила о совершенно редкостных возможностях русского языка, его гибкости и богатстве

(«Вы можете мне поверить, я знаю, что говорю»). О русских писателях и поэтах, которых нужно читать в оригинале (то, КАК сказано, на порядок углубляет смысл). В конце у Руни с какой-то детской решительностью вырвалось: «А те, кто имеет возможность владеть русским языком, но пренебрегают ею, — те просто дураки!»

Увы, запись по каким-то техническим причинам не получилась. Мы как сумели пересказали внукам этот экспромт. Результатом было то, что старший (без подсказки бабушек и дедушек) начал читать один за другим романы Достоевского, Толстого, а младший — рассказы Чехова — к сожалению, в переводах на английский. Оба они обещали записаться в университете на факультативные курсы русского. Речь Руни в защиту русского языка была и осталась одним из самых важных событий нашего израильского путешествия.

*Бостон,  
США*

*Анатолий Чеповецкий*

## На улицах Рамота

Маленькая белая книжечка рассказов из «Библиотеки» журнала «Огонек» почему-то запала в память, хотя таких книжечек выпускалось за год пятьдесят две — по одной каждую неделю. Запомнилось и имя автора — Руфь Зернова.

Прошло очень много лет. И за столом, за которым отмечается наше прибытие на постоянное место жительства в Израиль, я сижу рядом с хрупкой маленькой женщиной с поблескивающими лукавыми глазами, как-то естественно сразу ставшей центром праздничного застолья. Это Руфь Александровна — та самая Руфь Зернова, чьи рассказы зацепили еще в той жизни.

Врастание в новую жизнь зависит от многого. И не в последнюю очередь от того, какие люди тебе повстречались в первые, самые трудные на чужбине дни. Нам повезло. Руфь Александровна и ее муж, Илья Захарович Серман, на годы стали для нас близким окружением, а какое-то время и соседями, с которыми мы виделись и общались почти ежедневно. Эти вечерние чае- и не только пития всегда сопровождались увлекательнейшими разговорами о литературе, музыке, театре, живописи и вообще «за жизнь» — ведь недаром родиной Руфи Александровны была Одесса.

Руфь Александровна прожила долгую и большую жизнь. Долгая и большая — это не одно и то же. Прожитые годы не всегда измеряются их количеством. А вот событий, и каких, в жизни Руфи Александровны хватило бы на двоих. Но вот что характерно — о многом, что пришлось ей пройти и прожить, Руфь Александровна почти никогда не рассказывала. На все расспросы отмахивалась: это было и прошло. Или отсылала к своим книгам, к рассказам, в которых действительно были рассыпаны крупинки личного. Зато сегодняшняя жизнь — будь то Израиль, оставшаяся позади Россия, происходящее в Европе, в Америке — в ней все привлекало ее внимание, вызывало неподдельный интерес.

Для Руфи Александровны окружающий мир не был одноцветным. В своих суждениях она была бескомпромиссна, порой резка, спорить с ней бывало трудновато. Но тем интереснее было находить в этих спорах истину, приходиться в конечном счете к общему мнению.



Иерусалимский район Рамот, где Руфь Александровна прожила заключительную часть своей жизни, — отнюдь не гладкая площадка. Спуски, подъемы, крутые лестницы. Руфь Александровна до последних почти дней регулярно спускалась вниз на почту, заходила в расположенный рядом магазин и с увесистыми сумками поднималась вверх домой. Забрать у нее сумку почти никогда не удавалось — не разрешала. С той же самостоятельностью она справлялась с домашними делами, хотя, как сама признавалась, особым ее расположением эти дела никогда не пользовались. Зато очень любила принимать гостей. И какие бы интересные люди ни собирались за овальным столом их маленькой квартиры, центром всегда оказывались Руфь Александровна и Илья Захарович. Илья Захарович чаще помалкивал, вставляя иногда четкую реплику, уточняя дату, имя автора или название книги. А Руфь Александровна, сохранившая, несмотря на годы, женское обаяние и привлекательность, вела стол, задавала тон, не давая разговору затихнуть, опуститься до бытовых мелочей. Острый ум, профессиональная наблюдательность, прекрасная образованность, знание практически всех европейских языков делали ее увлекательнейшей собеседницей, умело сочетавшей обязанности гостеприимной хозяйки и хозяйки салона, в том смысле, какой вкладывали в это слово в XIX веке.

Та книжечка из «Библиотеки “Огонька”» осталась в прошлой жизни. Но, к счастью, на нашей книжной полке стоят книги Руфи Александровны, изданные уже здесь, в Израиле. Один из ее рассказов называется «На улицах Рамота». С улицами Рамота связала Руфь Александровна последние годы своей яркой жизни. И с этими же улицами связано для нас знакомство с удивительной женщиной, которая останется всегда живой в нашей памяти.

*Иерусалим,  
Израиль*

*Ирина Роскина*

## **Несколько слов**

Руфь Александровна и ее семья сыграли огромную роль в моей жизни — об этом я хочу рассказать.

У меня есть любимая подруга Саша. Но тогда она еще не была моей подругой. И вот в 1970 году звонит мне Саша и рассказывает следующую историю. Один знакомый должен был переводить в редакции журнала «Искусство кино» прекрасный американский фильм «Шарада» с Одри Хепберн в главной роли. Этот знакомый пригласил Сашу, а главное, ее приехавшую из Ленинграда (не специально, но был скрытый намек, что, может быть, и специально) подругу Ниночку на просмотр. А сам прийти переводить не может. В редакции, конечно, найдут другого переводчика, но у Саши, а главное, у Ниночки не будет возможности пойти туда на просмотр. Если же я соглашусь переводить, то мы все посмотрим фильм, а я еще и получу семь рублей пятьдесят копеек. Если же я завалюсь, не беда, так как, в отличие от них (на несколько лет меня старше), я всего лишь студентка, а не специалист. Я посмотрела на Одри Хепберн — златокудрый ангел Ниночка была не хуже. Я даже получила семь пятьдесят. А когда после года безуспешных попыток устроиться на работу (я еврейка) меня спросил начальник иностранного отдела Госфильмофонда, переводила ли я хоть раз в жизни кино, я смогла ответить положительно и он взял меня на работу, на которой я и оставалась до самой эмиграции.

Так Ниночка Серман с помощью Сашеньки Раскиной определила мою профессию. Потом Саша пригласила меня познакомиться с Ильей Захаровичем Серманом, приехавшим в Москву прощаться перед отъездом. Большое впечатление производили его ровное спокойствие и способность разговаривать о литературе, притом что большинство отъезжающих обсуждали только, сколько комплектов постельного белья подлежат вывозу. Я вспоминала Илью Захаровича осенью 90-го года, пытаюсь образумиться, когда постельно-отъездная суэта наступила и для меня.

Оказавшись в Иерусалиме, я позвонила им с опаской. Все-таки с Руфью Александровной я вообще не была знакома, а Илью Захаровича видела всего один раз в жизни. Меня пригласили прийти немедленно. С приятельницей, у которой я жила. Конечно, к обеду. За этим первым обедом

неизвестно как (то есть хозяевам известно, мне — нет) у меня возникло ощущение, что меня здесь ждали и любят (а я-то уже успела понять, что никто меня в Израиле не ждал и не любил) и вот сейчас мне найдут работу и будут обо мне и о моей дочке заботиться всегда. И Руфь Александровна, немедленно превратившаяся в тетю Руню, стала названивать знакомым (которые не были в таком восторге от моего появления), спрашивая, как там с должностями, с грантами, с аспирантурами. Обнаружив, что с ними дело плохо, она просто отдала мне большой кусок своего перевода. Позже я привыкла к этим ее шитым белыми нитками улочкам — отдавать свое, как бы от него избавляясь, чтобы, упаси боже, не обидеть благотворительностью. Она никогда не устраивала шума по поводу привезенного мне подарка, например чая из Лондона. Она говорила: Муричек, я не тот чай по ошибке купила, будь другом, возьми, а то я его не люблю. Так же в другой мой приход бывало с оливковым маслом или еще чем-нибудь. Или предлагалось вместе позвонить за границу, поболтать с общими знакомыми, с которыми она якобы давно не говорила. А для начала она снабдила меня работой. Сиди и переводи.

Переводила я плохо. Смешно оправдываться шоком первого месяца эмиграции. Или все время раздававшимися сиренами воздушных тревог войны в Персидском заливе, при которых моя маленькая дочка, чье хорошенькое личико было герметично закрыто противогазом, нервно причесывала куклу. Или тем, что в клавиатуре данной мне кем-то на время пишущей машинки не было буквы «з» — вообще не было, ни большой, ни маленькой, — я печатала «э» и поправляла. Конечно, все это имело значение, но главное, я думаю, что мои способности к переводу фильмов не распространялись на письменный текст. Фраза у меня была тяжелой и на тети-Рунин стиль не похожей ни капли. Тетя Руня говорила: ерунда, я потом подправлю. Но редактор не стал ждать ее правки, а устроил мне жуткую выволочку. Я помню, что особенно долго он размазывал меня по стенке за название «Black Forest», переведенное мною как Чернолесье, а не как Шварцвальд. Сразу видно, что я с русской литературой и рядом не стояла и т.д. и т.п. На самом деле там были ляпы и похуже, но этот его довел и мне запомнился. Я, конечно, была в полном отчаянии, что тетю Руню так подвела. Ведь она за меня ручалась как за культурную. Она же осталась абсолютно спокойна. Ни одного упрека она мне не сделала. Отдала мне всю сумму по сделанному ею заранее расчету, уверяя меня, что в редакции ей заплатили сполна. Я так и не знаю, заплатили ли. Не уверена. А главное, через много лет, снова отдавая мне большой кусок другого уже перевода, ни полсловом не унизила. Ведь могла бы сказать: ну на этот раз уж постарайся, Муричек, не подведи. Нет, не сказала.

Мы жили на противоположных концах города, чьи автобусы не любят срезать расстояния. В ту же Персидского залива войну она приехала на

девятилетие моей дочки. Было очень холодно. Не в смысле «для южной страны очень холодно», а по-настоящему холодно. Снег. Она была ладненько укутана, и коробка с противогололедным реагентом висела через плечо. Ей было чуть за семьдесят, но хотелось думать, что семнадцать. Она была красавица. И по ней было сразу видно, что она не даст нам пропасть.

Конечно, на ее отношение ко мне повлияло то, что я Сашина подруга. Но она была готова спасать и других. Для меня это чувство долга было ее главной чертой. Но обычно чувство долга делает человека несколько занудливым, а вот уж этого в ней не было совсем. Ее чувство долга было каким-то абсолютно естественным, не мешавшим ни сплетничать, ни болтать, ни петь (я только совсем чуть-чуть застала ее пение), ни курить, ни радоваться жизни.

Как-то я рассказала ей, что приехала одна семья из Москвы, которая, может быть, ей знакома. И она тут же вызвалась поехать к ним со мной, и по дороге мы купили им пельмени, потому что не знали, есть ли у них деньги на угощение, а ведь им было бы неприятно нас не угостить. И она, конечно, сказала, что просто ей очень захотелось пельменей, потому что Илюша их не любит, и она из-за этого не покупает домой.

Ей хотелось, чтобы моя дочка была веселее. Она и меня учила, что мужчины любят, чтоб «легче». Что не надо помнить, что тебя когда-то бросили, можно и пообщаться по-дружески, поговорить на родном языке. В общем, радоваться надо тому, что есть. По-моему, это видно в ее рассказах. Она описывает детский сад, который под окном, как бы ему радуясь.

Но мой самый любимый тети-Руин рассказ все-таки очень грустный. Про лето под Нью-Йорком. Очень емкий рассказ. Бабушки пасут внуков на даче. Автор (одна из бабушек) иронически отстранен. Девочкам нравятся мальчики. Эмигрантские дети не говорят по-русски. И есть писатель, которым все очарованы. Только его больше нет, он умер. И писателя нет, и лета, которое кончается, и того мира, где по-русски говорили просто-таки все. Такое присутствие отсутствия. И написано замечательно. С той же легкой естественностью, с которой она идет к вам на помощь.

*Иерусалим,  
Израиль*

*Елена Иоффе*

## **Еще несколько штрихов**

В августе 1977-го я оказалась у Нины Королевой и Саши Штейнберга, в их квартире на Мойке. Говорили о моем скором отъезде в Израиль. В тот вечер я впервые услышала о Руфи Александровне Зерновой и Илье Захаровиче Сермане. Выяснилось, что они уже год как на Святой земле. Было похоже, что в семье Штейнберг Р.А. занимает особое место: авторитет, любимый персонаж, легенда. Нина ее цитировала. Тогда же она произнесла своим неповторимым нежным голосом: «Лена, вы будете там встречаться».

Мы прилетели в Израиль 30 октября 1977 года. Я прошла все, что положено олимпиам (вновь прибывшим репатриантам): ульпан (курсы иврита), курсы усовершенствования для преподавателей технических дисциплин (в Союзе я преподавала металловедение в техникуме), устроилась на учительскую работу, была уволена в конце учебного года, поступила в лабораторию на завод по своей специальности. Мы с мужем и двумя дочками получили квартиру в Рамоте, районе Иерусалима. Прошло более четырех лет со времени нашего приезда. Обещанная Ниной встреча не происходила.

В 1979 году я впервые прочла рассказ Р. Зерновой, напечатанный в парижском журнале «Эхо». Он назывался «Попутчики». Я была очарована этой замечательной прозой.

Однажды моя сестра дала мне телефон и сказала: «Позвони». Я была приглашена зайти. Оказалось, что Серманы — мои соседи, живут в том же Рамоте, через несколько домов. Я рассказала им о Нинином пророчестве и в первое время проходила у Руфи Александровны под названием «подруга Нины Королевой».

Именно Руфь Александровна сообщила мне в конце января 1982 года о том, что в Ленинграде умер поэт Глеб Семенов, очень важный для меня человек, учитель. С этого началось наше настоящее общение.

Трудно писать о человеке, который сам так щедро, не таясь, рассказал о своей жизни в своих рассказах. Мне, не страдающей наблюдательностью, не обремененной яркой и точной памятью и не умеющей сколь угодно верно воспроизводить увиденное, не удастся добавить что-нибудь

существенное к тому образу Р.А., который сложился у людей, знавших ее. Можно только привести слова, брошенные a parte и подобранные мною. Еще несколько штрихов.

Ну, например: «Вы не умеете собирать свой мед». Это когда я сетовала на рутину, мешающую мне писать. Она имела право так сказать. Она-то собирала свой мед везде. В ее рассказах теснятся люди известные и просто частные, но для нее равно дорогие и важные.

Сама Р.А. была похожа на свои рассказы. Но, несмотря на естественность и простоту общения, иногда ощущалась ее принадлежность к другой, высшей лиге. Да это так и было: ее литературный талант и удивительная судьба давали ей на это право. Мне часто приходило в голову банальное сравнение с айсбергом, девять десятых которого находятся под водой. Касалось ли это ее полиглотства, ее эрудиции в поэзии, музыке, истории, написанных ею работ по французской литературе (Бомарше). Либо ее встреч и общения со знаменитыми и замечательными людьми, в числе которых были Анна Ахматова, Ольга Берггольц, академик Жирмунский и Сергей Довлатов (встречи эти она никогда не афишировала, лишь случайно проговаривалась). А судьба, бросившая ее, девятнадцатилетнюю, в воюющую Испанию, а затем выведшая с отступавшими республиканцами во Францию. И самое главное в ее жизни, не желанное, но принятое с мужеством и, я бы сказала, смирением, испытание сталинскими лагерями. Приобщение к народу.

Правда, полностью слиться с народом не получилось. В рассказе «Бэ эмца а мидбар» («В пустыне») героиня приезжает в командировку в некую глубинку и встречается с женщинами, с которыми была в лагере. И выясняется, что именно пребывание в заключении стало, по крайней мере для одной из них, временем наиболее светлым и интересным в ее жизни. Женское существование в этом медвежьем углу убого, безвыходно, наполнено суевериями на фоне всеобщего мужского пьянства. И некуда бежать. Радость встречи с подругами померкла. Одним словом, пустыня. И героиня считает дни до отъезда. «Да что же это за духота? Чужой быт? Чужие интонации? Может, страх? Чего мне бояться? Кто меня обидит? Задыхаюсь! Пять лет прожила в лагере — не задыхалась, а теперь вот задыхаюсь? Да, но там была Ира Кнорринг, и Валечка Ким, и даже Андогская. Нас одно и то же смешило — вот в чем дело. *Плакать вместе можно с кем угодно, но смеяться — только с себе подобными*» (курсив мой. — Е.И.).

Об отсутствии педалирования, аффектации при описании самых страшных вещей в лагере я сказала Р.А., еще когда прочла ее книгу «Это было при нас». На это был ответ: «Ну ведь неприлично же иначе». И в то же время потрясающая история о вышитых заключенной, переводчицей Татьяной Гнедич, шторах для лагерного начальства, в которых застряло ее «недоброе чувство» («Татьяна Григорьевна»).

Это может показаться мистикой — шитое, вплетенное чувство, но вот что было со мной. Я иногда вяжу, но совершенства в этом искусстве не достигла и не достигну: так, для домашнего обихода. Как-то Руфь Александровна попросила: «Лена, свяжи мне кофту». Я не посмела отказать. В это время я как раз составляла первый номер своего альманаха «Гнездо». И вот неведомо почему я отложила столь милую для меня работу и принялась за это рукоделие. У меня не было никакого плана, фасон и узоры возникали по ходу дела, сами собой. Но, видимо, я что-то важное для Р.А. ввязала в кофту, потому что она ее очень любила. Она говорила, что в ней ей и тепло, и удобно, и красиво. А сейчас эту кофту иногда надевает ее дочь Ниночка.

Руфь Александровна благоволила ко мне. Как-то я заикнулась о том, не издать ли мне книжку. Она и Илья Захарович горячо ухватились за эту мысль. Я же, испугавшись собственной смелости, решила замотать и помалкивала. Но меня настойчиво спрашивали: «Лена, где стихи?» Отдав им ворох своих листков, я со страхом ждала приговора. Меня позвали. Руфь Александровна произнесла семейный вердикт. «Нам понравилось. Очень искренне. Во многих стихах есть маленькие открытия». Мне был предложен план сборника. Он должен был открываться моей статьей памяти Глеба Семенова. Но мой муж решил, что статью публиковать не надо, и я, как восточная покорная жена, не стала с ним спорить. Руфь Александровна чуть не плакала: «Зачем себя обкрадывать?»

Она часто повторяла: «Я ничего не понимаю в стихах. Мне либо нра, либо не нра». Думаю, говорилось это не без лукавства, достаточно прочесть в рассказе «Лена» ее рассуждения о стихах Пастернака, чтобы не поверить ей. Во всяком случае, она пеклась о моей литературной грамотности, и первая в моем доме книга Мандельштама «TRISTIA» — подарок от Серманов. Она подарила мне очередной сборник Кушнера. Я спросила: «Это мне для масштаба, чтобы знала свое место?» «Это нам всем для масштаба», — откликнулась Руфь Александровна.

Выше я отметила достоинство, с которым Р.А. описывала годы своего заключения. Не доставить им удовольствия видеть ее несчастной, не дать себя сломать. На это был рецепт. «В те годы у меня сложилась привычка: перед сном вспоминать, что сегодня было хорошего. Оказывается, каждый день хоть что-нибудь хорошее да происходило: письмо пришло, или кто-то сказал доброе слово, или на работу не выгнали...» («Я влюблен в Генриетту Давыдовну»).

Этому достоинству и мужеству ни она, ни Илья Захарович не изменили в последние, тяжелые ее годы (болезнь длилась три года и девять месяцев). Дом жил той же светской жизнью, приходили гости, она им радовалась, хотя уже не могла говорить. После первого инсульта, по словам Ильи Захаровича, Р.А. много читала, но насколько она тогда воспринимала

ла прочитанное, нам уже никогда не узнать — обратная связь была утрачена. В тот период меня поражала ее радостная улыбка при встрече. Значит, она действительно любила общество, людей. Мне казалось, что она все понимает, только не может сказать, ее большие глаза светились так сильно, словно хотели возместить отсутствие речи. Когда приходили гости, я садилась рядом с ней или напротив, чтобы видеть ее лицо, мы переглядывались, ее мимика в точности соответствовала тому, что говорилось и происходило за столом. Я помню, как мы уходили, а она вдруг двинулась к двери и зажгла нам свет на лестнице. Сама, без всяких напоминаний. Ах, что мы знаем!

Эти мои заметки вовсе не литературоведческий очерк. И все же нельзя не сказать о ее книгах, которые для меня теперь — она сама. Легкость, занимательность, доверительный разговор, ясность изложения, размах ассоциаций и многое другое, что мне трудно точно определить, можно объединить одним словом — литературный талант. Р.А. владела многими литературными стилями. Например, в сборнике «Длинные тени» под рубрикой «Рассказы» поместились эссе («Нашли время»), беседа за столом во время первой войны с Ираком наподобие «Декамерона» («Коля»), рассказ-аллегория («Умбрии ласкающая мгла»), оратория памяти Сергея Довлатова, исполненная детскими голосами («Лето 1990»), и, наконец, монолог парикмахерши («Светины разговоры»). Последнее особенно интересно: интеллигентная писательница, пишущая для интеллигентных людей, для своего круга, с наслаждением купается в просторечии. Но Руфь Александровна, отмахиваясь от моих похвал, говорила: «И все же самое сильное у меня — память. Память — это да!»

В другой раз я подивилась ее творческой мощи: две последние книги «Длинные тени» и «На море и обратно» были выпущены с интервалом в три года — в 1995 и 1998 годах. На это она мне тихо, но запальчиво сказала: «Я могу моими текстами покрыть половину земного шара».

Заканчивая, я думаю, как бы она посмотрела на мое сочинение. Скорее всего, предложила бы сократить. И даже взялась бы помочь мне в этом, как уже бывало раньше.

*Гиват-Зеев  
Израиль*



*Нина Либерман*

## Детали

Ну что делать, если именно детали производят на меня всегда самое сильное впечатление и запоминаются резче и глубже? Вот и воспоминания состоят из обрывков, отдельных фраз... И периодов...

1948 год. Я кончаю школу и колеблюсь: филологический факультет или, может, биологический?.. И вот друзья моих родных, Руфь Александровна и Илья Захарович, наперебой рассказывают, **у кого** я буду учиться, если выберу филологический. Мне кажется сейчас, что у Руни при этом просто «слюнки текли», — такой мне мог выпасть замечательный шанс. Они меня не уговаривали, но колебаний как не бывало. А уж что через год, в 1949-м, не стало того несравненного факультета, — это другая тема.

Повторяю: в это время Серманы для меня более всего мамыны друзья, и их жизнь, дом, детей, окружение я представляю по ее рассказам.

1954 год. Вот они вернулись. Я уже взрослее, но Руфь Александровна для меня все равно старшая. Восхитительная старшая, знакомством с которой я горжусь; и этот живой, веселый и заинтересованный взгляд! И песни! Не хочу сейчас рыться на полках, уточнять, когда вышли «Скорпионовы ягоды», но с этого момента моя гордость знакомством еще возросла, и я с немалым трудом подавляла желание похвастаться им и дарственными надписями на Руниных книгах.

Ни про книги, ни про песни обобщений не будет, одни детали.

Моя сотрудница в издательстве одно время так привязалась ко мне, что стремилась сопровождать меня всегда и всюду, и мой муж прозвал ее Мой сурок (потом она звалась уже просто Сурок). И вот вдруг звонит Р.А. и спрашивает! У меня! Разрешения! Использовать в повести ситуацию и прозвище. Я опять загордилась, на этот раз и за мужа тоже.

И еще: в рассказе «Длинное-длинное лето» есть упоминание о художнице, которой, по собственному признанию, «дети нравятся эстетически: их пропорции, их движения, но быть среди них целый день — нет уж, извините!». Как больно меня кольнуло в сердце, когда я узнала в ней маму! (В раннем детстве я от этого ее свойства сильно страдала.)

Не знаю, обратил ли на это кто-нибудь внимание, кроме меня. Песни Галича составляли заметную часть Руниного репертуара, и я помню, как

она сказала почти со стоном: «Хочу быть замужем за Сашей Галичем, чтобы он сочинял песни, а я пела, потому что я пою лучше».

1970-е. Их отъезд и расставание, как тогда казалось, навсегда. Но больше всего запомнила я Рунино радостное удивление: продали библиотеку, по рублю, кажется, за том, и вот деньги некуда девать и даже купили шубу (не первую ли в ее жизни? и зачем она в этой теплой стране?). И ее рассказ о московском ресторане «Белград», где они обедали после каких-то предотъездных хлопот. И как она мне подмигнула, называя ресторан, потому что я только вернулась из поездки в Югославию.

Еще 22 года.

Сначала мы, воспитанные в Страхе, не вели переписки и не имели другой связи; только в 1979-м, будучи за границей, в Брюсселе, я позвонила в Иерусалим. Я стеснялась нашей боязливости и долгого молчания, но все тот же знакомый оживленный голос — и никакой натуги, только взаимные любовь и интерес. Туда, в Брюссель, Р.А. прислала мне «Женские рассказы». Я ломала голову, как мне провезти их через границу. Вырвала титульный лист и положила открытую книжку на столик в купе. Обошлось. В следующий мой приезд в Бельгию Руня прислала мне туда «Это было при нас» — чистые листы, книжка была только на выходе.

А потом ситуация изменилась: были и письма, и телефонные разговоры, а в 94-м муж увиделся с Р.А. и И.З. в Иерусалиме. Не могу не вспомнить Рунины «приветы», которые она посылала нам в голодноватые 90-е через фирму «Слон». Была такая фирма: в Израиле кто-то вносил доллары, а здесь ее сотрудники по выгодному курсу покупали на рынке недоступные тогда для нас продукты и доставляли по адресу с открыткой (на ней «Слон» сообщал, что это привет от Руни, — так и писалось).

Я храню и помню (хотя и не перечитываю) письмо, которое Руня мне прислала после маминой смерти, какие-то удивительные она нашла слова и даже что я лучшая дочь в мире; правда, потом приписала, что знает еще одну такую, и я поняла — это моя тетка Ниночка.

1998-й, первый приезд Р.А. и И.З. в Петербург: Я уже не только взрослая, но и немолодая. И как-то само собой получилось, что я стала называть ее Руней, Рунечкой, без отчества, — не потому, что она мне разрешила или предложила, а может быть, из-за ее фразы «Вы нам стали какие-то родные» (цитирую буквально). А у меня появилось странное ощущение, будто она имеет на меня право, и почему-то это не только не вызывало протеста, но и было приятно.

Я не видела Рунечку в болезни — только когда страшное еще подкрадывалось, и я уверена: она контролировала тогда свое состояние и скрывала его как могла. Мы были втроем, разговор зашел об А.А. Смирнове, Руня его не помнила. Когда наша собеседница ушла, я, тогда не понимая,

в чем дело, спросила, как она могла забыть Александра Александровича. Она ответила легко: «Я просто не хотела о нем говорить». И навсегда запомню в последний раз услышанный ее голос в телефоне, эту неповторимую, оживленную интонацию, хотя смысл произносимых слов был понятен только ей самой.

*Санкт-Петербург,  
Россия*

*Марк Серман*

## Свидание\*

Мое первое воспоминание о матери и о доме в Ленинграде: я у мамы на коленях, а она сидит за столом в нашей просторной, еще не разделенной кухне, читает газету и курит. Справа находится большое окно, через которое на кафельный пол и клеенку на столе падает солнечный свет. В лучах солнца играют и золотятся редкие пылинки. В кухне есть кто-то еще, кто ходит и говорит, но кто, не помню — мама гораздо важнее кого бы то ни было. Это было счастье, как я его себе представлял начиная с трех лет. Мне так долго хотелось увидеть это счастье во сне, а потом, спустя какое-то время, мне уже не хотелось это видеть, и мама из мамы, с которой было тепло и хорошо и от которой так пахло мамой, превратилась в женщину в темном платье в мелкий горошек на фотографии. Я постепенно забывал ее живое, настоящее лицо, и единственное, что я еще помнил, был ее голос, низкий и, конечно же, очень красивый. На фотографии кроме нее был еще и папа, как мне сказали. Я его тоже почти не помнил. Там он молодой, в парадном костюме и с большим количеством очень черных волос. Впоследствии, когда он встретил нас на вокзале после маминого освобождения, я снова его не узнал — это был уже пожилой седой мужчина в синем, сильно пахнущем резиной макинтоше. И если мамин голос и речь были похожи на то, как говорили мои одесские бабушка и дедушка, то уже то, как говорил папа, было чужеватым, и не все слова мне были понятны.

Вообще мои воспоминания о матери — это лоскутное чересполосье отъездов, приездов и ожиданий. Первое такое ожидание было довольно долгим — оно длилось пять лет у одесских бабушки и дедушки. Мои детские воспоминания о приезде в Одессу начинаются с ощущения полной невыносимости всего происходящего, желания убежать и спрятаться от толпы соседей, сильных запахов жареной рыбы и чеснока, грубых южных голосов, страшного двора с помойкой в середине да еще и от насмешек, «что он говорит как москвич!». Слышали бы они себя! Но они не слышали

---

\* Рассказ был впервые опубликован на английском языке в журнале «New England Review» в июле 2008 года.

и не замолкали, их голоса были всюду. И тогда замолчал я — чуть ли не на месяц. Даже сейчас мне кажется, что все случившееся тогда со мной было так же страшно и неожиданно, как мое последующее (год спустя) падение в колодец, собственно, даже не в колодец, а в неглубокую шахту в десять ступенек, с водяным краном на самом дне, об который я разбил себе нос. Но кровь была остановлена, сломанный нос быстро зажил, а страх был забыт. И все же до сих пор, после стольких лет и объяснений, мне непонятно, почему меня надо было увозить из Ленинграда, где был мой дом, от сестры Ниночки и няни Симоновны. Предполагаю, что это было решение дедушки Ивана Ивановича — мужа моей ленинградской бабушки (он меня терпеть не мог) и самой бабушки Генриетты Яковлевны, которая объясняла мое изгнание тем, что ей было бы тяжело с двоими детьми. У бабушки Гени, бывшей революционерки с особыми представлениями о семье и браке, уже был похожий опыт с ее собственным сыном, которого почему-то отправили в детский дом при совершенно живых родителях. Задним числом я предполагаю, что моя высылка могла ей показаться чем-то вроде отправки на дачу. И не к чужим, а к родителям мамы, на юг, где тепло и фрукты. Можно только позавидовать. Я не знаю, что чувствовала мама, когда ей стало известно, что меня забирают в Одессу к ее родителям, но могу предположить, что приятно ей это не было. Она предупреждала родных, что если что-то случится с ней, то в Одессу меня не отправлять.

Несмотря на все это, много лет спустя мама утверждала, что впервые с момента моего рождения она выпалась в тюрьме. То есть когда меня не было рядом с ней. Я не давал никому спать — меня мучили кошмары. Похоже, правда, что кошмары эти были вызваны страхами родителей перед арестом, казавшимся им неминуемым. Папа, со своей стороны, утверждал, и не без оснований, что лагерь сохранил ему здоровье на долгие годы. Ему сохранил, а всем другим, включая его жену?

Эти заявления сначала мне нравились, пока я был маленьким. Приятно было, что родители такие суперлюди и им все нипочем. Но затем меня эта положительная оценка семейной катастрофы возмутила своей эгоцентричностью и полным отрицанием наших с Ниной ролей в этой героической драме. А еще позже мне стало казаться, что этими заявлениями они стремились преодолеть свой ужас перед бессмысленно жестокой расправой, объявляя ее положительным явлением в их жизни, несмотря на страдания, как свои собственные, так и детей и близких.

Уживаясь с нелюбимой поначалу Одессой, день за днем и шаг за шагом привыкая к людям и окружению, я постепенно переставал сопротивляться обстоятельствам. Ничего не попишешь — в три года очень сложно совершать поступки, все и все гораздо сильнее тебя. Все мои протесты откладывались на потом, на подростковый период, когда я начал пить и на

какое-то время совершенно вышел из-под контроля родителей (что было нетрудно) и своего собственного (что было еще легче). Тогда же жизнь в Одессе становилась для меня той единственной жизнью, которая у меня оставалась. И я снова заговорил. Меня отдали в детский сад, откуда быстро забрали и перевели к фребеличке — такие группы Фребеля существовали в Одессе, — где было очень хорошо и где нам за хорошее поведение и успехи клеили золотые и серебряные звездочки на доску с нашими именами. Мы с дедушкой Саней и бабушкой Таней жили ожиданием новостей и, конечно, писем. Почту приносил почтальон Генрих Федорович, с большими пшеничными усами и в золотых очках. Про него бабушка говорила: «Он из ссыльных немцев, но очень порядочный человек». Поднявшись на наш высокий второй этаж, он присаживался отдохнуть на последней ступеньке, и тогда было видно, что у него в сумке лежит много писем и бандеролей. «Генрих Федорович, а мне есть письмо от мамы с папой?» Чаще всего письма не было, и Генрих Федорович говорил: «Пишут!» Это мне нравилось, потому что я знал, что писать трудно, это занимает много времени, особенно если писать печатными буквами.

Эти пять лет (мама в своих рассказах пишет, пять лет и три месяца) для меня были годами ожидания родителей и возвращения домой — в небесно-прекрасный (как мне казалось тогда, да и сейчас кажется) Ленинград. Ожидание не было пассивным: мы с бабушкой и дедушкой писали письма и открытки папе и маме, а самое главное, посылали посылки. Посылка разрешалась раз в месяц с одного адреса и одному адресату. Мы посылали две: одну папе и одну маме. Отправление посылки было большим мероприятием. Сначала надо было идти на почтамт за фанерным посылочным ящиком. После этого, вооруженные ящиком, мы шли на Новый базар к жестянщику Отто, который был известен качеством пайки. Он выдавал нам сияющую плоскую пятилитровую жестяную банку с небольшим отверстием в середине. В нее мы заливали варенье или заталкивали тахинную (ни в коем случае не семечковую) халву. Мне давалась на облизывание ложка, которую использовали для этой операции. Затем эту банку надо было нести обратно к Отто. Он ее запаивал, перекрывая отверстие жестяной заплаткой, макая маленький топорик-паяльник в канифоль и постепенно все удлиняя бугристый шов из олова. После этого банка укладывалась в посылочный ящик. Туда же клали чеснок, корейку, конфеты и сахар-рафинад, а промежутки заполнялись семечками. Бабушка говорила: «Чтобы ничего не болталось — не возьмут на почте!» И лишь затем ящик обшивался полотном, относился на почту, где на него капали сургучом, выдавливали в сургуче печати и бросали в сторону с криком: «Следующий!»

На второй год моего пребывания в Одессе наши дедушки и бабушки добились свидания с мамой в Бокситогорске. Для меня тогда это все было

как слова на малопонятном языке: Бокситогорск, свидание, лагерь. Я был обучен отвечать на вопрос «Где твои папа и мама?» гордым заявлением: «Мои папа и мама работают на стройках коммунизма!» Меня очень удивляла реакция людей на этот мой ответ. У них менялись лица: они вытягивались и становились озабоченными, как будто этим людям на ум вдруг приходило какое-то срочное дело. Некоторые крестились, а кто-то даже сказал дедушке про меня, думая, что я не слышу: «Бедный сиротка!» Никак я не мог понять, что они имеют в виду: я хорошо знал, что такое стройки коммунизма. У нас в Одессе, на Соборной площади, на месте взорванного большевиками кафедрального собора бил сталинский фонтан и располагался большой действующий макет строек коммунизма. Это была рельефная карта Советского Союза с будущими плотинами и гидроэлектростанциями. С наступлением темноты на макете зажигались маленькие лампочки в окнах домов и промышленных сооружений. Момент зажигания огней нельзя было пропустить. И это ежедневное событие было источником конфликтов между взрослыми и детьми на Соборной площади: родители торопились домой, а дети — ни в какую, ждали, когда зажгут огни.

«Стройки коммунизма» были во всех газетах, которые я уже начинал читать. Там же всегда был Иосиф Виссарионович Сталин. Его присутствие в номере было равносильно только американскому комиксу — ни один выпуск газеты без него не обходился. Имя Сталина было везде, с него начинался день, и им же день заканчивался. Перед сном меня учили молиться за здоровье папы и мамы, всех бабушек и дедушек, сестры Ниночки. И уже от себя я добавлял дедушку Сталина. Интересно, что иконой мне служила все та же фотография мамы и папы на стене над кроватью.

И вот мы стали собираться на свидание. Непонятное это слово означало, что мы с дедушкой поедem в Бокситогорск и увидим там маму. Мне не было ясно, почему ехать надо нам, даже бабушка говорила, что это «нам будет стоить!». Казалось бы, лучше, чтоб мама приехала к нам... Но мне объяснили, что мама не «в состоянии приехать», что свидание может быть только в Бокситогорске. К тому же мы поедem через Ленинград и увидим Ниночку и мамину сестру Лялю...

Меня все это в конце концов убедило. Вернее сказать, мое сознание под давлением внешних обстоятельств и бесконечных недоговорок и недообъяснений просто отказывалось сопротивляться. Кроме того, из памяти уже ушло ощущение живой и теплой мамы с низким голосом, а взамен возник образ женщины с фотографии. Неясное чувство долга перед мамой и смутной вины за то, что я ее не помню так хорошо, как раньше, делало для меня это свидание необходимым, тем, что должен сделать мальчик, мать которого работает на стройках коммунизма.

Мы с дедушкой Саней (Александром Борисовичем) были собраны и отправлены на одесский аэродром, место нам хорошо знакомое. Знакомо оно нам было потому, что дедушка часто возил меня туда на прогулки для общего и технического развития. Аэродром был еще травяной, на взлетном поле царила атмосфера техники на природе, что мне очень нравилось. Там стояли разные типы самолетов, которые я впоследствии научился различать: кукурузники У-2, пассажирские Ли-2, были еще и истребители, но они стояли на дальнем конце поля и нас туда не пускали. Более старые самолеты были серого цвета, покрытые как бы чешуйками, — так выглядела их обшивка, а более новые машины были серебристые, гладкие и блестящие, ну, в общем, как новые самолеты. На меня огромное впечатление произвело то, на какой высоте находилась кабина летчика, и то, как она под углом была направлена прямо в небо, готовая к взлету. Дедушка мне объяснял, как называются разные части самолетов: колеса называются шасси, а провода, которые натянуты между кабиной и хвостом, — радиоантенна. Это была единственная часть самолета, о которой я был хорошо слышан. У нас был старый приемник «Рекорд», по которому дедушка пытался поймать одну из западных радиостанций, вещающих по-русски. Процедура состояла из включения, ожидания, пока нагреется приемник — в нем был такой глазок, который из серого становился ярко-зеленым. Затем надо было следить за глазком и крутить ручку настройки, двигая стрелку на разноцветном циферблате со знакомыми и незнакомыми названиями: Москва, Ленинград, Киев, Познань, Берлин, Лондон, Владивосток. Задача осложнялась тем, что мой дедушка был слегка глуховат и поэтому включал приемник на полную громкость. Из эфира сквозь свист и грохот глушилки иногда прорывался голос диктора, не похожий на обычный и говоривший о процессах врачей и сельском хозяйстве в Израиле. Затем все это вдруг прерывалось оглушительным «Говорить Киев! Сэмь годын, пятнадцать хвылын!» и еще более громким криком бабушки «Саня!», в котором звучала неясная, но реальная угроза в сторону приемника и дедушки. Приемник выключался со словами: «Если бы у меня была хорошая антенна!»

Наверное, в самолетах антенны были хорошими — ведь летчикам надо было не только слушать, но и разговаривать по радио: «Земля, земля, я Чкалов!» Вообще, в самолетах все было хорошее и не такое, как на земле, в автобусах или троллейбусах, например. В автобусах сиденья были твердые и из какого-то кожзаменителя, к которому прилипаешь; в троллейбусе сиденья были получше, но они были покрыты ковровой тканью, и она страшно колола голые ноги. В самолете же, где мы должны были лететь, сиденья были мягкие и покрытые белыми прохладными чехлами из материи, похожей на ткань дедушкиного костюма. На алюминиевом полу лежала ковровая дорожка — чтобы было не скользко подниматься наверх



в кабину, самолет стоял под наклоном — заднее колесо было намного меньше переднего шасси. Нас встретила стюардесса, ее почему-то на-смешило, что я держал в руках завернутый в газету и перевязанный веревкой горшок — необходимейшую в путешествии вещь, и она усадила нас в эти замечательные кресла. Сквозь круглое окно были видны крыло, поле и мотор с пропеллером, который вдруг начал крутиться. Красные кончики слились в матовое красное кольцо, и мы поехали, медленно, затем мотор загудел очень сильно, даже страшновато, и мы поехали быстрее, еще быстрее, потом что-то загудело и ударилось, и мы уже были высоко — в окно были видны лес, речка, мост через нее и поезд с паровозом, быстро бежавшим по рельсам. Рельсы и поезд были точь-в-точь как игрушечные в магазине «Пассаж» на Новый год. Я там был готов стоять часами, меня всегда оттуда уводили с большим трудом, а сейчас меня никто не торопил — смотри, пожалуйста, сколько хочешь. Правда, мы скоро этот поезд обогнали — потом я узнал, что самолет летит гораздо быстрее поезда. А я этого тогда, конечно, даже не подозревал, с самолета казалось, что мы движемся очень медленно, даже иногда казалось, что мы стоим в облаках.

Меня настроили перед отъездом на то, что я буду встречаться с мамой, но периодически я об этом забывал — слишком много было нового вокруг, и слишком много времени прошло с момента расставания — целый год. В три с половиной это почти целая жизнь. Самолет не летел прямо в Ленинград — мы прилетели в Москву, где сели в поезд, который шел в Ленинград. Там нас встретили бабушка Геня, Ниночка и Ляля.

Бабушку я плохо помнил, и меня удивило ее лицо — она была абсолютно седая, с румянцем во всю щеку. Дедушку Ивана Ивановича не помню — может, его и не было в тот момент.

В Ленинграде мы ехали с вокзала на такси, мне даже кажется, что это был ЗИМ, с полированным деревом в дверях, подлокотниках и даже внутри руля. В Одессе такси, тем более ЗИМ, почти не было — там в основном были частники — ездили они на трофейных BMW — очень низких черных машинах с красной обивкой, а какое-то время были даже дрожки летом и сани зимой. Мы ехали по большой улице — «Это Невский проспект», — говорит мне кто-то, — мимо домов с лепными пилястрами, полуколоннами, барельефами — каждый не похожий на своего соседа, один удивительней другого. Но вот ряд домов прерывается — канал, мост, — мы ухаем с вершины моста вниз, дальше по проспекту, слева магазины, справа канал, затем мы на площади, снова на большом урне мосту — и тут я вижу нечто поразительное: освещенные солнцем красные колонны с носами кораблей и светло-серыми скульптурами. Это то, что я потом долго буду видеть во сне. Но мы едем дальше, переезжаем еще один мост,



**Наш старый дом — Добролюбова, 19. 2000 г. Фото М. Сермана**

поворачиваем и подъезжаем к нашему дому. Я не помню, узнал ли я его, но помню, что он мне показался необычайно красивым — весь низ из коричневого блестящего камня, но меня уже торопят домой: «Дождь идет, пошли скорее». И верно, вдруг, как всегда неожиданно, но вовремя пошел дождь. Едем на лифте на четвертый этаж. Входим в квартиру через двойные двери. Слева — сундук, справа — дверь в комнату моих родителей, прямо — дверь в комнату бабушки и Нины. Двери в верхней части из особого стекла с пупырышками — через него видны только цветные пятна. Нас усадили за стол на кухне, которая к тому времени уже была разделена — из нее была выгорожена спальня для сына дедушки Ивана Ивановича дяди Володи и его жены тети Дины — и где уже не было окна — оно осталось в новой спальне; не было большого стола, за которым сидела мама со мной на коленях, но пол был тот же — из синего с белым в шашечку кафеля. Мне дали вкуснейший бутерброд с красной икрой и чай. С нами сидели Ниночка и Ляля, и все говорили, как меня любят. Мне в какой-то момент показалось, что я уже снова насовсем дома, мне стало так уютно и хорошо, как никогда, и не хотелось идти спать.

Наутро очень не хотелось уезжать, даже на встречу с мамой. Когда мы вышли из дому, по улице проехал трамвай и жалобно запел на повороте. Звук этот тоже был из моего сна — из той части, где мы с няней Симоновой идем по нашей улице, и кругом зеленые деревья, и среди них идет красный трамвай с этим звуком.

На этот раз нашим с дедушкой средством передвижения был медленный почтовый поезд, который довез нас к вечеру на станцию пересадки.

На станции выяснилось, что необходимо найти кипятилок для дедушкиного термоса. Он ушел и оставил меня с каким-то дянькой в шинели без погон и с вещевым мешком. Как только дедушка вернулся с полным термосом, то оказалось, что пора бежать на следующий поезд. Когда мы перебежали на низкую земляную платформу, дедушка с чемоданом и я с горшком, увязанным в газету, то туда же подошел наш новый знакомый в шинели и с вещмешком, а из кармана у него торчала бутылка, заткнутая газетой. Я спросил у него про бутылку, мне хотелось пить, а чай был слишком горячий. Он сказал: «Это к чаю, мы щас с тобой и с твоим дедом будем чай пить». Я понял, что со мной шутят, но в чем заключалась шутка, было неясно. В это время раздались свистки маленького паровоза и подкатили вагоны. Мне эти вагоны тоже были знакомы — целые поезда таких вагонов мы с дедом не раз видели на станции Раздельная, они были деревянные, с одной большой дверью в середине и двумя маленькими окошечками под самой крышей. Я знал, что в таких вагонах возят мешки, ящики, иногда коров и лошадей или солдат. Дверь в этом вагоне была высоко над землей, почти как в самолете. Наш новый знакомый уверенно вскочил в вагон, и дедушка подпихнул меня наверх (я еще подумал: «Как маленького»), а затем ухватился одной рукой за какую-то железяку, а другой забросил наш чемодан в вагон, оттуда ему подали руку, и он с трудом забрался в вагон. Мой дедушка Саня был очень грузный, и у него еще была большая грыжа на животе. Пока он лез, я очень боялся, что у него не получится забраться и я останусь один в этом поезде, а я ведь даже не знаю ни где мы, ни как ехать к маме. Но все обошлось, мы уселись на какие-то доски, сделанные как скамейки, поезд тронулся, и я заснул. Когда я проснулся, в вагоне было темно, горела керосиновая лампа, но не такая, как у нас в Одессе, а короткая и с проволочной ручкой. На мне лежало что-то тяжелое и колючее. Я оттолкнул это от себя и увидел, что взрослые накрыли меня шинелью, а сами действительно сели пить чай. Дедушка, новый знакомый и какая-то тетка с двумя закутанными в платки девочками сидели вокруг чемодана, на котором стояла лампа и лежала еда: кусок, оставшийся от нашей вареной курицы, на газете с орденами у заглавия, колбаса, куски черного хлеба — и стояла крышечка от нашего термоса, кружки и пустая бутылка. Дед дал мне попить из крышечки от термоса — там был вкусный и сладкий чай с каким-то незнакомым хлебным запахом. Я снова заснул и проснулся утром, еще в темноте. Мы приехали на конечную станцию, дальше надо было ехать на грузовой машине, которая была еще и самосвалом. Я ехал в кабине рядом с шофером и какой-то женщиной с большим животом. В кабину я попросился потому, что мне ужасно хотелось смотреть, как шофер ведет грузовик. Я смотрел на то, как он ногами в резиновых сапогах нажимал на три разные педали и одной рукой переключал скорости, а другой крутил руль и курил папиросы «Бело-

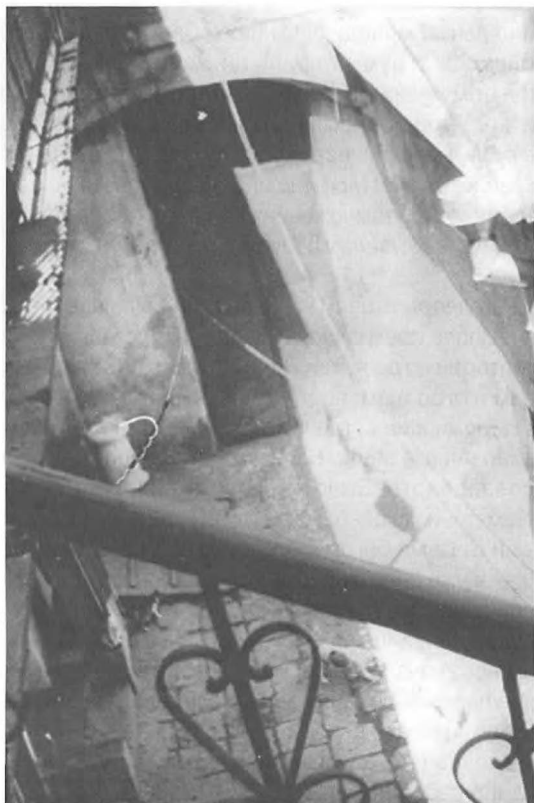
мор». Дедушка ехал в кузове, со всеми остальными. Их там было человек десять. Машину подбрасывало и трясло, но мы ехали без остановок, пока не доехали до леса. Там дорога пошла по грязи, машина останавливалась и буксовала, при этом ее мотор страшно ревел, а коробка передач издавала надрывные звуки. Шофер ворчал, закуривал папиросы, которые у него все время гасли, и очень быстро крутил руль то в одну, то в другую сторону. В одном месте мы окончательно застряли. Шофер вышел и сказал, чтоб все собирали ветки. Я тоже пошел собирать, и потом мы подкладывали ветки под бешено крутившееся колесо машины, которое их хватало и выбрасывало с другой стороны. Сейчас мне кажется, что эти ветки могли быть срублены моей матерью — сучкорубом из Бокситогорского лагеря... Грязь и глина постепенно перешли с дороги на резиновые сапоги шофера и на мои ботинки, потом на штаны и, конечно, на лицо. Постепенно машина и все мы, кто в ней ехал, становились одного цвета с рыжей землей, где стоял лес, который рубили мама и ее солагерницы. Дорога — а вернее, это была уже просто заболоченная просека среди леса — неожиданно вышла на огромную поляну, где стояли дома, огороженные забором с колючей проволокой и вышками с солдатами на них. Самый большой дом был рядом с воротами, над которыми висел лозунг «Вперед к победе коммунизма!» и репродуктор. Ворота, однако, были заперты, и перед ними стояли еще солдаты и большая очередь людей. Один из военных нам что-то крикнул, я только услышал слово «свидание», и нас всех послали на скамейки перед воротами. Тут дед стал оттирать мое лицо и руки, а затем вручил мне бутерброд с котлетой из наших запасов. Я уже дошел до середины булочки с котлетой, когда что-то прокричал репродуктор и дедушка вскочил, потянув меня за собой. У меня от неожиданности вывалились из рук мои полбулочки и полкотлеты и упали в траву. Мне было очень жалко оставлять такую вкусную еду, и я потянулся, чтобы это все поднять, но дед сильно тащил меня к дому с лозунгом и тихо говорил: «Пошли, пошли, нас вызвали...» С сожалением оглядываясь на лежащий на земле бутерброд и прекратив сопротивление, я заторопился вместе с дедом в дом, где нас пропустили через металлическую вертушку и посадили за стол, с другой стороны которого сидела женщина в платке и ватнике, молча смотревшая на нас. Это и было наше свидание — за столом сидела мама. Я не сразу понял, что это мама, она не была похожа ни на фотографию, ни на маму из моей памяти. Одета она была в серое и черное, лицо было худым и темным, как у колхозниц на Новом базаре. Мне до сих пор стыдно за эту минуту, когда она молчала, а я ее не узнавал или не хотел узнавать в женщине с непохожим на нас цветом лица и рук и в плохой и некрасивой одежде. И тут она заговорила, не помню, что она сказала, наверно: «Сыночек...» Голос был ее, несомненно, но все остальное... Потом я оказался у нее на коленях, и она меня целовала и что-то

говорила, и я что-то, как полагается, вежливо отвечал, и исподтишка ее разглядывал, пока она говорила. Потом уже и дедушка мне сказал: «Что ты, ведь это мама...» — но я все еще не верил в то, что это она, и чувствовал такое же неудобство, как когда посторонний человек тебя обнимает и целует и что-то говорит, а тебе хочется вырваться и убежать. До сих пор я помню и чувствую это неудобство, но теперь оно слилось с чувством вины за то, что я не мог ей тогда ответить ни на поцелуи, ни на слезы, ни на муку в ее глазах.

Потом мне была дана открытка-игрушка, на которой был нарисован кот, говорящий по телефону. К телефону был приделан наборный диск, тоже специально сделанный из картона, с окошечком, в котором, если его крутить, появлялись разные звери, видимо друзья и знакомые кота. Я занимался этой открыткой, пока дедушка и мама разговаривали. И тут к нам подошла какая-то женщина в форме и сказала что-то опять со словом «свидание», а затем мне, что я забыл глаза помыть — они так и остались черными, — это была такая обычная шутка, которая меня обижала, а взрослых смешила. Но никто не засмеялся, наоборот, мама заплакала, обняла меня и деда — и ушла. Дед достал из кармана платок и долго вытирал глаза себе, потом мне. А я уже и не плакал, и мне хотелось скорей обратно в Ленинград.

Совершенно не помню дорогу домой, все это время целиком вывалилось из памяти.

Мы возвратились в Одессу, на улицу Подбельского, которую все одесситы называли Коблевская. Наш дом был частью здания цирка, двор соседствовал с цирковым зверинцем и был отделен от него деревянным забором. В нашем доме жило много бывших, настоящих и, наверное, будущих артистов цирка. На первом этаже жили Савины — папа, мама и двое детей. Они были акробаты, и дети иногда делали разные номера со своим папой, который был очень сильный и держал их обоих у себя на плечах и голове. Он и мне предлагал в этом участвовать, но я побаивался. Там же жила старуха по кличке Плисецкая, у которой были необыкновенно длинные и костлявые руки. Она, когда разговаривала, то, как и большинство одесситов, широко их использовала с целью усиления значимости сказанного. В подвале жил карлик Костя с женой Фаней. Костя был одновременно инвалид и сапожник — он шил обувь на заказ. А внутри двора, очень близко к помойке и общественной уборной, на ступеньках заколоченного крыльца сидели и играли в карты инвалиды — «проклятые пьяницы». Так их называла Плисецкая, иногда выгонявшая их на улицу, размахивая своими знаменитыми руками, как ветряная мельница. У входа всегда висела афиша «Кио» или «Ирина Бугримова и дрессированные львы» или афиша кино, которое показывали в цирке летом, когда цирк уезжал на гастроли.



**Двор в Одессе, вид с балкона. 1959 г. Фото М. Сермана**

Мы жили под аккомпанемент львино-тигриного рыка или под слегка заглушенные вопли долго шедшего «Тарзана», которому без конца подражали все мальчишки на улице. Наша одна комната в этой фантастической коммунальной квартире выходила своим единственным окном на типичную одесскую неореалистическую балюстраду. С балюстрады, в свою очередь, шла лестница вниз, во двор. На нашей балюстраде, или, как говорили все, на нашем балконе, жили пять семей. Часть имущества, не помещавшуюся в комнатах, люди выставляли на балкон. Так, рядом с нашим единственным окном во двор находился чулан Афанасьевны, нашей соседки, где она держала индеек, откармливая их к Рождеству. Клекот индеек сливался с рыканьем голодных львов, криками инвалидов и музыкой полусумасшедшего сына Афанасьевны Бориса. Он в течение многих часов играл на пианино одну и ту же музыкальную фразу, которая никак не

переходила в цельную мелодию. С нашей балюстрады было очень удобно переговариваться с бухгалтерией цирка в окна дома напротив. Там через закрытое от мух черной сеткой окно все выглядело очень таинственно и романтично. У женщин были видны только ярко по тогдашней моде накрашенные губы, металлические оправы очков и иногда вспыхивающий, как светлячок, золотой зуб. Мой дед иногда здоровался с одной из бухгалтерш, и его вежливость, помноженная на налет таинственности, создаваемый сеткой от мух, вызывала у бабушки ревность: «Опять он с ней любезничает!»

Между тем на дворе стоял 1953 год, и он был наполнен необычайными событиями. После прекрасного лета на 10-й станции с купанием и играми на «территории», где я, как хвост, бегал за старшими мальчишками по чужим садам и огородам, поедая еще зеленые фрукты, меня отправили в школу, в первый класс, где уже во время первого урока начали твориться необыкновенные вещи. Нас было очень много — 46 человек, и мы сидели по трое на парте. Было жарко и душно, и вдруг подозрительно запахло еще чем-то, и какой-то мальчик со страшно покрасневшим лицом и заплаканными глазами бегом ринулся из класса. Самые большие мальчики в классе — я уже знал от бабушки, которая работала учительницей в этой же школе, что их зовут «переростки», — кричали: «Он обкакался, ой, не могу!» Наша учительница на них прикрикнула, и, казалось бы, наступил порядок, и мы снова начали учить буквы, которые уже тоже мне были давно знакомы, и мне первый, но далеко не последний раз стало скучно в школе. Тут вдруг приоткрылась дверь, и звонкий юношеский голос прокричал: «Тамара Платоновна (так звали нашу учительницу), идите в жопу!» Это было невозможно себе представить. Учительнице сказать такое. И непонятно, зачем? Она мне казалась такой красивой, почти как мама на фотографии или ее сестра Ляля.

Затем произошло и вовсе что-то неслыханное. Умер Сталин. И все плакали — и бабушка, и я, не плакал только дедушка. А я за него молился, и он все-таки умер, как же так? А что будет со всеми нами?

А стало с нами вот что. На месте афиши со львами повесили огромный портрет Сталина в полной форме генералиссимуса с орденами и медалями, в траурной раме из красно-черного материала, а по радио не прекращали играть строгую и красивую музыку, прерываемую только медленными и торжественными сообщениями Левитана.

Мы же еще больше ждали писем в это время, потому что все кругом во дворе, на улице и в парикмахерской, куда дед ходил бриться по воскресеньям, говорили про амнистию. Амнистия, как мне объяснили, — это вроде каникул в школе, когда всех, в том числе, может быть, и маму с папой, отпускают домой. И вот однажды наш почтальон пришел, держа в руке телеграмму. Я первый подбежал к нему, взял ее в руки, развернул и

сам прочел: «Дети приезжают летом тчк Геня». Геня — это моя ленинградская бабушка, Генриетта Яковлевна. Я отнес телеграмму в комнату к дедушке и бабушке и спросил: какие дети приезжают? Бабушка мне ничего не ответила и вместо этого сказала деду: «Саня, пригласи Генриха Федоровича, а ты, Маринька, дай мне валерьянку». Я достал из шкафа бутылочку с валерьянкой, она накапала себе бог знает сколько капель, а дед в это время вернулся с почтальоном, и они присели за стол, где уже стояла бутылка и две рюмки. Дед налил себе и почтальону, тот посмотрел почему-то на меня, сказал: «Ну вот вы и дождались!» — и выпил. И дед выпил, и бабушка выпила валерьянку, а я наконец понял, что это приезжают папа и мама. Ведь правильно — они и были дети, мама была дочкой деда Сани и бабушки Тани, а папа был сыном бабушки Генриетты Яковлевны. Одним словом, дети. И это означало, что мы все заживем по-старому — я с папой и мамой и Ниночкой в Ленинграде, а дед и бабушка — здесь, в Одессе. И мне стало их жалко, но не очень — мне вдруг одновременно захотелось вернуться в Ленинград и не уезжать из Одессы, и стало ясно, что так не бывает, и тут-то я и заплакал, но не громко и глядя не на взрослых, а в другую сторону. А они уже закусывали солеными огурцами и говорили что-то про сына почтальона, и что он тоже по амнистии, и будет ли война с Америкой, а дед сказал: «Теперь не будет!» — и они все попрощались за руку, и почтальон ушел.

Некоторое время спустя произошло наше второе свидание с мамой. Она приехала забирать меня домой. Это было как в сказке, даже лучше, чем в моих снах. Описать это я просто не в силах. Минуту назад ее еще не было, и вот она стоит в дверях точно такая, какой я ее ждал, какой она была на фотографии и даже в том самом, как мне казалось, платье, только прическа была другая и загар какой-то очень сильный. И она заговорила моим любимым голосом, и меня уже было от нее не оторвать. Я следил за всем, что и как она делала, за жестами и интонациями в голосе, за привычками. Она говорила намного тише, чем все одесситы, включая меня, она курила папиросы «Север», на мундштуках которых оставался след помады, красивого красного цвета. У деда на мундштуках его папирос ничего такого не оставалось. Да и курил он мало, не то что мама. Да и вообще мне стало нравиться все, что она делала, и разонравливаться все, что делали бабушка и бабушка. На следующий день мы собрали все мои вещи, игрушки и книжки и поехали на вокзал — он был уже не такой, как когда меня привезли, тогда там были еще дымящиеся развалины, а сейчас там было прохладно и красиво, и даже фонтан с золотыми рыбками, который я показал маме. Мне хотелось показать ей все, что я знаю, умею, чтобы у нее не осталось никаких вопросов, чтобы она знала все про меня, как когда-то. Ведь тогда нас не разделяло это ужасное время, и мне хотелось думать, что мы снова будем счастливы, как тогда дома, на кухне.



На перроне поезда мы попрощались с бабушкой Таней и дедушкой Саней, которые вдруг стали какими-то маленькими и неглавными, мне хотелось, чтобы они скорее ушли, а мы бы с мамой скорее ехали Домой, в Ленинград! Я смотрел на них в окно, и они становились все меньше и меньше, а потом и исчезли. Они исчезли из моей жизни на долгое время, опустошив то душевное пространство, которое занимали раньше. Мы с мамой ехали и ехали, я лежал на верхней полке и смотрел на нее, сидящую на нижней и говорящую с соседями, и думал, что вот она сейчас повернется и скажет мне что-нибудь своим голосом и мне больше ничего не нужно.

В Ленинград мы приехали на Витебский вокзал, и к нам в вагон вдруг бросился, слегка испугав меня, седой мужчина в макинтоше синего цвета, он целовал и обнимал маму и меня, и я понял, что это папа, но не был до конца уверен в том, что это был он. Мама была похожа на себя, а он нет. И опять я знал, что надо радоваться, что кончилась разлука — «дети вернулись», — но как-то мне казалось все очень внезапным. И вот так оно и бывает — ждешь-ждешь чего-то, а потом оно случается, а ты все равно не готов, сколько бы ни ждал.

У нас началась новая жизнь, вернее, старая заново. Она, эта жизнь, не была похожа на нашу старую, как я ее помнил, и уж тем более на ту, которой мы жили в Одессе. Оказалось, что жить гораздо сложнее. В школе ко мне относились неплохо, во дворе у нас был просто рай для игры на помойках, сараях и на той стороне Добролюбова, где были парк и садоводства. Дома же в какой-то момент мне стало тяжело и непонятно. Во-первых, к родителям нельзя было подходить тогда, когда тебе было нужно, необходимо было ждать конца телефонного разговора, конца главы в книге, окончания их разговора между собой. Опять ждать. Во-вторых, надо было стучать в дверь. Я привык жить в одной комнате, где была всего одна дверь, через нее уходили на улицу, и все. Здесь же оказалось много дверей, и в каждую надо было стучать, прежде чем входить. В-третьих, даже если ты постучал и спросил, это не означало, что можно было войти. Могли сказать, что нельзя, не сейчас или даже: «Выйди сейчас же!» А срочных дел к родителям у меня было очень много. Мне нужно было узнать, где, как и когда, зачем и почему. Мне нужно было узнать все, что я не узнал от них за все прошедшее время. Кроме того, у родителей происходило все самое интересное, и именно тогда, когда нас с сестрой укладывали спать. К родителям почти каждый день приходили гости. Мы слышали, как за стеной смеялись, звенели бокалами, посудой, говорили и вдруг раздавался общий хохот, потом наступала тишина и звучал рожья и пение. С первых доходов маме купили гитару — и она стала играть на ней и петь песни. Мне очень нравились ее испанские песни гражданской войны, где слышна была мощная буква «р». Мы слушали это все через стенку, а иног-

да открывали дверь, и нам за это попадало. Вообще нам с Ниночкой попадало очень часто и, к сожалению, по большей части от мамы. Были два эпизода, которые меня потрясли. Первый — когда девятилетняя Ниночка не могла взять правильную ноту на рояле, которому ее учила мама, и она получала линейкой по пальцам за каждый фальшивый звук. Я до сих пор помню глаза Ниночки, полные слез, ее стиснутые зубы и крик матери. Второй случай был, когда я разобрал радиоточку и не смог собрать — не хватило технической подготовки. Наученный горьким опытом сестры, я не признавался, но был изобличен как вредитель и врун и избит новой школьной фуражкой, от которой оторвался козырек. Мы с сестрой не могли понять, что происходит, что стало с нашими родителями, которых мы так долго и с такой надеждой ждали. Кроме того, нас с Ниной пугало и отталкивало то, как они неуважительно говорили про самое святое для нас: про Сталина, про советскую власть и даже про Ленина. Нас в детском саду и школе учили, что дело Ленина живет, что Сталин — это отец народов, а они говорили такое...

Мы устроили совет у нас в комнате, когда не было бабушки, и решили, что наших родителей подменили и они не они, а иностранные шпионы. В это время шла большая антишпионская кампания. И даже у нас на улице доброхоты поймали какого-то подвыпившего мужчину и отвели его в милицию. И я помню, что мы даже обсуждали, как мы будем жить, если их снова разоблачат и посадят в тюрьму, а может быть, нам не дожидаться этого, а как Павлик Морозов, пойти и сообщить куда следует или взять и убежать из дома? На это Нина возражала: «А как же бабушка?» И мне было нечего сказать, потому что бабушка Геня всегда за нас вступалась и ее нельзя было оставлять одну на растерзание этим извергам — это было бы непорядочно, говоря словами моей одесской бабушки Тани. В общем, эта идея не нашла себе применения. Жизнь продолжалась, и к тому же, когда родители по-настоящему с нами занимались или просто разговаривали, мы оба души в них не чаяли. Они оба были по-своему интересны и очаровательны, папа шутил, и мама говорила нам, что любит нас...

Конечно, в более зрелом возрасте, после двух эмиграций и рождения двоих детей у меня самого и после моего собственного порой безобразного отношения к детям, я что-то понял про состояние матери в том сложнейшем для всех нас 1954 году. Она впоследствии напишет обо всех этих отъездах и возвращениях как о ее эмиграциях. Именно слово «эмиграция» и было тем волшебным словом, которое пятьдесят лет спустя многое мне объяснило про нее и про нашу маленькую семейную трагедию ухода и возвращения. Мы все, я имею в виду эмигрантов, были свидетелями, а подчас и участниками семейных драм, трагедий и трагикомедий, которые, как кажется, никогда бы не произошли, не будь эмиграции. А как еще назвать пять лет тюрьмы и возвращение в жизнь, которая опередила тебя на

пять лет, как не драмой про эмиграцию из прошлого в будущее? Где каждый шаг надо делать заново, да и поучиться ходить не мешает. Восстановить старые связи и завести новые, рассказать друзьям, знакомым и родным о том, что случилось с тобой на самом деле, попытаться заново выстроить всю жизнь. А тут еще дети под ногами путаются, и все чего-то хотят, и шуток не понимают, и ничего делать не умеют...

«И все-таки, и все-таки...» — как говорила сама мама.

Следующий период жизни я бы назвал новым ожиданием. Ожиданием родителей того, когда и как вырастут их дети, ожиданием детей того момента, когда начнется взрослая жизнь. Периодом больших достижений для моих родителей и, мягко говоря, скромных, особенно с моей стороны, успехов для детей. Мой отец становился известным ученым, был избран старшим научным сотрудником Пушкинского Дома. У мамы карьера развивалась иначе. Она не служила, и в результате первое время мелкие разовые работы, такие как переводы и редактирование чужих работ, было все, чем она занималась. Это были далеко не самые хлебные и высокооплачиваемые работы, которые устраивали ей друзья и знакомые, понимающие в глубине души, что вновь приехавшие и не за то возьмутся. Не похоже ли на эмиграцию, любезный читатель? Я хорошо помню слово «указатель», которое довольно долго звучало у нас дома в конце 50-х годов. Оно то произносилось с надеждой — как источник будущего заработка, то с тоской — как о неприятном и бесконечном сизифовом труде. Мне тогда работа эта казалась очень странной — все надо было переписывать из книг на маленькие библиотечные карточки, которых были тысячи в длинных коробках и один вид которых был слишком канцелярский, недомашний, и я сочувствовал маме, что ей надо их все время исправлять и переписывать. Постепенно, однако, качество работ и оплата улучшались, и в какой-то момент мама начала писать сама. Она начала с газетной работы — очерков, а затем незаметно перешла к художественной прозе и вышла в литературный мир со своим первым напечатанным, но сохранившим свое необычное качество до самого последнего времени рассказом «Скорпионовы ягоды». Он был написан по мотивам истории, рассказанной Наташей Троценко, ставшей впоследствии режиссером на «Ленфильме». Я хорошо помню, как мама много раз сидела и разговаривала с ней у нас дома. Меня, конечно, гоняли оттуда, как надоевшую муху, а мне очень нравилась Наташа, у которой были замечательно красивые глаза-вишни. И как-то ее глаза-ягоды у меня в сознании слились с ягодами в рассказе мамы, название которого мне не было понятно, пока я не прочел его и не понял, что дело не в ягодах, а в том, что люди делают с собой и другими по принципиальным соображениям.

Совершенно неожиданно для нас всех, которые жили с сознанием того, что в нашей семье главный человек по статусу и доходу — это папа,

который занимает очень важное положение и пишет солидные, хоть и очень специальные статьи, оказалось, что наша мама — знаменитость. Ее напечатали в «Огоньке», ей дали премию и без конца звонили и писали писатели, редакторы и читатели. Маму приняли в Союз писателей — и к нам хлынула новая волна людей, известных и начинающих поэтов и писателей, художников и актеров. Дар, Нагибин, Вахтин, Рид Грачев, Кулаков, Семенов, Кумпан, Зеленин, Вольф, Городницкий, Попов и многие другие. Александр Альфредович Бек даже подружился со мной и подарил мне на день рождения командирский планшет, набитый различнейшими нужными и ненужными вещами. Однажды на Новый год у нас пел Галич. Смоктуновский сменил у нас выключатель в ванной, который так там и стоял до самой эмиграции. Генрих Белль пил с моими родителями водку и пел с мамой «Хорста Весселя». Мне в нем понравилось то, что одесская бабушка называла «Манеры!!». Альберто Моравиа сменяли Домингин и Лючия Бозе и так далее. Если бы составлялся список знакомых и друзей, то он бы включил в себя пол-Ленинграда и пол-Москвы с вкраплениями из других городов и стран. Летом на даче было тоже весело илюдно, а осенью и зимой для нас с сестрой начинались малоприятные будни в ужасной школе на Нарвском проспекте — мы уехали с Добролюбова на проспект Газа, название которого мне казалось зловеще значащим — так мне там все не нравилось. У Нины в классе учительница говорила: «Евгений Онегин был типичным представителем лишнего человека, а тебя, Тумина, я сейчас выгоню!» Я с трудом дотерпел до окончания восьмого класса, ушел в вечернюю школу и поступил на завод, куда меня устроил как раз отец этой самой Фриды Туминой. Говорят, что там долго вспоминали меня, после того как я со скрипом и с привлечением всех возможных сил, включая Е.Г. Эткинда, влез в университет.

На фоне интересной и бурной жизни родителей наше с Ниной существование было достаточно жалким, а наши, и особенно мои, достижения — то, чем в нашей семье измерялись достоинства человека, — были в лучшем случае средними. Мои отношения с родителями тоже находились на довольно поверхностном уровне. Я думаю, что мы за все это время разочаровались друг в друге — по разным причинам. Некоторое равновесие наступило только тогда, когда я женился и уехал к жене на улицу Качалова. Равновесие нарушилось после нашего отъезда из Израиля в США, а затем перешло и в полное размежевание после того, как я бросил пить. Я до сих пор не очень понимаю, почему так важно было для моих отца и матери, и почему-то особенно для матери, чтобы я продолжал делать то, что меня и мою жену понемногу сводило в могилу. Ведь и так уже пьянство сгубило многих из моих, да и некоторых из их, друзей. Мы перестали переписываться, не съезжались больше на даче в Катскийских горах и ог-



**Нина и Марк Серман. 1949 г.**

раничивались лишь короткими звонками в их дни рождения, да и то не всегда.

Мама продолжала писать и печататься, они с отцом много ездили, выступали, преподавали, заводили новых друзей, продолжая терять старых. Мои мысли о маме в это время возникали в том отделе души, где мы храним наши беспокойства, от которых происходит тихая, но постоянная тяжесть на сердце. Мне кажется, исходя из ее же прозы, что мама тоже не была до конца счастлива. В ее рассказах стали появляться ее личные, не приписываемые персонажам мысли и риторические вопросы, которые мне казались продолжением спора со мной, приводились аргументы, которые мне были давно знакомы, ответы на них были давно даны мною самому себе, и продолжение старого спора об алкоголизме мне казалось излишним. Таким образом, у нас разговор не получался — мы не разговаривали.

И вот однажды мне позвонила моя сестра Нина и сказала, что у мамы произошел целый ряд микроинсультов и она утратила речь. То есть она говорила, но не словами, а одним повторяющимся слогом: «Да-да-да-да». Иногда она меняла интонацию, и по количеству слогов иногда становилось понятно, о чем она говорит. Оказывается, она давно жаловалась на память, на то, что ее утомляют поездки — они с отцом постоянно ездили по Европе, а потом начали ездить в Россию.

Я рассказал о состоянии матери нашему доброму знакомому Полу — одному из этих «холодных и бездушных американцев», для которых, как известно, всего важнее деньги. Он на меня посмотрел и сказал: «Ты что, не понимаешь, ведь это твоя мать, ты должен немедленно ехать». Поче-

му мне было важно, чтобы кто-то мне сказал, что нужно сделать, почему мне самому это не было ясно? Не знаю, как не знаю и вообще-то почти ничего в этой жизни, кроме того, что выучил наперекор кому-нибудь или чему-нибудь.

Когда я приехал к ним в Иерусалим, у них в квартире было необычно тихо. Но не в смысле физической тишины — атмосфера была полна звуков, но там было психологически тихо для меня. Не слышно было маминского обычного присутствия. Ощущение, что семья, подавленная случившимся, затаилась и ждет, что будет дальше. Мама меня увидела и страшно обрадовалась, чего я не ожидал, и даже спросила, насколько я понял, где я был раньше и где Наташа (моя жена). Мы гуляли вместе, она ходила со мной покупать цветы. В последний день моего пребывания у мамы с Ниной, которая самоотверженно занималась мамой с самого первого приступа, был нешуточный скандал: мама яростно не пускала Нину в квартиру — она ее не узнала. Вечером, как всегда, пришли гости, я уже не помню кто. Все сели за стол и пили, и ели, и шутили. Мама вышла на кухню — она вдруг принималась за хозяйство — мыла посуду или что-то убирала. Я вышел за ней следом, чтобы наконец сказать ей, что... я и сам не знал. Знал только, что в этот момент нельзя молчать или говорить ни о чем: у нас с ней не было больше времени — это мне вдруг стало ясно. За стеной, как в раннем детстве, шумели веселые голоса, звенели рюмки и тарелки, но только не было слышно ее пения или смеха. Она села за маленький кухонный стол, я сел напротив и, едва не теряя сознание от того, что сейчас скажу: «Мама, прощай...» — сказал: «Мама, у нас с тобой было так много плохого...» И не договорил... Она махнула рукой, и тут в тишине у нее в глазах я увидел, сквозь ее и мои слезы, то, что я так всегда хотел увидеть, — то, что, я думаю, было у меня в глазах пятьдесят лет назад, — счастье. Не потому, что я что-то сказал или сделал, а просто потому, что я есть.

*Нью-Йорк,  
США*



# **ПРИЛОЖЕНИЕ**





# Программа мемориального вечера в Нью-Йорке

## REMEMBERING RUTH ZERNOVA



1919 - 2004

The memorial is organized by Mark Serman, the son of R. Zernova, with the help from his family, friends and The Russian American Cultural Center, funded by Regina Khidolai!

We are forever in debt to all friends who supported us in this endeavor:  
Helen Reeve, Igor Yefimov, Van Shea Solina,  
Thomas Papalis, Anatoli Sygintse, Tatiana Yankolevich  
and those who kindly agreed to read the pieces  
of the absent authors.

In lieu of flowers please send your donations to:  
THE GRATITUDE FUND, organizing help  
for the families of political prisoners.  
The address:  
Yusifovlev, 215 W 110 Street, 6B  
New York, NY 10025  
The site: <http://www.thegratitudefund.org>

## REMEMBERING RUTH ZERNOVA

Opening - Mark Serman

Reading of extracts from R. Zernova's stories:  
in English - Elizabeth Serman  
in Russian - Alexandra Serman

1. I. Serman: *Memoir* - read by Matthew Yankolevich
2. K. Margolina: *Memoir* - read by Tatiana Yankolevich
3. L. Lotman: "She Was a Person of Our Generation" - read by N. Novokhanskaya
4. Nina Karoleva: *Verses Dedicated to the Memory of Ruth Zernova* - read by Elena Dvlasova
5. Letters from Translators of R. Zernova's prose:  
M. Klischen and H. Revic - read by Ekaterina Dvlasova
6. Lina Glebova: "A Special Person" - read by Yulia Morozova
7. V. Dombrovsky: *Memoir* - read by Matthew Yankolevich
8. Victoria Belomlinskaya
9. Vassily Agafonov

Listening to a recording of a song performed by R. Zernova



Ruth Zernova

1919-2004

## Вспоминая Р. Зернову...

Мемориальный вечер в поэтическом клубе на Бауери  
в Нью-Йорке



На снимке: Лиза Серман читает отрывок из английского перевода  
«Длинного, длинного лета».

Слева направо: Е. Осташевская, В. Платова (Беломлинская),  
М. Беломлинский, Т. Янкевич, М. Раев, Л. Раев, Д. Вентура.

Фото А. Сягина

## Коротко об авторах

Василий Агафонов — прозаик, живет в Нью-Йорке.

Вера Жирмунская-Аствацатурова — филолог, специалист по русскому языку и истории русской культуры, живет в Петербурге.

**Виктория Беломлинская** (Платова) — прозаик, жила в Нью-Йорке, скончалась в 2008 году.

Валентина Брио — литературовед, специалист по русской и польской литературе, живет в Иерусалиме.

Александр Горфункель — историк-медиевист, специалист по эпохе Возрождения, живет в Бостоне.

Лина Глебова — прозаик, эссеист, живет в Иерусалиме.

Вячеслав Домбровский — инженер-электротехник, живет в Кертланде, штат Огайо, США.

Александра Жирмунская — художник, живет в Петербурге.

Елена Иоффе — поэт, прозаик, живет в Иерусалиме.

Нина Королева — поэт, прозаик, живет в Москве.

Роза Коваль — художник, искусствовед, живет в Бостоне.

**Зиновий Либерман** — инженер-приборостроитель, знаток и любитель литературы, жил в Петербурге, скончался в 2007 году.

Нина Либерман — издательский работник широкого профиля, редактор, живет в Петербурге.

Антон Лотман — врач-невропатолог, живет в штате Орегон, США.

Лидия Лотман — специалист по русской литературе XIX века, живет в Петербурге.

Лариса Найдич — филолог-германист, профессор Иерусалимского университета, живет в Иерусалиме.

Евгения Марголина — химик, заслуженная учительница, живет в Бостоне.

Александра Раскина — филолог, лингвист, преподает в Тулейнском университете, живет в Новом Орлеане.

Ирина Роскина — лингвист, переводчик, работает в Иерусалимском университете, живет в Иерусалиме.

Сэмюел Реймер — славист, историк, профессор Тулейнского университета, живет в Новом Орлеане.

**Илья Серман** — специалист по истории русской литературы XVIII века, профессор Иерусалимского университета, скончался в октябре 2010 года, в Иерусалиме.

Марк Серман — фотограф, кинооператор, эссеист, живет в Нью-Йорке.

Джеральд Смит — профессор русского языка и литературы Оксфордского университета, член Нью-Колледжа, с 2003 года в отставке, живет в Оксфорде.

Нина Ставиская (Серман) — журналист, переводчик, живет в Иерусалиме.

Анатолий Чеповецкий — журналист, живет в Иерусалиме.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие .....	5
От составителей .....	7
<i>Руфь Зернова</i> . Кредо .....	8
<i>Валентина Брио</i> . Четыре жизни Руфи Зерновой .....	10
<u>Илья Серман</u> . Заманчивая судьба .....	37
<i>Е.А. Марголина</i> . Мы, одесские девочки .....	48
<i>Нина Королева</i> . Руфь Александровна, Руня Зернова .....	52
<i>Сэмюел Реймер</i> . Памяти Руфи Александровны Зерновой .....	72
<i>Александр Горфункель</i> . Я часто бывал в этом доме... ..	87
<i>Вера Жирмунская-Аствацатурова</i> . «В ужасно шумном доме тети Руни» ..	90
<i>Антон Лотман</i> . Тетя Руня .....	100
<i>Лина Глебова</i> . Особенный человек .....	103
<i>А. Раскина</i> . «Как вспомню московский перрон...» .....	109
<i>Василий Агафонов</i> . Руфь .....	136
<i>Л.М. Лотман</i> . Она была человеком моего поколения .....	139
<u>Виктория Беломлинская</u> . Слово на вечере памяти Р. Зерновой .....	143
<i>Лариса Найдич</i> . Дачные этюды .....	146
<i>Александра Жирмунская</i> . Памяти маминой подруги .....	178
<i>Джеральд Смит</i> . Руня .....	183
<u>Зиновий Либерман</u> . Вот такая песня — вот такая Руня .....	193
<i>Вячеслав Домбровский</i> . Руфь Александровна Зернова .....	196
<i>Роза Коваль</i> . Руня и русский .....	197
<i>Анатолий Человецкий</i> . На улицах Рамота .....	199
<i>Ирина Роскина</i> . Несколько слов .....	201
<i>Елена Иоффе</i> . Еще несколько штрихов .....	204
<i>Нина Либерман</i> . Детали .....	208
<i>Марк Серман</i> . Свидание .....	211

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Программа мемориального вечера в Нью-Йорке .....	233
Вспоминая Р. Зернову... ..	234
Коротко об авторах .....	235

# **РУФЬ ЗЕРНОВА — ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ**

Сборник воспоминаний

Дизайнер

*С. Тихонов*

Редактор

*М. Серман*

Корректор

*М. Смирнова*

Компьютерная верстка

*С. Пчелинцев*

Налоговая льгота —  
общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2;  
953000 — книги, брошюры

ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА  
“НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ”»

Адрес издательства:

129626, Москва,

абонентский ящик 55

тел./факс: (495) 229-91-03

e-mail: [real@nlo.magazine.ru](mailto:real@nlo.magazine.ru)

Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 60×90/16

Бумага офсетная № 1

Печ. л. 15. Тираж 1000. Заказ № 1829

Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс  
«Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Издания

**«Нового литературного обозрения»**

(журналы и книги)

можно приобрести в магазинах:

**в Москве:**

«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6, т. (495)924-46-80

Галерея книги «Нина» — ул. Бахрушина, 28, т. (495)959-20-94

«Гилея» — Тверской бульвар, 9 (помещение Московского музея современного искусства), тел. (495) 925-81-66

ГЦСИ — ул. Зоологическая, д.13, т. (495)254-06-74

Киоск «Новой газеты» на Страстном бульваре

Книготорговая компания «Берроунз» — т. (495)971-47-92

«Книжная лавка писателей» — ул. Кузнецкий мост, 18; т. (495)624-46-45

«Культ-парк» — магазин в здании ЦДХ на Крымском Валу

«Лавочка детских книг» — Старый Арбат, д.10, ТЦ «Старая улица», 3-й этаж  
т. (495)973-32-82

«Москва» — ул. Тверская, 8, т. (495)629-6483, (495)797-87-17

«Московский Дом книги» — ул. Новый Арбат, 8, т. (495)789-35-91

«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, т. (495)238-50-01

«Проект ОГИ» — Потаповский пер., 8/12, стр. 2, т. (495)627-56-09

«Старый свет» — книжная лавка при Литинституте. Тверской бульвар, 25  
(вход с М. Бронной), т. (495)202-86-08

«У Кентавра» — РГГУ, ул. Чайнова, д.15, т. (495)250-65-46

«Фаланстер» — М. Гнездиновский пер., д.12/27, т. (495)629-88-21

**в Санкт-Петербурге:**

Склад издательства — Лиговский пр., д. 27/7, т. (812)579-50-04

«Академкнига» — Литейный пр., 57, т. (812)230-13-28

«Вита Нова» — Менделеевская линия, 5, т. (812)328-96-91

Киоск в Библиотеке Академии наук — ВО, Биржевая линия, 1

Киоск в Доме кино — Караванная ул., 12 (3 этаж)

«Книги и кофе» — Наб. Макарова, 10 (кафе-клуб

при Центре современной литературы и искусства), т. (812)328-67-08

«Книжная лавка писателей» — Невский пр., 66, т. (812)314-47-59

«Книжная лавка» в фойе Академии художеств — Университетская наб., 17

Книжные салоны при Российской национальной библиотеке —

Садовая ул., 20; Московский пр., 165, т. (812)310-44-87

«Книжный окоп» — Тучков пер., д.11/5 (вход в арке), т. (812)323-85-84

«Книжный салон» — Университетская наб., 11 (в фойе

филологического факультета СПбГУ), т. (812)328-95-11

Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13,

т. (812) 232-33-07

«Подписные издания» — Литейный пр., 57, т. (812)273-50-53

«Порядок слов» — Наб. реки Фонтанки, 15 (магазин при РХГА),  
т. (812)310-50-36  
«Ретро» — Стенд № 24 (1 этаж) на книжной ярмарке в ДК Крупской;  
ул. Обуховской обороны, 105  
«Санкт-Петербургский Дом книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28,  
т. (812)448-23-57  
«Фонотека» — ул. Марата, 28, т. (812)712-30-13

**в Екатеринбурге:**

«Дом книги» — ул. Антона Валека, т. (343)358-12-00

**в Нижнем Новгороде:**

«Дирижабль» — ул. Б.Покровская, д.46, т. (312)31-64-71

**в Воронеже:**

«Галерея»

**в Красноярске:**

«Русское слово» — ул. Ленина, д.28, т. (3912)27-13-60

**в Ярославле:**

«Книжная лавка гуманитарной литературы» — т. (4852)72-57-96

**в Минске:**

ИП Людоговский А.С. — ул. Козлова, 3.

ООО «МЕТ» — т. 10-375-172-84-90-21; 10-375-172-84-36-21(факс)

**в Киеве:**

ООО «АВР» — т. (044)273-64-07

Книжный интернет-магазин «Лавка Бабуин» (<http://lavkababuin.com>) ул. Верхний  
Вал, 40, оф. 7 (код #423),

т.: +38(044)537-22-43; +38(050) 444-84-02

**в Стокгольме:**

Русский книжный магазин «INTERBOK» — Hantverkargatan, 32, Stockholm,  
т. 08-651-11-47

**а также в Интернете:**

[www.bolego.ru](http://www.bolego.ru)

<http://lavkababuin.com>

[www.mkniga.com](http://www.mkniga.com)

[www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)



ИЗДАТЕЛЬСТВО



## Новое Литературное Обозрение

Интернет-магазин [www.nlobooks.ru](http://www.nlobooks.ru)

Возможность купить книги НЛО по ценам издательства,  
которые значительно ниже цен в книжных магазинах

Доставка в любой регион России

### **Специальные сервисы для покупателей интернет-магазина:**

#### **Раздел «Раритеты»**

Возможность оформить заказ на редкие книги  
нашего издательства, тираж которых почти распродан.

#### **Раздел «Print on demand»**

Возможность купить книги «НЛО», которые уже давно  
стали библиографической редкостью.

Мы специально издадим эти книги для Вас  
по уникальной технологии «Print on Demand»,  
которая позволяет напечатать любую книгу тиражом  
всего в 1 экземпляр.

#### **Раздел «Специальные предложения»**

Возможность купить отдельные книги издательства  
со значительными скидками

# РУФЬ ЗЕРНОВА ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ

СУДЬБА РУФИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЗЕРНОВОЙ — ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ, ПЕРЕВОДЧИЦЫ, УЧАСТНИЦЫ ИСПАНСКОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН — ПОХОЖА НА ПУТЕВОЙ РОМАН: ОДЕССА, ЛЕНИНГРАД, ЗАТЕМ БИЛЬБАО, МАДРИД, БАРСЕЛОНА, ПАРИЖ, РИГА, МОСКВА, ОДЕССА, ТАШКЕНТ, СНОВА ЛЕНИНГРАД, ЗАТЕМ АМУРСКАЯ СРЕДНЕ-БЕЛАЯ И БОКСИТОГОРСК (ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ)... И ОПЯТЬ — ЛЕНИНГРАД, ГДЕ ОНА РУКОВОДИТ СЕКЦИЕЙ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. А ЕЩЕ СПУСТЯ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ — ИЕРУСАЛИМ, ЧУТЬ ПОЗЖЕ ЖИЗНЬ МЕЖДУ НЬЮ-ЙОРКОМ, РИМОМ, ПАРИЖЕМ И ЛОНДОНОМ... В ЭТОМ «ПУТЕВОМ РОМАНЕ» ОТСУТСТВУЕТ ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА, СИМВОЛИЧЕСКОЕ МЕСТО КОТОРОЙ И ЗАНИМАЕТ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЧИТАТЕЛЮ КНИГА — ВОСПОМИНАНИЯ О РУФИ ЗЕРНОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ ПИТЕРСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ (А. И В. ЖИРМУНСКИЕ, Л. И А. ЛОТМАН, Л. НАЙДИЧ, И. И М. СЕРМАН, Н. КОРОЛЕВА И ДРУГИЕ). ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ ГЕРОИНИ ВДОХНОВИЛА УЧАСТНИКОВ СБОРНИКА НА РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ И ЧЕЛОВЕКЕ В НЕМ.

...Я СНОВА И СНОВА ПОРАЖАЮСЬ ЭТОЙ ЕЕ СПОСОБНОСТИ ПИСАТЬ О ЧУДОВИЩНОМ КАК ОБ ОБЫЧНОМ. В ТРАГИЧЕСКОМ ВИДЕТЬ ОБЫДЕННОЕ, СОВЕРШЕННО ЕСТЕСТВЕННО ПРИНИМАТЬ КАК ДАННОСТЬ ВСЯКОЕ СОБЫТИЕ ЖИЗНИ, ПОДЧАС ТАКОЕ, О КОТОРОМ И ГРЕЧЕСКИЕ СТОИКИ НЕ СУМЕЛИ БЫ ГОВОРИТЬ СПОКОЙНО...

В. БЕЛОМЛИНСКАЯ-ПЛАТОВА

...НАСМЕШЛИВАЯ И СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ, ТРЕЗВАЯ И СУЕВЕРНАЯ, РАСЧЕТЛИВАЯ И ЧРЕЗМЕРНО, ИМПУЛЬСИВНО ЩЕДРАЯ, КРОХОТНАЯ И ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ, — НЕУМОЛЧНЫЙ ГОЛОС У МЕНЯ В ДУШЕ...

ДЖЕРАЛЬД СМИТ

...БЕЗ ПРОЗЫ ТАКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, КАК ПОКОЙНАЯ РУФЬ АЛЕКСАНДРОВНА, ОТ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ УСКОЛЬЗНЕТ... ОСНОВНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ XX ВЕКА — ВЕКА ТЮРЕМ И ЛАГЕРЕЙ, ВЕКА НЕВИДАННОГО РАНЕЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО НАСИЛИЯ, ПЕРЕДАННОГО, К СОЖАЛЕНИЮ, КАК ЭСТАФЕТА, ВЕКУ НЫНЕШНЕМУ...

В. В. ДОМБРОВСКИЙ

ISBN 978-5-86793-856-7

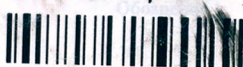


9

785867 938567



ozon.ru  
выбери



1037650695